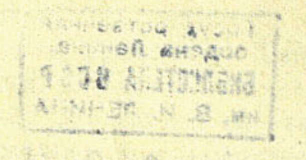
В. М. Дорошевичъ.

Сахалинъ.

II. Преступники.



Со многими рисунками.

Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая улица, свой домъ.
МОСКВА. — 1907.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Золотая ручка.

Воскресенье. Вечеръ. Около маленькаго, чистенькаго домика, рядомъ съ Дербинской богадѣльней, шумъ и смѣхъ. Скрипятъ убранныя ельникомъ карусели. Визжитъ оркестръ изъ трехъ скрипокъ и фальшиваго кларнета. Поселенцы пляшутъ трепака. На подмосткахъ „непомнящій родства“ магъ и волшебникъ ѣстъ горящую паклю и выматываетъ изъ носа разноцвѣтныя ленты. Хлопаютъ пробки квасныхъ бутылокъ. Изъ квасной лавочки раздаются подвыпившіе голоса. Изъ оконъ доносится:

— Бардадымъ. Помирилъ, рубль мазу. Шеперка, по кушу очко. На пе. На перепе. Барыня. Два сбока.

Хозяйка этой квасной, игорнаго дома, карусели, танцкласса, корчмы и Сахалинскаго кафе-шантана—„крестьянка изъ ссыльныхъ“, Софья Блювштейнъ.

Всероссійски, почти европейски, знаменитая „Золотая ручка“.

Во время ея процесса столъ вещественныхъ доказательствъ горѣлъ огнемъ отъ груды колецъ, браслетъ, колье. Трофеевъ — уликъ.

— Свидѣтельница, — обратился предсѣдатель къ одной изъ потерпѣвшихъ,—укажите, какія здѣсь вещи ваши?

Дама съ измѣнившимся лицомъ подошла къ этой „Голкондѣ“.

Глаза горѣли, руки дрожали. Она перебирала, трогала каждую вещь.

Тогда „съ высоты“ скамьи подсудимыхъ раздался насмѣшливый голосъ:

— Сударыня, будьте спокойнѣе. Не волнуйтесь такъ: эти брильянты—поддѣльные.

Этотъ эпизодъ вспомнился мнѣ, когда я, въ шесть часовъ утра, шелъ въ первый разъ въ гости къ „Золотой ручкѣ“.

Я ждалъ встрѣчи съ этимъ Мефистофелемъ, „Рокамболемъ въ юбкѣ“.

Съ могучей преступной натурой, которой не сломила ни каторга, ни одиночная тюрьма, ни кандалы, ни свистъ пуль, ни свистъ розги. Съ женщиной, которая, сидя въ одиночномъ заключенiи, измышляла и создавала планы, отъ которыхъ пахло кровью.

И... я невольно отступилъ, когда навстрѣчу мнѣ вышла маленькая старушка съ нарумяненнымъ, сморщеннымъ какъ печеное яблоко лицомъ, въ ажурныхъ чулкахъ, въ старенькомъ капотѣ, съ претензiями на кокетство, съ завитыми крашеными волосами.

— Неужели „эта“?

Она была такъ жалка со своей „убогой роскошью наряда и поддѣльною краской ланитъ“. Сѣдые волосы и желтыя обтянутыя щеки не произвели бы такого впечатлѣнiя.

Зачѣмъ все это?

Рядомъ съ ней стоялъ высокiй, здоровый, плотный, красивый,— какъ бываетъ красиво сильное животное, — ея „сожитель“, ссыльно-поселенецъ Богдановъ.

Становилось все ясно...

И эти пунцовыя румяна, которыя должны играть, какъ свѣжiй румянецъ молодости.

Мы познакомились.

Блювштейнъ попросила меня сѣсть. Намъ подали чай и бисквиты.

Сколько ей теперь лѣтъ, я не берусь опредѣлить. Мнѣ никогда не приходилось видѣть женщинъ, у которыхъ надъ головой свистѣли пули,—женщинъ, которыхъ сѣкли. Трудно судить по лицу, сколько лѣтъ человѣку, пережившему такiя минуты!

Она говоритъ, что ей 35, но какая же она была бы пятидесятилѣтняя женщина, если бы не говорила, что ей тридцать пять.

На Сахалинѣ про нее ходитъ масса легендъ. Упорно держится мнѣнiе, что это вовсе не „Золотая ручка“. Что это „смѣнщица“, подставное лицо, которое отбываетъ наказанiе — въ то время какъ настоящая „Золотая ручка“ продолжаетъ свою неуловимую дѣятельность въ Россiи.

Даже чиновники, узнавъ, что я видалъ и помню портреты „Золотой ручки“, снятые съ нея еще до суда, разспрашивали меня послѣ свиданiя съ Блювштейнъ:

— Ну, что? Она? Та?

— Да, это остатки той.

Ее все же можно узнать. Узнать, несмотря на страшную перемѣну.

Только глаза остались все тѣ же. Эти чудные, безконечно симпатичные, мягкіе, бархатные, выразительные глаза. Глаза, которые „говорили“ такъ, что могли даже отлично лгать.

Одинъ изъ англичанъ, путешествовавшихъ по Сахалину, съ необыкновеннымъ восторгомъ отзывается объ огромномъ образованіи и „свѣтскости“ „Золотой ручки“, объ ея знаніи иностранныхъ языковъ. Какъ еврейка, она говоритъ по-нѣмецки.

Но я не думаю, чтобъ произношеніе „беньэтажъ“, вмѣсто слова „бельэтажъ“, — говорило особенно о знаніи французскаго языка, образованіи или свѣтскости Софьи Блювштейнъ. По манерѣ говорить— это простая мѣщаночка, мелкая лавочница.

И, право, для меня загадка, какъ ея жертвы могли принимать „Золотую ручку“—то за знаменитую артистку, то за вдовушку-аристократку.

Вѣроятно, разгадка этого кроется въ ея хорошенькихъ глазкахъ, которые остались такими же красивыми, несмотря на все, что перенесла Софья Блювштейнъ.

А перенесла она такъ же много, какъ и совершила.

Ея преступная натура не сдавалась, упорно боролась и доказала безполезность суровыхъ мѣръ въ дѣлѣ исправленія преступныхъ натуръ.

2 года и 8 мѣсяцевъ эта женщина была закована въ ручные кандалы.

Ея безсильныя, сохнувшія руки, тонкія, какъ плети, дряблыя, лишенныя мускулатуры, говорятъ вамъ, что это за наказаніе.

Она еще кое-какъ владѣетъ правой рукой, но, чтобъ поднять лѣвую, должна взять себя правою подъ локоть.

Ноющая боль въ плечѣ сохнувшей руки не даетъ ей покоя ни днемъ ни ночью. Она не можетъ сама повернуться съ боку на бокъ, не можетъ подняться съ постели.

И, право, какимъ ужаснымъ каламбуромъ звучала эта жалоба „Золотой ручки“ на сохнувшую руку.

Ее сѣкли, и,—какъ выражаются обыкновенно гг. рецензенты,— „воспоминаніе объ этомъ спектаклѣ долго не изгладится изъ памяти исполнителей и зрителей“. Всѣ—и приводившіе въ исполненіе наказаніе и зрители-арестанты—до сихъ поръ не могутъ безъ улыбки вспомнить о томъ, какъ „драли Золоторучку“.

Улыбается при этомъ воспоминаніи даже никогда не улыбающійся Комлевъ, ужасъ и отвращеніе всей каторги, страшнѣйшій изъ сахалинскихъ палачей.

— Какъ же, помню. Двадцать я ей далъ

— Она говоритъ, — больше.

— Это ей такъ показалось, — улыбается Комлевъ, — я хорошо помню—сколько. Это я ей двадцать такъ далъ, что могло съ двѣ сотни показаться.

Ее наказывали въ 9 номерѣ Александровской тюрьмы для „исправляющихся".

Присутствовали всѣ, безъ исключенія. И тѣ, кому въ силу печальной необходимости приходится присутствовать при этихъ ужасныхъ и отвратительныхъ зрѣлищахъ, и тѣ, въ чьемъ присутствіи не было никакой необходимости. Изъ любопытства.

Въ номерѣ, гдѣ помѣщается человѣкъ сто, было на этотъ разъ человѣкъ триста. „Исправляющіеся" арестанты влѣзали на нары, чтобъ „лучше было видно". И наказанье приводилось въ исполненіе среди циничныхъ шутокъ и остротъ каторжанъ. Каждый крикъ несчастной вызывалъ взрывъ гомерическаго хохота.

— Комлевъ, наддай! Не мажь.

Они кричали то же, что кричали палачамъ, когда наказывали ихъ.

Но Комлеву не надо было этихъ поощрительныхъ возгласовъ.

Артистъ, виртуозъ и любитель своего дѣла, — онъ „клалъ розга въ розгу", такъ что кровь брызгала изъ-подъ прута.

Посрединѣ наказанія съ Софьей Блювштейнъ сдѣлался обморокъ. Фельдшеръ привелъ ее въ чувство, далъ понюхать спирта,—и наказаніе продолжалось.

Блювштейнъ едва встала съ „кобылы" и дошла до своей одиночной камеры [1]).

Она не знала покоя въ одиночномъ заключеніи.

— Только, бывало, успокоишься, — требуютъ: „Соньку-Золотую ручку".—Думаешь, —опять что. Нѣтъ. Фотографію снимать.

Это дѣлалось ради мѣстнаго фотографа, который нажилъ себѣ деньгу на продажѣ карточекъ „Золотой ручки".

Блювштейнъ выводили на тюремный дворъ. Устанавливали кругомъ „декорацію".

Ее ставили около наковальни, тутъ же разставляли кузнецовъ съ молотами, надзирателей,—и мѣстный фотографъ снималъ якобы сцену закованія „Золотой ручки".

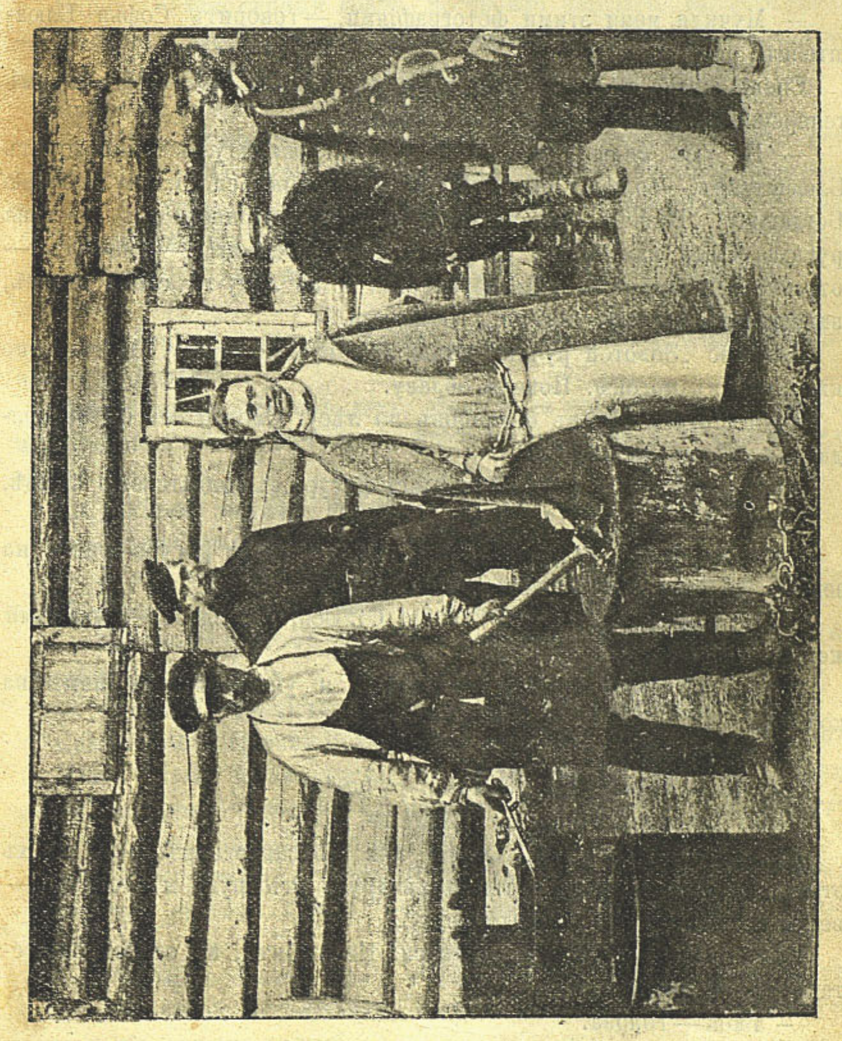
Эти фотографіи продавались десятками на всѣ пароходы, приходившіе на Сахалинъ.

---

[1]) Теперь тѣлесныя наказанія для женщинъ отмѣнены закономъ. Это было одно изъ послѣднихъ.

— Даже на иностранныхъ пароходахъ покупали. Вездѣ ею интересовались, — какъ пояснилъ мнѣ фотографъ, принеся мнѣ цѣлый десятокъ фотографій, изображавшихъ „заковку“.

— Да зачѣмъ же вы мнѣ-то столько ихъ принесли?



Софья Блювштейнъ „Золотая ручка“.

— А для подарковъ знакомымъ. Всѣ путешественники всегда десятки ихъ брали.

Эти фотографіи — замѣчательныя фотографіи. И ихъ главная „замѣчательность“ состоитъ въ томъ, что Софья Блювштейнъ на нихъ „не похожа на себя“. Сколько безсильнаго бѣшенства напи-

сано на лицѣ. Какой злобой, какимъ страданіемъ искажены черты. Она закусила губы, словно изо всей силы сдерживая готовое сорваться съ языка ругательство. Какая это картина человѣческаго униженія!

— Мучили меня этими фотографіями, — говоритъ Софья Блювштейнъ.

Спеціалистка по части побѣговъ, она бѣжала и здѣсь со своимъ теперешнимъ „сожителемъ“ Богдановымъ.

— Но ужъ силы были не тѣ, — съ горькой улыбкой говоритъ Блювштейнъ,—больная была. Не могу пробираться по лѣсу. Говорю Богданову: „Возьми меня на руки, отдохну“. Понесъ онъ меня на рукахъ. Самъ измучился. Силъ нѣтъ. „Присядемъ, — говоритъ, — отдохнемъ“. Присѣли подъ деревцомъ. А по лѣсу-то стонъ стоитъ, валежникъ трещитъ, погоня... Обходятъ.

Бѣгство „Золотой ручки“ было обнаружено сразу. Немедленно кинулись въ погоню. Повели облаву.

Одинъ отрядъ гналъ бѣглецовъ по лѣсу. Смотритель съ 30 солдатами стоялъ на опушкѣ.

Какъ вдругъ изъ лѣса показалась фигура въ солдатскомъ платьѣ.

— Пли!

Раздался залпъ 30 ружей, но въ эту минуту фигура упала на землю. 30 пуль просвистали надъ головой.

— Не стрѣляйте! Не стрѣляйте! Сдаюсь, — раздался отчаянный женскій голосъ.

„Солдатъ“ бросился къ смотрителю и упалъ передъ нимъ на колѣни.

— Не убивайте!

Это была переодѣтая „Золотая ручка“.

Чѣмъ занимается она на Сахалинѣ.

Въ Александровскомъ, Онорѣ или Корсаковскомъ, — во всѣхъ этихъ, на сотни верстъ отстоящихъ другъ отъ друга, мѣстечкахъ,— вездѣ знаютъ „Соньку-золоторучку“.

Каторга ею какъ будто гордится. Не любитъ, но относится все-таки съ почтеніемъ.

— Баба — голова.

Ея изумительный талантъ организовать преступные планы и здѣсь не пропадалъ даромъ.

Вся каторга называетъ ее главной виновницей убійства богатаго лавочника Никитина и кражи 56 тысячъ у Юрковскаго. Слѣдствіе по обоимъ этимъ дѣламъ дало массу подозрѣній противъ Блювштейнъ и—ни одной улики.

Но это было раньше.

— Теперича Софья Ивановна больны и никакими дѣлами не занимаются,—какъ пояснилъ ея „сожитель“ Богдановъ.

Офиціально она числится содержательницей квасной лавочки.

Варитъ великолѣпный квасъ, построила карусель, набрала среди поселенцевъ оркестръ изъ четырехъ человѣкъ, отыскала среди бродягъ фокусника, устраиваетъ представленія, танцы, гулянья.

Неофиціально...

— Шутъ ее знаетъ, какъ она это дѣлаетъ,—говорилъ мнѣ смотритель поселеній,—вѣдь весь Сахалинъ знаетъ, что она торгуетъ водкой. А сдѣлаешь обыскъ,—ничего, кромѣ бутылокъ съ квасомъ.

Точно такъ же всѣ знаютъ, что она продаетъ и покупаетъ краденыя вещи, но ни денные ни ночные обыски не приводятъ ни къ чему.

Такъ она „борется за жизнь“, за этотъ несчастный остатокъ преступной жизни.

Бьется какъ рыба объ ледъ, занимается мелкими преступленіями и гадостями, чтобы достать на жизнь себѣ и на игру своему „сожителю“.

Ея завѣтная мечта — вернуться въ Россію.

Она закидывала меня вопросами объ Одессѣ.

— Я думаю, не узнаешь ея теперь.

И когда я ей разсказывалъ, у нея вырвался тяжкій вздохъ:

— Словно о другомъ свѣтѣ разсказываете вы мнѣ... Хоть бы глазкомъ взглянуть...

— Софьѣ Ивановнѣ теперича не зачѣмъ возвращаться въ Россію,— обрывалъ ее обыкновенно Богдановъ,—имъ теперь тамъ дѣлать нечего.

Этотъ „мужъ знаменитости“ ни на секунду не выходилъ во время моихъ посѣщеній, слѣдилъ за каждымъ словомъ своей „сожительницы“, словно боясь, чтобы она не сказала чего лишняго.

Это чувствовалось, — его присутствіе связывало Блювштейнъ, свинцовымъ гнетомъ давило, — она говорила и чего-то не договаривала.

— Мнѣ надо сказать вамъ что-то, — шепнула мнѣ въ одно изъ моихъ посѣщеній Блювштейнъ, улучивъ минутку, когда Богдановъ вышелъ въ другую комнату.

И въ тотъ же день ко мнѣ явился ея „конфидентъ“, безсрочный богадѣльщикъ-каторжникъ К.

— Софья Ивановна назначаетъ вамъ рандеву,—разсмѣялся онъ.— Я васъ проведу и постою на стремѣ (покараулю), чтобъ Богдановъ ее не поймалъ.

Мы встрѣтились съ ней за околицей.

— Благодарю васъ, что пришли, Бога ради, простите, что побезпокоила. Мнѣ хотѣлось вамъ сказать, но при немъ нельзя. Вы видѣли, что это за человѣкъ. Съ такими ли людьми мнѣ приходилось быть знакомой, и вотъ теперь... Грубый, необразованный человѣкъ,— все, что заработаю, проигрываетъ, прогуливаетъ! Бьетъ, тиранитъ... Э, да что и говорить?

У нея на глазахъ показались слезы.

— Да вы бы бросили его!

— Не могу. Вы знаете, чѣмъ я занимаюсь. Пить, ѣсть нужно. А развѣ въ моихъ дѣлахъ можно обойтись безъ мужчины. Вы знаете, какой народъ здѣсь. А его боятся: онъ кого угодно за двугривенный убьетъ. Вы говорите, — разойтись... Если бы вы знали...

Я не разспрашивалъ: я зналъ, что Богдановъ былъ однимъ изъ обвиняемыхъ и въ убійствѣ Никитина и въ кражѣ у Юрковскаго.

Я глядѣлъ на эту несчастную женщину, плакавшую при воспоминаніяхъ о перенесенныхъ обидахъ. Чего здѣсь больше: привязанности къ человѣку или прикованности къ сообщнику?

— Вы что-то хотѣли сказать мнѣ?

Она отвѣчала мнѣ сразу:

— Постойте... Постойте... Дайте собраться съ духомъ... Я такъ давно не говорила объ этомъ... Я думала только, всегда думала, а говорить не смѣю. Онъ не велитъ... Помните, я вамъ говорила, что хотѣлось бы въ Россію. Вы, можетъ-быть, подумали, что опять за тѣми же дѣлами... Я уже стара, я больше не въ силахъ... Мнѣ только хотѣлось бы повидать дѣтей.

И при этомъ словѣ слезы хлынули градомъ у „Золотой ручки“.

— У меня вѣдь остались двѣ дочери. Я даже не знаю, живы ли онѣ, или нѣтъ. Я никакихъ извѣстій не имѣю отъ нихъ. Стыдятся, можетъ-быть, такой матери, забыли, а можетъ-быть, померли... Что жъ съ ними. Я знаю только, что онѣ въ актрисахъ. Въ опереткѣ, въ пажахъ. О, Господи! Конечно, будь я тамъ, мои дочери никогда бы не были актрисами.

Но подождите улыбаться надъ этой преступницей, которая плачетъ, что ея дочери актрисы.

Посмотрите, сколько муки въ ея глазахъ:

— Я знаю, что случается съ этими „пажами“. Но мнѣ хоть бы знать только, живы ли онѣ, или нѣтъ. Отыщите ихъ, узнайте, гдѣ онѣ. Не забудьте меня здѣсь, на Сахалинѣ. Увѣдомьте меня.

Дайте телеграмму. Хоть только — живы или нѣтъ мои дѣти... Мнѣ немного осталось жить, хоть умереть-то, зная, что съ моими дѣтьми, живы ли они... Господи, мучиться здѣсь, въ каторгѣ, не зная... Можетъ-быть, померли... И никогда не узнаю, не у кого спросить, некому сказать...

„Рокамболя въ юбкѣ" больше не было.

Передо мной рыдала старушка - мать о своихъ несчастныхъ дѣтяхъ.

Слезы, смѣшиваясь съ румянами, грязными ручьями текли по ея сморщеннымъ щекамъ.

Полуляховъ.

Убійство семьи Арцимовичей въ Луганскѣ—одно изъ страшнѣйшихъ преступленій послѣдняго времени.

Съ цѣлью грабежа были убиты: членъ судебной палаты Арцимовичъ, его жена, ихъ сынъ 8-лѣтній мальчикъ, дворникъ и кухарка.

Меня предупредили, что убійца Полуляховъ производитъ „удивительно симпатичное впечатлѣніе", и все - таки я никогда не испытывалъ такого сильнаго потрясенія, какъ при видѣ Полуляхова.

— Полуляхова изъ кандальной привели! — доложилъ надзиратель.

— Пусть войдетъ.

Я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ двери, навстрѣчу „знаменитому" убійцѣ и отступилъ.

Въ дверяхъ появился средняго роста молодой человѣкъ, съ каштановыми волосами, небольшой бородкой, съ отпечаткомъ врожденнаго изящества, даже подъ арестантскимъ платьемъ, съ коричневыми удивительно красивыми глазами.

Я никогда не видывалъ болѣе мягкихъ, болѣе добрыхъ глазъ.

— Вы... Полуляховъ?—съ невольнымъ удивленіемъ спросилъ я.

— Я-съ! — отвѣчалъ онъ съ поклономъ.

Голосъ у него такой же мягкій, пріятный, бархатистый, добрый и кроткій. Такой же чарующій, какъ и глаза.

Въ его походкѣ, мягкой, эластичной, есть что-то кошачье.

Полуляховъ принадлежитъ къ числу „настоящихъ убійцъ", расовыхъ, породистыхъ, которыхъ очень мало даже на Сахалинѣ. Эти „настоящіе убійцы" среди людей, это — тигры среди звѣрей.

Мы много и подолгу бесѣдовали потомъ съ Полуляховымъ, и я никакъ не могъ отдѣлаться отъ чувства невольнаго расположенія, которое вселялъ во мнѣ этотъ человѣкъ. Мнѣ вспомнился одинъ владивостокскій офицеръ, привязавшійся къ пойманному тигренку, державшій его при себѣ, какъ кошку, и плакавшій горькими слезами, когда тигръ выросъ и его пришлось застрѣлить.

Голосъ Полуляхова льется въ душу, его глаза очаровываютъ васъ, отъ него вѣетъ такой добротой. И нужно много времени, чтобы разобрать, что вмѣсто чувства этотъ человѣкъ полонъ только сентиментальности.

Но первое впечатлѣніе, которое производитъ этотъ человѣкъ,— вы чувствуете полное довѣріе къ нему, и я понимаю, что несчастная г-жа Арцимовичъ, когда онъ вошелъ ночью въ ея спальню, могла довѣрчиво говорить съ нимъ, не опасаясь за свою жизнь.

— Развѣ такой человѣкъ можетъ убить?

Полуляхову нѣтъ еще тридцати лѣтъ.

Онъ выросъ въ увѣренности, что будетъ жить богато. Онъ росъ у дяди, стараго богатаго торговца, который постоянно говорилъ ему:

— Умру,—все тебѣ останется.

Полуляховъ учился недолго въ школѣ, но настоящее воспитаніе получилъ въ публичномъ домѣ.

Взявъ изъ школы, дядя поставилъ Полуляхова въ лавку, чтобы сызмальства пріучался къ торговлѣ. Приказчики, чтобы имъ удобнѣе было красть, начали развращать хозяйскаго племянника.

Съ 12 лѣтъ онѣ начали его брать съ собой въ позорные дома. Полуляховъ былъ красивый мальчикъ, женщины ласкали и баловали его.

— Конечно, онѣ были мнѣ не нужны. Но мнѣ нравилось тамъ. Каждый день приказчики говорили: а тебѣ такая-то кланяется, тебя опять просили привести.

Это льстило мальчику, и онъ таскалъ изъ кассы, чтобы ходить туда.

— Музыку, танцы, женщинъ,—это я очень люблю!—съ улыбкой говоритъ Полуляховъ.

Такъ тянулось лѣтъ пять. Чтобы прекратить воровство приказчиковъ, дядя взялъ кассиршу. Полуляховъ соблазнилъ эту молодую дѣвушку, и она начала для него красть.

— Я къ ней подольщаюсь: „Возьми да возьми изъ кассы“. А украдетъ для меня, я туда, къ своимъ, и закачусь.

Съ этой кассирши Полуляховъ и сталъ презирать женщинъ.

— За слабость за ихнюю. Просто погано. Все, что хочешь, сдѣлаютъ,—только поцѣлуй. Чисто животныя.

Женщины скоро надоѣдали Полуляхову.

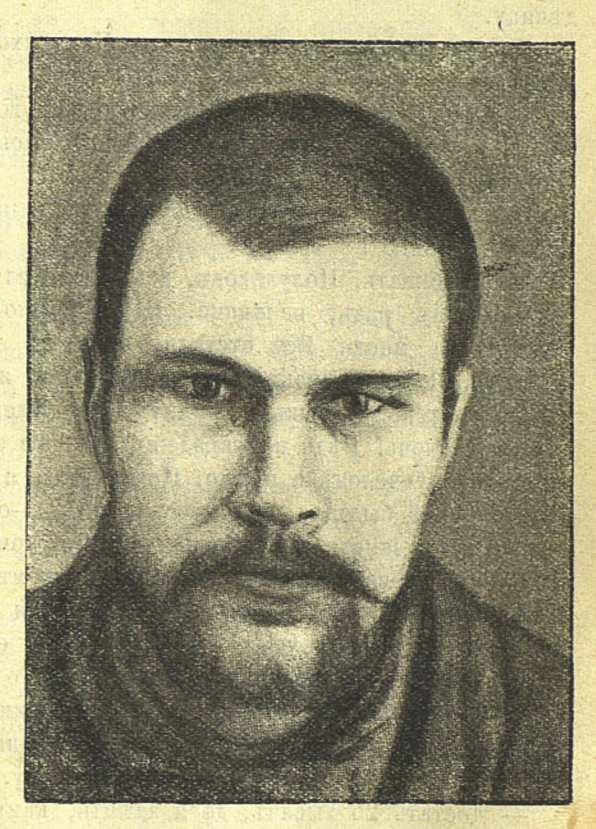
— Понравится,—подольщаешься. А тамъ и противно станетъ. Такая же дрянь, какъ и всѣ: чисто собачонки, избей, а приласкалъ, опять ластится. Я ихъ даже и за людей не считаю.

При наружности Полуляхова, вѣрить въ его большой и скорый успѣхъ у женщинъ можно.

— И противны онѣ мнѣ и жить безъ нихъ, чувствую, не могу. Злоба меня на нихъ на всѣхъ брала.

Полуляхову доставляло удовольствіе тиранить, мучить, причинять боль влюблявшимся въ него женщинамъ.

Когда ему было около 18 лѣтъ, дядя открылъ воровство, выгналъ кассиршу и прогналъ Полуляхова изъ дому.



Убійца семьи Арцимовичей, Полуляховъ.

Полуляховъ пустился на кражи, но „неумѣлый былъ“, скоро попался и сѣлъ въ тюрьму. Это было для Полуляхова „въ родѣ, какъ университетъ“.

— Тутъ я такихъ людей увидѣлъ, какихъ раньше не думалъ, что есть на свѣтѣ. Что я раньше, какъ дядя выгналъ, воровалъ! На хлѣбъ да на квасъ! А тутъ цѣлый міръ, можно сказать, передо мной открылся. Воровать и жить. И вся жизнь изъ одного веселья и удальства!

Изъ тюрьмы Полуляховъ вышелъ съ массою знакомствъ, со знаніемъ воровского дѣла, и съ этихъ поръ его жизнь пошла

однимъ и тѣмъ же порядкомъ: послѣ удачной кражи онъ шелъ въ позорный домъ, кутилъ, въ него влюблялась тамъ какая-нибудь дѣвица, и онъ становился ея „котомъ“. Ему она отдавала каждую копейку, для него просила, воровала деньги. Потомъ дѣвица надоѣдала Полуляхову, онъ опять шелъ на „хорошую кражу“, прокучивалъ награбленное въ другомъ учрежденіи, увлекалъ другую дѣвицу.

При этомъ надо замѣтить, что Полуляховъ почти ничего не пьетъ:

— Такъ, мнѣ эта жизнь нравилась. Кругомъ все гуляетъ, веселится, и самъ ни о чемъ не думаешь. Словно въ угарѣ ходишь! Они пьютъ, а ты пьянѣешь.

Эта угорѣлая жизнь время отъ времени прерывалась высидками „по подозрѣнію въ кражѣ“.

— А убивать, Полуляховъ, раньше не случалось?

— Одинъ разъ, нечаянно. Ночью было. На кражѣ попался. Гнались за мною. Всѣ отстали, а одинъ какой-то дворникъ не отстаетъ. Я черезъ ровъ, онъ черезъ ровъ, я черезъ плетень, онъ черезъ плетень. „Врешь,—кричитъ,—не уйдешь!“ Зло меня взяло. Этакая сволочь! Вѣдь не украдено, чего же еще? Нѣтъ, непремѣнно засадить ему человѣка нужно. Подпустилъ я его поближе, револьверъ со мной былъ, я безъ него ни шагу,—обернулся, выстрѣлилъ. Онъ руками замахалъ и брякнулся... Потомъ въ газетѣ прочелъ, что убитъ неизвѣстнымъ злоумышленникомъ дворникъ такой-то. Тутъ только имя его узналъ. Ни онъ меня не зналъ ни я его. А онъ меня въ тюрьму усадить хотѣлъ, а я его жизни лишилъ. И хоть бы изъ-за интереса оба дѣлали. А то такъ! Чудно устроенъ свѣтъ! Здорово живешь, другъ за другомъ гоняются, здорово живешь— другъ дружку убиваютъ! Чисто волки бѣшеные!

Эта „волчья жизнь“ надоѣла Полуляхову.

— Достать 25 тысячъ, да и зажить, какъ слѣдуетъ. Торговлю открыть. По торговлѣ я соскучился.

— Да вѣдь поймали бы, Полуляховъ.

— Зачѣмъ поймать? По чужому паспорту, въ чужомъ городѣ, въ лучшемъ видѣ прожить можно. Развѣ мало такого народа въ Россіи живетъ? Намъ въ тюрьмахъ это лучше извѣстно!

— Почему же именно 25 тысячъ?

— Такъ ужъ рѣшилъ 25 тысячъ.

Эти породистые, расовые „настоящіе“ преступники удивительные „самовнушители“. Имъ почему-то представится фантастическая

цифра, напримѣръ, 25 тысячъ, и они живутъ, загипнотизированные этой цифрой. Попадается имъ сумма меньшая:

— Нѣтъ! Мнѣ нужно, чтобъ поправиться, 25 тысячъ.

Они живутъ и дѣйствуютъ подъ вліяніемъ одной только этой бредовой идеи. Ради нея не остановятся ни передъ чѣмъ.

— Случалось, Полуляховъ, „брать большими суммами"?

— Я на маленькія дѣла не ходилъ. Я искалъ денегъ, а не такъ: украсть, что попало! Бралъ тысячами.

— Куда же онѣ дѣвались!

— Ѣзжу по городамъ и прокучиваю.

— Почему жъ было ихъ не копить, пока не накопится 25 тысячъ?

— Терпѣнья не было. У меня ни къ чему терпѣнья нѣтъ. Такъ ужъ рѣшилъ: возьму 25 тысячъ, и сразу перемѣна всей жизни.

Нетерпѣливость—ихъ характерная черта. Они нетерпѣливы во всемъ, даже при совершеніи преступленія. Изъ-за нетерпѣливости совершаютъ массу,—съ ихъ точки зрѣнія,—„глупостей", изъ-за которыхъ потомъ и попадаются. Я знаю, напримѣръ, убійство банкира Лившица въ Одессѣ.

Убійцы были въ самомъ „благопріятномъ" положеніи. Среди нихъ былъ спеціалистъ по отмыканію кассъ, знаменитость среди воровъ, прославившійся своими дѣяніями въ Россіи, Турціи, Румыніи, Греціи, Египтѣ [1]).

Люди пришли только воровать. Они могли бы отомкнуть кассу, достать деньги, запереть кассу снова и уйти. Прислуга была съ ними заодно. Но старикъ банкиръ на этотъ разъ долго не засыпалъ, читая книгу. И убійцы кинулись на него, задушили и убѣжали, не тронувъ даже кассы: „спеціалистъ" испугался убійства и убѣжалъ раньше всѣхъ.

— Зачѣмъ же вы убили старика?—спрашивалъ я душителя Томилина.

— Невтерпежъ было. Не засыпалъ долго!—пожимая плечами, отвѣчалъ Томилинъ.

Въ то время, какъ Полуляховъ сгоралъ отъ нетерпѣнія, не находилъ себѣ мѣста, метался изъ города въ городъ, „во снѣ даже другую жизнь и свою торговлю видѣлъ", онъ сошелся съ молодой женщиной Пирожковой, служившей въ прислугахъ, и громилой Казеевымъ, ходившимъ тоже „по большимъ дѣламъ".

---

1) См. далѣе очеркъ „Спеціалистъ".

Полуляховъ съ Пирожковой жили въ одномъ изъ южныхъ городовъ, а Казеевъ разъѣзжалъ по городамъ, высматривая, нельзя ли гдѣ поживиться. И вотъ однажды Полуляховъ получилъ телеграмму отъ Казеева, изъ Луганска:

„Пріѣзжай вмѣстѣ. Есть купецъ. Можно открыть торговлю“.

Арцимовичей погубилъ несгораемый шкапъ, который вдругъ почему-то выписалъ себѣ покойный Арцимовичъ.

Покупка несгораемой кассы вызвала массу толковъ въ Луганскѣ. Заговорили объ огромномъ наслѣдствѣ, полученномъ Арцимовичемъ:

— Иначе зачѣмъ и кассу покупать? Все обходились безъ кассы, а вдругъ касса!

Луганскъ опредѣлилъ точно и цифру наслѣдства 70 тысячъ.

Эти слухи дошли до Казеева, пріѣхавшаго въ Луганскъ пронюхать: „Нѣтъ ли здѣсь кого“, и онъ немедленно „пробилъ телеграмму“ Полуляхову.

Все благопріятствовало преступленію.

Арцимовичи какъ разъ разсчитали горничную. И это въ маленькомъ городѣ сейчасъ же сдѣлалось извѣстно пріѣзжимъ. Полуляховъ подослалъ къ нимъ Пирожкову. Тѣ ее взяли.

— А Пирожкова для меня была готова въ огонь и въ воду.

Пирожкова служила горничной у Арцимовичей, а Полуляховъ и Казеевъ жили въ городѣ, какъ двое пріѣзжихъ купцовъ, собирающихся открыть торговлю.

Было ли это убійствомъ съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ, или просто,—какъ часто бываетъ,—грабежъ, неожиданно сопровождающійся убійствомъ?

— Не надо неправду говорить. Я сразу увидѣлъ, что безъ „преступленія“ тутъ не обойтись: очень народу въ домѣ много. Казеевъ не разъ говорилъ: „Не уѣхать ли? Ничего не выйдетъ!“ Да я стоялъ: „Когда еще 70 тысячъ найдешь?“ — говоритъ Полуляховъ.

Пирожкова часто потихоньку бѣгала къ Полуляхову:

— Баринъ деньги считаетъ. Когда въ кассу идетъ, двери закрываетъ! Я было разъ сунулась, будто, зачѣмъ-то, а онъ какъ зыкнетъ „Ты чего здѣсь шляешься? Пошла вонъ!“ Видать, что денегъ много, и кухарка и дворникъ говорятъ, что много. Ключи всегда у барыни. Ложатся,—подъ подушку кладутъ.

Хозяевъ Пирожкова ругала:

— Барыня добрая. А баринъ не приведи Богъ. Что не такъ кричитъ, ругается. Ужъ я цѣлый день бѣгаю, стараюсь, а онъ

все кричитъ, все ругаетъ нехорошими словами, и безо всякой причины.

— И у меня отъ этихъ разсказовъ кровь вскипала! — говоритъ Полуляховъ. — Я самъ никогда этими словами не ругаюсь...

Отъ Полуляхова, дѣйствительно, никто въ тюрьмѣ не слыхалъ неприличнаго слова.

— Не люблю и тѣхъ, кто ругается!

Я часто наблюдалъ это надъ типичными, „настоящими" преступниками. Бѣда, если кто-нибудь изъ нихъ обладаетъ какой-нибудь добродѣтелью. Они требуютъ, чтобы весь міръ обладалъ непремѣнно этой добродѣтелью, и отсутствіе ея въ комъ-нибудь кажется имъ ужаснымъ, непростительнымъ преступленіемъ: „что жъ это за человѣкъ?"

— За что же онъ людей-то ругаетъ? Дѣвка служитъ, треплется, а онъ ее ругаетъ? Что меньше себя, такъ и ругаетъ? Людей за людей не считаетъ?

Полуляховъ разспрашивалъ всѣхъ, что за человѣкъ Арцимовичъ, и съ радостью, вѣроятно, слышалъ, что это — человѣкъ грубый.

Въ сущности, онъ „распалялъ" себя на Арцимовича. Полуляховъ, быть-можетъ, боялся своей доброты. Съ нимъ уже былъ случай. Вооруженный, онъ забрался однажды ночью въ квартиру, съ рѣшеніемъ убить цѣлую семью.

— Да жалость взяла. Страхъ напалъ чужія жизни нарушить. За что я невинныхъ людей убивать буду.

И ему надо было отыскать „вину" на Арцимовичѣ, возненавидѣть его.

— Ну, а если бы и Пирожкова и всѣ говорили, что Арцимовичъ человѣкъ добрый, убилъ бы его?

— Не знаю... Можетъ-быть... А можетъ, и рука бы не поднялась...

— Ну, хорошо. Арцимовичъ былъ человѣкъ грубый. Но вѣдь другіе-то были люди добрые... Ихъ-то какъ же?

— Ихъ-то ужъ потомъ... Когда въ сердце придешь... Одного убилъ, и другихъ нужно... А съ него начинать надо было.

Наканунѣ убійства, вечеромъ, Полуляховъ бродилъ около дома Арцимовичей:

— Думалъ, въ щелку въ ставни загляну, самъ все-таки расположеніе комнатъ увижу.

Въ это время изъ калитки вышелъ Арцимовичъ.

Я спрятался.

Увидавъ мелькнувшій во тьмѣ силуэтъ, Арцимовичъ крикнулъ:

— Что это тамъ за жулье шляется?

И выругался нехорошимъ словомъ.

Думалъ ли онъ, что въ эту минуту въ двухъ шагахъ отъ него его убійца, что этому колеблющемуся убійцѣ нужна одна капля для полной рѣшимости.

— Ровно онъ меня по мордѣ ударилъ!—говоритъ Полуляховъ.— Задрожалъ даже я весь. Вѣдь не знаетъ, кто идетъ, зачѣмъ идетъ, а ругается. Оскорбить хочетъ. Возненавидѣлъ я его тутъ, какъ кровнаго врага.

Полуляховъ вернулся съ этой рекогносцировки съ рѣшеніемъ убить Арцимовича и не дальше какъ завтра.

— Теперь мнѣ это ничего не стоило.

Пирожкова познакомила еще раньше дворника Арцимовичей съ Полуляховымъ и Казеевымъ.

Казеевъ, все еще предполагавшій, что готовится только кража, „закидывалъ удочку“, не согласится ли дворникъ помогать. Тотъ поддавался.

— Мнѣ всегда этотъ дворникъ противенъ былъ!—говорилъ Полуляховъ.—Ну, мы чужіе люди. А ему довѣряютъ во всемъ, у людей же служитъ, и противъ людей же, что угодно, сдѣлать готовъ: только помани. Народецъ!

— Ну, а Пирожкова? Вѣдь и Пирожкова тоже служила, и ей Арцимовичи довѣряли?

— Да мнѣ и Пирожкова противна была. Мнѣ всѣ противны были... Она хоть по любви, да и то было мерзко: что же это за человѣкъ? Его приласкай, онъ, на кого хочешь, бросится. Это ужъ не человѣкъ, а собака.

Въ вечеръ убійства дворникъ Арцимовичей былъ приглашенъ къ „пріѣзжимъ купцамъ“ въ гости. Разговоръ шелъ о кражѣ. Дворникъ „хлопалъ водку стаканами, бахвалился, что все отъ него зависитъ“. Предполагалось просто напоить его мертвецки, до безчувствія.

— Да ужъ больно онъ былъ противенъ. Хохолъ онъ, выговоръ у него нечистый. Слова коверкаетъ. „Хо“ да „хо“! Бахвалится. Лицо блѣдное, глаза мутные. Слюни текутъ. Водку пьетъ, льетъ, колбасу грязными руками рветъ. Такъ онъ мнѣ сталъ мерзокъ.

Трудно представить себѣ то „презрѣніе къ людямъ“, которое чувствуютъ эти „настоящіе“ преступники. И какъ они ставятъ все въ строку человѣку. И какъ мало нужно, чтобы человѣкъ вселилъ въ нихъ къ себѣ отвращеніе.

— Сидитъ это онъ передо мной. Смотрю на него: словно гадина какая-то! Запрокинулъ онъ такъ голову, я не выдержалъ. Цапъ его за горло. Прямо изъ-за одного омерзѣнія задушилъ.

Дворникъ только „трепыхнулся раза два". Казеевъ вскочилъ и даже вскрикнулъ отъ неожиданности.

— Начали,—надо кончать!—сказалъ ему Полуляховъ.

Они стащили дворника въ сарай. Полуляховъ налилъ водки себѣ и Казееву:

— Самъ попробовалъ, но пить не сталъ: словно отъ дворника пахло. А Казеевъ былъ, бѣдняга, какъ полотно бѣлый,—ему сказалъ: „Пей!" Зубы у него объ стаканъ звенѣли. Выпилъ. Говорю: Идемъ". И далъ ему топоръ и себѣ взялъ.

Молча они дошли до дома Арцимовичей. У калитки ихъ ждала Пирожкова.

— Легли. Не знаю, спятъ ли еще.

Она сходила въ домъ еще разъ, послушала, вышла:

— Идите!

— А я-то слышу, какъ у нея зубы стучатъ. Обнялъ ее, поцѣловалъ, чтобы куражу дать. „Не бойся,—говорю,—дурочка!" Колотится она вся, а шею такъ словно тисками сдушила. „Съ тобой,—говоритъ,—ничего не боюсь". Ничего мы объ этомъ не сказали, ни слова, а только всѣ понимали, что убивать всѣхъ идемъ.

Полуляховъ пошелъ впередъ. За нимъ шелъ Казеевъ, за Казеевымъ—Пирожкова.

— Слыхать было, какъ у Казеева сердце стучитъ. Въ коридорѣ тепло, а въ ноги холодомъ потянуло: дверь забыли закрыть. Ледянѣютъ ноги,—да и все. Квартира покойныхъ господъ Арцимовичей расположена такъ...

Полуляховъ такъ и сказалъ: „покойныхъ" и нарисовалъ мнѣ на бумагѣ планъ квартиры: онъ каждый уголокъ зналъ по разсказамъ Пирожковой.

Изъ коридорчика они вышли въ маленькую комнату, раздѣлявшую спальни супруговъ: направо была спальня Арцимовича, въ комнатѣ налѣво спала жена съ сыномъ.

Полуляховъ зналъ, что Арцимовичъ спитъ головою къ окнамъ.

— Темно. Не видать ничего. Въ головѣ только и вертится: „Не уронить бы чего?" Нащупавъ ногой кровать, размахнулся...

Первый ударъ пришелся по подушкѣ. Арцимовичъ проснулся, сказалъ „кто" или „что"...

Полуляховъ „на голосъ“ ударилъ топоромъ въ другой разъ.

— Хряскъ раздался. Словно полѣно разрубилъ.

Полуляховъ остановился. Ни звука. Кончено.

— Вышелъ въ среднюю комнату. Прислушался. У госпожи Арцимовичъ въ спальнѣ тихо. Спятъ. Слышу только, какъ около меня что-то, словно часы, стучитъ. Это у Казеева сердце колотится. „Стой, — шепчу, — тутъ. Карауль“. Пирожковой руку въ темнотѣ нащупалъ, холодная такая. „Веди на кухню“. Вхожу. А въ кухнѣ свѣтло, ровно днемъ. Луна въ окна. Читать можно. Оглянулся: вижу постель, на подушкѣ черное, голова кухаркина, къ стѣнѣ отвернувшись, спитъ и такъ-то храпитъ. Взмахнулъ, — и такая-то жалость схватила. „За что?“ думаю. Да ужъ такъ только, словно другой кто мои руки опустилъ. Грохнуло,—и храпа больше нѣтъ. А луна-то — свѣтло такъ... Вижу по подушкѣ большое, большое черное пятно пошло... Отвернулся и пошелъ въ горницы

Полуляховъ сбросилъ окровавленный армякъ, вытеръ объ него руки, зажегъ свѣчку и безъ топора вошелъ въ спальню г-жи Арцимовичъ.

— Надо было, чтобъ она кассу отперла. Замокъ былъ съ секретомъ.

Арцимовичъ, или „госпожа Арцимовичъ“,—какъ все время говоритъ Полуляховъ,—сразу проснулась, какъ только онъ вошелъ въ комнату.

— Сударыня, не кричите!—предупредилъ ее Полуляховъ.

— Семенъ, это ты?—спросила Арцимовичъ.

— Нѣтъ, я—не Семенъ.

— Кто вы? Что вамъ нужно?

— Сударыня, извините, что мы васъ тревожимъ, —мы пришли воспользоваться вашимъ имуществомъ.

— Такъ-таки и сказалъ: „извините?“ — спросилъ я у Полуляхова.

— Такъ и сказалъ. Вѣжливость требуетъ. Я люблю, чтобъ со мной вѣжливы были, и самъ съ другими всегда вѣжливъ. Госпожа Арцимовичъ приподнялась на подушкѣ: „Да вы знаете, къ кому вы зашли? Вы знаете, кто такой мой мужъ?“ Тутъ ужъ я отъ улыбки удержаться не могъ. „Сударыня,—говорю,—для насъ всѣ равны!“— „А гдѣ мой мужъ?“ спрашиваетъ. „Сударыня,—говорю,—о супругѣ вашемъ не безпокойтесь. Вашъ супругъ лежитъ связанный, и мы ему ротъ заткнули. Онъ не закричитъ. То же совѣтую и вамъ. А то и васъ свяжемъ“.—„Вы его убили?“ говоритъ. „Никакъ нѣтъ,— говорю,—намъ ваша жизнь не нужна, а нужно ваше достояніе. Мы

возьмемъ, что намъ нужно, и уйдемъ. Вамъ никакого зла не сдѣлаемъ". Ее всю какъ лихорадка била, однако, посмотрѣла на меня, успокоилась, потому что я улыбался и смотрѣлъ на нее открыто. Она больше Казеева боялась. „Это,—спрашиваетъ,—кто?"—„Это,—говорю,—мой товарищъ. И его не извольте безпокоиться, и онъ вамъ ничего дурного не сдѣлаетъ". Барыня успокоилась. „Это,—спрашиваетъ,—васъ Семенъ дворникъ подвелъ?" — „Семенъ,—говорю,—тутъ ни при чемъ".—„Нѣтъ,—говоритъ,—не лгите: я знаю, это Семеновы штуки". Смѣшно мнѣ даже стало. „Ну, ужъ это,—говорю,—чьи штуки, теперь вамъ все равно. А только потрудитесь вставать, возьмите ключи и пойдемте несгораемую кассу отпирать".—„Куда жъ,—говоритъ,—я пойду, раздѣтая?" Замѣтила тутъ она, что рубашка съ плечъ спала,—одѣяломъ прикрылась. Барыня такая была, покойная, красивая, видная. „Дайте мнѣ,—говоритъ,—кофточку!" Я ей и кофточку подалъ. Одѣла она, застегнулась. „Принесите,—говоритъ,—кассу сюда, она не тяжелая". Тутъ ребенокъ ихъ проснулся, такъ мальчикъ лѣтъ восьми или девяти. Вскочилъ въ кроваткѣ. „Мама,—говоритъ,—кто это?" А она ему: „Не кричи,—говоритъ,—и не бойся, папу разбудишь. Это такъ нужно, это люди изъ суда". Я приказалъ Казееву стоять и караулить, а самъ пошелъ, кассу притащилъ. Около ея кровати поставилъ. „Открывайте!"—говорю. Она присѣла на кровать, открываетъ,—такая спокойная, со мною разговариваетъ. И мальчикъ, глядя на нее, совсѣмъ успокоился. „Мама,—говоритъ,—я яблочка хочу".—„Дайте ему,—говоритъ,—яблочка".—„Дай!" говорю Казееву. Тутъ же, на столикѣ, въ уголкѣ тарелка стояла съ мармеладомъ и яблоками, такъ штукъ 6—7 было. Казеевъ мнѣ подалъ. А я яблочко выбралъ и мальчику далъ: „Кушайте!" И мармеладу ему далъ. Открыла г-жа Арцимовичъ кассу. „Вотъ,—говоритъ,—все наше достояніе". А въ кассѣ тысячи полторы денегъ, и такъ въ уголышкѣ рублей триста лежитъ. „А это,—говоритъ,—казенныя". Вещи еще лежатъ дамскія, колечки, сережки. „А семьдесятъ тысячъ,—спрашиваю,—гдѣ?" Смотритъ на меня во всѣ глаза. „Какія семьдесятъ тысячъ?"—„А наслѣдство?"—„Какое наслѣдство?" Духъ у меня даже перехватило. „Да въ городѣ говорятъ".—„Ахъ,—говоритъ,—вы этой глупой баснѣ повѣрили?" Затрясся я весь. „Сударыня,—говорю,—лучше говорите правду! Гдѣ деньги? Хуже будетъ!"—„Да хоть убейте,—говоритъ,—меня, нигдѣ денегъ нѣту!" Тутъ я самъ чуть было благимъ матомъ не заоралъ. Голова идетъ кругомъ. Однако вижу, барыня говоритъ правду: разъ есть желѣзная касса, куда же еще деньги прятать будутъ. „Давайте!" говорю. А она такая спокойная: деньги вы-

нимаетъ, подаетъ. „Вещи,—говоритъ,—вамъ брать не совѣтую. Съ этими вещами вы только попадетесь“. — „Все, — говорю, — давайте. Не безпокойтесь!“ Объяснять даже стала, какая вещь сколько плачена, когда ей мужъ подарилъ. Удивлялся я ея спокойствiю. У меня голова кругомъ идетъ, а она спокойна! Пошелъ я опять въ комнаты, сломалъ одинъ столъ, другой. „Да нѣтъ, — думаю, — гдѣ же деньгамъ быть?! Уходить теперь надо“. Взялъ топоръ, спряталъ подъ чуйку, опять въ спальню вернулся. А она улыбается даже: „Ну, что,—говоритъ, — убѣдились, что денегъ нѣтъ?“ И такъ мнѣ ея убивать не хотѣлось, такъ убивать не хотѣлось... Да о головѣ дѣло шло. Думалъ, такого человѣка убили, поймаютъ—не простятъ, ждалъ себѣ не иначе, какъ висѣлицы.

— Одинъ вопросъ, Полуляховъ. Ждалъ висѣлицы и все-таки рисковалъ?

— Думалъ, не найдутъ! Ищи вѣтра въ полѣ. Хожу я по комнатѣ взадъ и впередъ,—продолжалъ разсказъ Полуляховъ,—и такъ мнѣ барыни жаль, такъ жаль. Ужъ очень меня ея храбрость удивила. Лежитъ и разговариваетъ съ Казеевымъ. Казеевъ словами душится, а она хоть бы что, — все разспрашиваетъ про дворника: „Онъ ли васъ подвелъ!“ Не ждалъ бы себѣ петли, — не убилъ бы, кажется. Ну, да своя жизнь дороже. Зашелъ я такъ сзади, чтобъ она не видала, размахнулся... Въ одинъ махъ кончилъ. Мальчикъ тутъ на постели вскочилъ. Ротъ раскрылъ, руки вытянулъ, глаза такiе огромные сдѣлались. Я къ нему...

Полуляховъ остановился.

— Разсказывать ли дальше? Скверный ударъ былъ...

— Какъ знаешь...

— Ну, да ужъ началъ, надо все... Ударилъ его топоромъ, хотѣлъ въ другой разъ, — топоръ поднялъ, а вмѣстѣ съ нимъ и мальчика, топоръ въ черепѣ застрялъ. Кровь мнѣ на лицо хлынула. Горячая такая... Словно кипятокъ... Обожгла...

Я съ трудомъ перевелъ духъ. Если бы не боязнь показать слабость передъ преступникомъ, я крикнулъ бы „воды“. Я чувствовалъ, что все поплыло у меня передъ глазами.

— Вотъ видите, баринъ, и вамъ нехорошо... — раздался тихiй голосъ Полуляхова.

Онъ сидѣлъ передо мной блѣдный, какъ полотно, со странными глазами глядя куда-то въ уголъ; щеки его вздрагивали и подергивались.

Мы бесѣдовали позднимъ вечеромъ вдвоемъ въ тюремной канцелярiи. Вслѣдъ за Полуляховымъ и я съ дрожью посмотрѣлъ въ темный уголъ.

— Страшно было!—сказалъ, наконецъ, Полуляховъ послѣ долгаго молчанія, проводя рукой по волосамъ. — Мнѣ этотъ мальчикъ и теперь снится... Никто не снится, а мальчикъ снится...

— Зачѣмъ же было мальчика убивать?

— Изъ жалости.

И лицо Полуляхова сдѣлалось опять кроткимъ и добрымъ.

— Я и объ немъ думалъ, когда по комнатѣ ходилъ. Оставить или нѣтъ? „Что же, — думаю, — онъ жить останется, когда такое видѣлъ? Какъ онъ жить будетъ, когда у него на глазахъ мать убили?“ Я и его... жаль было... Ну, да о своей головѣ тоже подумать надо — мальчикъ большой, свидѣтель. Тутъ во мнѣ каждая жила заговорила, — продолжалъ Полуляховъ, — такое возбужденіе было, такое возбужденіе,—себя не помнилъ. Всѣхъ перебить хотѣлъ. Выскочилъ въ срединную комнатку, поднялъ топоръ: „Теперь, — говорю,—по-настоящему мнѣ и васъ убить надоть. Чтобъ никого свидѣтелей не было. Видите, сколько душъ не изъ-за чего погубилъ. Чтобы этимъ и кончилось: другъ друга не выдавать. Чтобъ больше не изъ-за чего людей не погибало. Держаться другъ друга, не проговариваться“. Глянулъ на Казеева: бѣлѣе полотна, а Пирожкова стоитъ, какъ былинка качается. Жаль мнѣ ее стало, я ее и обнялъ. И началъ цѣловать. Ужъ очень тогда во мнѣ каждая жила дрожала. Никогда, кажется, никого такъ не цѣловалъ.

Этотъ убійца, съ залитымъ кровью лицомъ, обнимающій сообщницу въ квартирѣ, заваленной трупами, — это казалось бы чудовищнымъ вымысломъ, если бы не было чудовищной правдой.

— И любилъ я ее тогда и жалко мнѣ ее было, жалко...

— Ну а теперь гдѣ Пирожкова? — спросилъ я Полуляхова.

— А чортъ ее знаетъ, гдѣ! Гдѣ-то здѣсь же, на Сахалинѣ!

— Она тебя не интересуетъ?

— Ни капли.

А Пирожкова изъ любви къ Полуляхову не захотѣла пойти ни къ кому въ сожительницы и была отправлена въ дальнія поселья, на голодъ, на нищету...

Въ ту же ночь Полуляховъ, Пирожкова и Казеевъ исчезли изъ Луганска. Они жили по подложнымъ паспортамъ. И полиціи никогда бы не удалось открыть убійцъ, если бы въ дѣло не вмѣшался пасынокъ Арцимовича.

Молодой человѣкъ, задавшись цѣлью отыскать убійцъ матери и отчима, объѣхалъ нѣсколько южныхъ городовъ, искалъ вездѣ. Переодѣтый, онъ посѣщалъ притоны, сходился съ темнымъ людомъ.

И вотъ, въ одномъ изъ ростовскихъ притоновъ онъ услышалъ о какомъ-то громилѣ, который кутилъ, продавалъ цѣнныя вещи, поминалъ что-то, пьяный, про Луганскъ.

По указаніямъ молодого человѣка, этого громилу арестовали.

Это былъ Казеевъ.

Казеевъ былъ потрясенъ, разбитъ страшнымъ убійствомъ. Онъ мечталъ о перемѣнѣ жизни. Ему хотѣлось бросить „свое дѣло“ и поступить въ сыщики.

Эта мечта бросить „свое дѣло“ и сдѣлаться сыщикомъ—довольно обычная у профессіональныхъ преступниковъ.

Ихъ часто ловятъ на эту удочку.

— Ты малый способный, дѣльный, знаешь весь этотъ народъ,—мы тебя въ агентахъ оставимъ.

— Ровно рыба—дураки! – съ презрительной улыбкой говоритъ Полуляховъ.—Одну рыбу на крючокъ поймали, и другая на тотъ же крючокъ лѣзетъ.

— Какъ же они вѣрятъ?

— Что жъ людямъ остается, какъ не вѣрить? Человѣкъ заблудился въ лѣсу, видитъ — выхода нѣтъ. Тутъ человѣкъ каждому встрѣчному довѣряется. Можетъ, тотъ его въ чащу завести хочетъ и убить, а онъ идетъ за нимъ. Потому все одно выхода нѣтъ.

Заблудившись въ преступленіяхъ, Казеевъ повѣрилъ, что его помилуютъ и оставятъ въ сыщикахъ, и выдалъ Полуляхова и Пирожкову, указалъ, какъ ихъ найти, будучи совершенно увѣренъ, что ихъ „за убійство судьи безпремѣнно повѣсятъ“.

„Товарищъ“ среди преступниковъ на волѣ и въ каторгѣ, это, какъ они говорятъ, „великое слово“. Выдать или убить товарища, это—величайшее преступленіе, которое только можетъ быть. За это смерть.

И вотъ Полуляхова и Казеева посадили въ одну камеру и заперли.

— Ну, что жъ, Ваня, теперь мы съ тобой дѣлать будемъ? — спросилъ его Полуляховъ.

Казеевъ молчалъ.

— Только колотило его всего. Сидимъ — молчимъ. Я на него во всѣ глаза смотрю,—онъ въ уголъ глядитъ. Принесли обѣдъ,—не притронулся. Ужинъ въ шесть подали, — не притронулся. Ночь пришла. Я легъ, лежу, не сплю. А онъ сидитъ. Измученный, только-только не падаетъ, а спать лечь боится. Уснетъ и убью. Жалко мнѣ на него смотрѣть стало, жалость взяла. Закрылъ я глаза, притворился, что заснулъ, захрапѣлъ. Я никогда во снѣ не храплю и

не люблю, когда другіе храпятъ, — противенъ мнѣ тогда человѣкъ. А тутъ будто захрапѣлъ, чтобъ онъ успокоился. Слышу, — ложится и, словно топоръ въ воду, заснулъ. Проснулся я утромъ раньше его, посмотрѣлъ, ровно младенецъ спитъ. Толкнулъ я его: „Вставай, Ваня“. Вскочилъ, смотритъ на меня, глаза вытаращилъ, удивленно такъ. Кругомъ оглядывается. Я даже засмѣялся. „Живъ! живъ! — говорю. — Вотъ что, Ваня. Глупость сдѣлали, — не будемъ говорить: теперь намъ надо не о прошломъ, а о будущемъ думать. Что бы ни было, чтобъ все вмѣстѣ. Были товарищами, и будемъ товарищами. Понялъ?“ Заплакалъ онъ даже.

— Такъ я и въ каторгу попалъ. Убилъ бы ихъ тогда въ домѣ гг. Арцимовичей, и ничего бы и не было! — вздохнулъ Полуляховъ. — Да жалость меня тогда взяла. За это и въ каторгѣ.

Судъ надъ убійцами Арцимовичей производилъ ужасное впечатлѣніе. Полуляховъ держалъ себя съ безпримѣрнымъ цинизмомъ; разсказывая объ убійствѣ, онъ прямо издѣвался надъ своими жертвами, хвастался своимъ спокойствіемъ и хладнокровіемъ.

— Зло меня брало. Повѣсите? Такъ нате жъ вамъ!

Полуляховъ все время ждалъ смертнаго приговора.

— Какъ встали всѣ, начали читать приговоръ, у меня голова ходуномъ пошла. Головой даже такъ дернулъ, будто веревка у меня передъ лицомъ болтается. Однако думаю: „Поддержись теперь, братъ, Полуляховъ. Уходить съ этого свѣта, — такъ уходить!“ И самъ улыбнуться стараюсь.

Когда прочли „въ каторжныя работы“, Полуляховъ „даже ушамъ своимъ не повѣрилъ“.

— Гляжу кругомъ, ничего не понимаю. Ослышался? Сплю? Изъ суда вышелъ, словно съ петли сорвался. Отъ воздуха даже голова было закружилась и тошно сдѣлалось.

Когда преступниковъ, среди толпы, вели изъ суда, вдругъ раздался выстрѣлъ. Пасынокъ Арцимовича выскочилъ изъ толпы и почти въ упоръ выстрѣлилъ въ Полуляхова изъ револьвера.

— А я-то въ эту минуту въ толпу кинулся!

Пуля пролетѣла мимо.

— Такой ужъ фартъ (счастье)! — улыбаясь, замѣчаетъ Полуляховъ.

Стрѣлявшаго схватили, а Полуляховъ, какъ только его привели въ острогъ, сейчасъ же потребовалъ смотрителя и заявилъ, чтобъ пасынка Арцимовича освободили:

— Потому что я на него никакой претензіи не имѣю.

— Почему жъ такая забота о немъ! Благородство, что ли, хотѣлъ доказать?

— Какое же тутъ благородство?—пожалъ плечами Полуляховъ.— Я его мать убилъ, а онъ меня хотѣлъ. На его мѣстѣ и я бы такъ сдѣлалъ.

Когда Полуляхова и Казеева везли на Сахалинъ, ихъ держали порознь. Всѣ арестанты говорили:

— Полуляховъ безпремѣнно пришьетъ Казеева.

Но это было лишней предосторожностью. Они снова были „товарищами“.

— На Ваню у меня никакой злобы не было. Вмѣстѣ дѣлали, вмѣстѣ въ бѣду попали, вмѣстѣ надо было и уходить.

Ихъ посадили въ одинъ и тотъ же номеръ Александровской кандальной тюрьмы, и „товарищи“ взяли себѣ рядомъ мѣста на нарахъ.

— Ваня отъ меня ни на шагъ. Каждый кусокъ пополамъ.

Эта потребность имѣть кого-нибудь близкаго съ невѣроятной силой просыпается въ озлобленныхъ на все и на вся каторжанахъ. Только въ институтахъ такъ „обожають“ другъ друга, какъ въ кандальныхъ тюрьмахъ. Доходитъ до смѣшного и до трогательнаго. Въ бѣгахъ, въ тайгѣ, полуумирающій съ голоду каторжникъ половину послѣдняго куска хлѣба отдаетъ товарищу. Самъ идетъ и сдается, чтобъ только подобрали раненаго или заболѣвшаго товарища. Цѣлыми днями несетъ обезсилѣвшаго товарища на рукахъ. У самого едва душа въ тѣлѣ держится, а товарища на рукахъ тащитъ. Пройдетъ нѣсколько шаговъ, задохнется, присядетъ, — опять беретъ на руки и несетъ. И такъ сотни верстъ, и такъ черезъ непроходимую дикую тайгу.

„Убійца пяти человѣкъ“,—это ровно ничего не значитъ для каторги:

— Тамъ-то мы всѣ храбры. Ты вотъ здѣсь себя покажи.

Убійства, совершонныя „на волѣ“, въ каторгѣ не идутъ въ счетъ. Каторгу не удивишь, сказавъ: „убилъ столько-то человѣкъ“. Каторга при этомъ только спрашиваетъ:

— А сколько взялъ?

И, если человѣкъ „взялъ“ мало, каторга смѣется надъ такимъ человѣкомъ, какъ смѣется она надъ убійцей изъ ревности, изъ мести, вообще, надъ „дураками“.

— Оглобля! Безъ „интересу“ па „преступленье“ пошелъ. Для каторги „знаменитыхъ“ убійцъ нѣтъ. Тутъ не похвастаешься убійствомъ 5 человѣкъ, когда рядомъ на нарахъ лежитъ Пащенко, за которымъ офиціально числится 32 убійства!

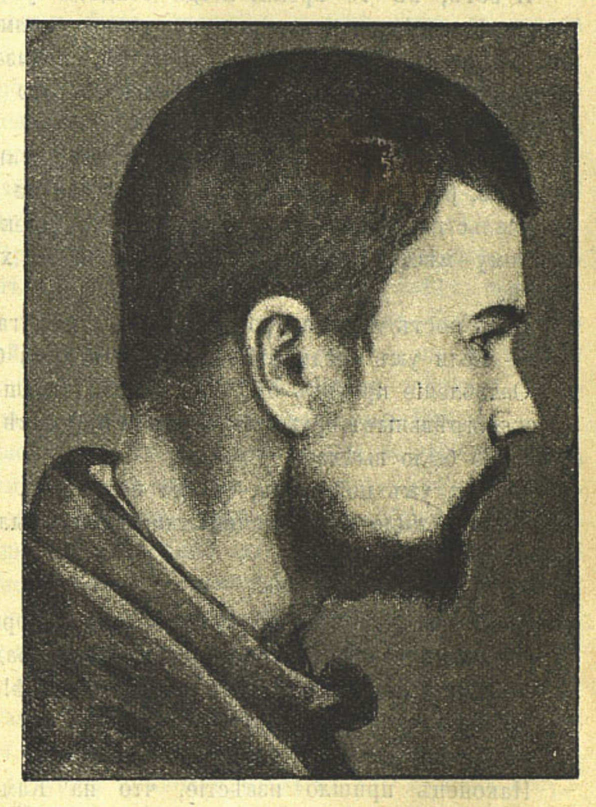
Положеніе Полуляхова, которымъ ужасались на судѣ, въ каторжной тюрьмѣ было самое шаткое.

— Пять человѣкъ убилъ, а сколько взялъ, стыдно сказать!

Его выручало нѣсколько только то, что онъ, „судью", такого человѣка убилъ.

— Значитъ, на веревку шелъ!

Это вселяло все-таки нѣкоторое уваженіе: каторга уважаетъ тѣхъ, кто такъ рискуетъ, и боится только тѣхъ, кто самъ ничего не боится.



Убійца семьи Арцимовичей, Полуляховъ.

Когда я былъ на Сахалинѣ, Полуляховъ пользовался величайшимъ уваженіемъ въ тюрьмѣ. О совершонномъ имъ побѣгѣ говорили съ величайшимъ почтеніемъ.

— Вотъ это такъ человѣкъ!

Побѣгъ былъ одинъ изъ самыхъ дерзкихъ, отчаянныхъ, безумныхъ, по своей смѣлости.

Полуляховъ съ Казеевымъ и еще тремя арестантами бѣжали среди бѣлаго дня, на глазахъ у всѣхъ.

— Съ вечера легли, шепнулъ Казееву: „Ваня, завтра уходимъ".—

„Какъ?" спрашиваетъ. „Молчи, — говорю, — и всякую минуту будь готовъ, или уйдемъ, или вмѣстѣ смерть примемъ".—„Что жъ!— шепчетъ.—Куда ты, туда и я".

Пятеро арестантовъ, съ однимъ конвойнымъ, были на работѣ на самомъ бойкомъ мѣстѣ большой проѣзжей дороги, около самаго поста Александровскаго. Время было не „бѣговое", и арестанты кандальнаго отдѣленія были безъ кандаловъ. По дорогѣ ходило много народу, безпрестанно туда и сюда проѣзжали чиновники, про-

ходили солдаты. Какъ вдругъ Полуляховъ кинулся на конвойнаго, однимъ ударомъ сбилъ его съ ногъ, вырвалъ ружье и, крикнувъ: „Ваня, уходи!“—бросился въ опушку лѣса.

Это видѣла масса народу, бывшаго на дорогѣ. Ударили тревогу. Отсюда два шага до поста,—и въ нѣсколько минутъ прибѣжавшая команда разсыпалась по лѣсу.

И вотъ, въ то время, когда солдаты углубились въ лѣсъ, на вершинѣ сосѣдняго, совершенно голаго холма, одинъ за другимъ, въ обычномъ бродяжескомъ порядкѣ, показалось пять фигуръ. Передній шелъ съ ружьемъ на плечѣ. Это былъ Полуляховъ съ товарищами.

На дорогѣ въ это время стояли чиновники. Ружья ни у кого не было, револьвернымъ выстрѣломъ было не достать, и на глазахъ у начальства, на глазахъ у всего поста Александровскаго, по открытому мѣсту бродяги прошли, зашли за холмъ и скрылись въ тайгѣ.

Весь постъ Александровскій былъ перепуганъ.

— Если ужъ среди бѣла дня при конвоѣ бѣгать станутъ!

Озлобленіе противъ бѣглецовъ было страшное. Бродяги, да еще съ огнестрѣльнымъ оружіемъ, держали въ ужасѣ весь Александровскъ. Страшно было выѣхать.

— Ну, ужъ поймаютъ, спуска не дадутъ.

Тюрьма жила лихорадочной жизнью, не было другихъ думъ, другихъ разговоровъ:

— Что слышно?

Дней десять ничего не было слышно. Тюрьму, которая ликуетъ при всякомъ удачномъ побѣгѣ, охватывала радость:

— Ну, теперь ушли! Ищи вѣтра въ полѣ!

Но остальное дрожало отъ злости:

— Да неужели же такъ имъ и пройдетъ?

Наконецъ пришло извѣстіе, что на Камышевскомъ перевалѣ убитъ Казеевъ.

При вскрытіи, кромѣ раны, у него оказалась масса поврежденій.

Полуляховъ разсказываетъ, какъ убивали Казеева.

Камышевскій перевалъ, по дорогѣ изъ поста Александровскаго въ селеніе Дербинское,—мѣсто, гдѣ часто ютятся бѣглые. Когда проѣзжаютъ это мѣсто, вынимаютъ обыкновенно револьверы. Дорога спускается въ ложбинку и идетъ между кустарниками. Направо и налѣво страшныя кручи огромныхъ, отвѣсныхъ почти горъ, поросшихъ мачтовымъ, прямымъ какъ стрѣла, сосновымъ лѣсомъ.

По этому-то крутому спуску перебираясь отъ дерева къ дереву гуськомъ, и сходили бродяги. Впереди шелъ Казеевъ, за нимъ Полуляховъ.

Какъ вдругъ изъ-за кустовъ, съ дороги грянулъ выстрѣлъ. Перебѣгавшій отъ дерева къ дереву Казеевъ закричалъ и полетѣлъ внизъ. Полуляховъ притаился за сосной и ждалъ съ секунды на секунду новаго выстрѣла. Но его не замѣтили.

Вниманіе стрѣлявшихъ было отвлечено полетѣвшимъ съ откоса Казеевымъ.

— Слышу внизу подъ горой голоса. Выглянулъ я изъ-за сосны,— внизу прогалинка межъ кустовъ, а на прогалинкѣ Ваня лежитъ, барахтается, встать все хочетъ. Люди его окружили. Ваня все стоналъ. „Пить,— кричалъ,— водицы, Христа ради, дайте!“... — „И такъ,—говорятъ,—сдохнешь“.

Просидѣвъ за деревьями до вечера, четверо бродягъ ушли. Слухъ о нихъ дошелъ не скоро. Они подались въ тайгу, шли голодные, истощавшіе, прямо, цѣлиной, тамъ, гдѣ не бывала нога человѣческая, тундрой. Ружье пришлось бросить,— не подъ силу было нести. И, наконецъ, отощавшіе, изодранные въ тайгѣ, въ кровь искусанные мошкарою въ тундрѣ, вышли на селеніе Вяльзы.

— Выходимъ,—пастухъ трехъ коровенокъ пасетъ. Мы къ нему, такъ и такъ: нѣтъ ли чего поѣсть? Онъ испугался, дрожитъ, какъ осиновый листь; мы ему: „Не бойся, молъ, ничего тебѣ не сдѣлаемъ. Гдѣ ужъ намъ! Видишь, небось, какіе мы“. Оправился: „Хорошо,— говоритъ,—вотъ въ полдни погоню животинъ въ поселокъ, принесу хлѣбушка. А вы меня вотъ тутъ ждите“. Отпустили мы его въ полдни. Сидимъ, ждемъ. Только смотримъ, бѣгутъ отъ поселка поселенцы, кто съ ружьемъ,—охотники они,— кто съ вилами, кто со слегой, кричатъ, руками машутъ, а впередъ пастухъ нашъ рукой указываетъ на наши, стало-быть, кусты. Это онъ, подлая душа, вмѣсто того, чтобы хлѣбушка принести, взялъ да всю деревню взбулгачилъ. За то, думать надо, что мы его пожалѣли и не пришили. Пришили бы его, коровенку зарѣзали, вырѣзали бы мяса, сколько нужно,—и все. А то жаль старика было. Онъ на насъ поселенцевъ и поднялъ: „Бродяги,—говоритъ,—пришли, ѣсть просятъ, голодные!“ А ежели голодные, значитъ, убить надо. Потому голодный человѣкъ и корову зарѣзать можетъ. А у нихъ тутъ, передъ этимъ, коровенку бродяги, дѣйствительно, зарѣзали. Озлоблены на бродягъ были. „Бей,—кричатъ,—ихъ такихъ-сякихъ на смерть!“ Мы было въ бѣгъ. Да одинъ выстрѣлилъ, мнѣ руку прошибъ. Словно палкой изо всѣхъ силъ шибануло,—я и свалился.

Пуля прошла въ мякоти, около лучевой кости лѣвой руки, навылетъ.

— А другіе, тѣ прямо на землю полегли. „Сдаемся,—кричатъ,— не бейте!“ Били, однако, страхъ какъ. „Не рѣжь, — кричать,—коровъ!“ Ровно звѣрье. Люди имъ ничего не сдѣлали, а бьютъ...

— Такъ безъ сопротивленія и сдались?

— Какое жъ сопротивленіе? Да и то сказать, и поселенцевъ этихъ жаль. Въ Сибири, говорятъ, тамъ другіе порядки. Тамъ къ мужику бродяга смѣло идетъ: сибирскій мужикъ ему всегда хлѣба вынесетъ, потому что хлѣбъ есть. А здѣсь, одно слово, Сакалинъ. Голодъ. Ему сыну-то кусокъ хлѣба дать жутко: самъ съ голода мретъ. Ему бродяга первый врагъ. Приходитъ голодный къ голодному,—ему и страшно: никакъ, онъ еще голоднѣй меня? Бродяга съ голоду и впрямь коровенку зарѣжетъ. А безъ коровенки поселенцу что? Смерть! Послѣдняго живота лишись. Въ казну за коровенку выплачивай, а животины нѣтъ. Все, что есть, въ разоръ пойдетъ. Тутъ вонъ одинъ поселенецъ повѣсился, когда у него коровенку зарѣзали. Ну, и бьютъ: они еще голоднѣе насъ.

— Лежу я, кровь моя льется, и зло меня беретъ, и жалость... жалко мнѣ этихъ поселенцевъ, жалко ..

Эти люди, убивающіе другихъ, ужсано любятъ вызывать въ себѣ чувство жалости. Имъ нравится это ощущеніе, они чувствуютъ себя тогда такими добрыми, хорошими, имъ кажется, быть-можетъ, въ эти минуты: „Какой я, въ сущности, добрый, хорошій, славный человѣкъ! Какая я прелесть!“ А кому не хочется подумать о себѣ съ умиленіемъ? Похвастать именно тѣми добродѣтелями, которыхъ у него нѣтъ?

— Жалко! — этотъ мотивъ постоянно звучитъ въ разговорахъ Полуляхова, убившаго топоромъ восьмилѣтняго ребенка.

И, когда онъ говоритъ это „жалко“, въ его лицѣ есть что-то умиленное, кроткое. Онъ самъ трогается своей добротой.

— Ну, а въ Бога вы вѣруете?—спросилъ я однажды Полуляхова.

— Нѣтъ. Я по Дарвину!—отвѣчалъ Полуляховъ.

— Какъ? Вы Дарвина знаете?

— Это ужъ я здѣсь, въ тюрьмѣ, узналъ. „Борьба за существованіе“ это называется. Человѣкъ ѣстъ птицу, птица ѣстъ мошку, а мошка еще кого-нибудь ѣстъ. Такъ оно и идетъ. „Круговоротъ веществъ“ это называется. И человѣкъ ѣстъ птицу не потому, что онъ на нее золъ, а потому, что ему ѣсть хочется. А какъ птицѣ отъ этого,—онъ не думаетъ: ему ѣсть хочется, онъ и ѣстъ. И птица не думаетъ, каково мошкѣ, а думаетъ только, что ей нужно. Такъ

и всѣ. Одинъ ловитъ человѣка, который ему ничего не сдѣлалъ. Другой судитъ и въ тюрьму сажаетъ человѣка, который ему ничего дурного не сдѣлалъ. Третій жизни лишаетъ. Никто ни на кого не золъ, а просто всякому ѣсть хочется. Всякій себѣ, какъ можетъ, и добываетъ. Это и называется „борьбой за существованіе".

— Ну, хорошо, Полуляховъ. Будемъ по Дарвину. А теорія приспособленія какъ же? Долженъ же человѣкъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе, среди людей живя, приспособиться къ ихъ условіямъ, требованіямъ, законамъ общежитія?

— Приспособленія?—задумался Полуляховъ.—Не ко всему приспособиться можно. Къ каторгѣ, напримѣръ, не приспособишься. Я такъ думаю, что человѣкъ приспособляется только къ тому, что ему пріятно. А ко всему остальному чтобъ приспособиться — терпѣніе нужно. А у меня терпѣнія нѣтъ. Эта самая „теорія приспособленія", какъ вы говорите, для меня не годится.

Такъ разсуждаетъ о „господинѣ Дарвинѣ" этотъ человѣкъ, и Дарвина понявшій съ волчьей точки зрѣнія.

— Скажите, если только правду сказать хотите, — спросилъ меня однажды Полуляховъ, — далеко отсюда до Америки?

Я принесъ ему карту.

Онъ долго смотрѣлъ на карту, мѣрялъ бумажкой по масштабу Великій океанъ и Сибирь и, наконецъ, улыбнулся.

— Н-да, выходитъ не то! И сюда подашься — вода. И сюда подашься — земля. А что вода, что земля, когда ее много, все одно. Что воды въ ротъ нальется, что землю съ голоду ѣсть,—все одинъ чортъ! И направо пойдешь — смерть, и налѣво пойдешь — смерть, и на мѣстѣ останешься — смерть. Чисто въ сказку попалъ. Да и сказокъ такихъ страшныхъ нѣтъ! — разсмѣялся онъ.

Таковъ этотъ человѣкъ, почти юноша, взятый изъ городской школы и разговаривающій о Дарвинѣ, убившій въ свою жизнь шестерыхъ, — безконечно жалостливый человѣкъ.

Когда Полуляхова увозили изъ Харькова, былъ такой случай.

На желѣзной дорогѣ была родственница покойныхъ Арцимовичей. Она не знала, что съ партіей отправляютъ убійцъ ея родныхъ.

Когда проходила партія, между публикой, какъ это всегда бываетъ, зашелъ разговоръ на тему:

— Сколько, чай, невинныхъ людей идетъ!

— Вотъ этотъ, напримѣръ, молодой мужичокъ. Я пари готова держать, что онъ идетъ невиновный. Вы посмотрите на него. Ну, развѣ можно съ такимъ лицомъ быть преступникомъ! — сказала

родственница Арцимовичей и обратилась къ одному изъ знакомыхъ. — Нельзя ли узнать, за что онъ осужденъ?

— Скажите, пожалуйста, кто это такой? — спросилъ знакомый у конвойнаго офицера.

— Этотъ? Это Полуляховъ, убійца Арцимовичей.

Родственница несчастныхъ закричала и упала въ обморокъ.

Когда я разсказалъ этотъ эпизодъ Полуляхову, онъ задумался:

— Позвольте... Позвольте... Припоминаю... Когда насъ гнали, какая-то женщина закричала благимъ матомъ и упала. Я еще тогда обернулся, посмотрѣлъ... Такъ это она отъ меня? Родственница, стало-быть, покойныхъ?.. Скажите, пожалуйста! А я не обратилъ вниманія... Мало ли ихъ орутъ. Думалъ, чья родственница, или...

Полуляховъ улыбнулся:

— Или по мнѣ какая оретъ „изъ бывшихъ моихъ". Много ихъ было у меня и въ Харьковѣ!

Знаменитый московскій убійца.

Въ Александровской кандальной тюрьмѣ нельзя не обратить вниманія на худенькаго, тщедушнаго, болѣзненнаго человѣка съ удивительно страдальческимъ выраженіемъ въ глазахъ. Онъ выдается своимъ жалкимъ видомъ даже среди арестантовъ. Чѣмъ-то въ конецъ замученный человѣкъ.

— Кто это?

— Викторовъ.

И сахалинское начальство, при всемъ своемъ презрѣніи къ каторгѣ, все же нѣсколько гордящееся имѣющимися въ тюрьмѣ „знаменитостями", добавитъ:

— Знаменитый московскій убійца!

Лѣтъ десять тому назадъ „загадочное убійство въ Москвѣ" гремѣло на всю Россію.

Въ іюлѣ, въ Брестъ-Литовскѣ, на станціи желѣзной дороги, среди „невостребованныхъ грузовъ", отъ одной корзины начало исходить страшное зловоніе.

Корзину вскрыли, и „глазамъ присутствующихъ, — какъ пишется въ газетахъ, — представилось полное ужаса зрѣлище".

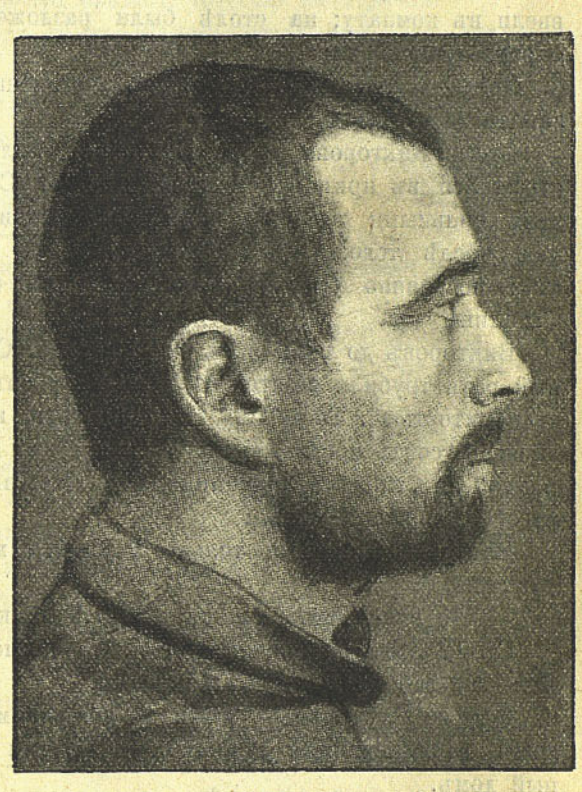
Въ корзинѣ, обтянутой внутри клеенкой, лежалъ разрубленный на части трупъ женщины. Щеки были вырѣзаны. Мѣтки на бѣльѣ отрѣзаны. Страшная посылка была отправлена изъ Москвы 2 іюля.

Вся московская сыскная полиція была поставлена на ноги.

Искали, искали, — и безуспѣшно. Слѣда, казалось, никакого не было.

Въ то время начальникомъ сыскной полиціи въ Москвѣ былъ нѣкто Эффенбахъ, пользовавшійся славой „Лекока“.

Онъ обратилъ вниманіе на три обстоятельства. По бѣлью, которое было найдено въ корзинѣ, по „убогой роскоши“ его, онъ вывелъ заключеніе, что покойная, скорѣй всего, была проституткой. Затѣмъ его вниманіе остановило то, что и фамилія отправителя „груза“, конечно, вымышленная, и вымышленная фамилія „получателя“ начинаются на букву „В“. Растерявшемуся, взволнованному человѣку почему-то инстинктивно приходили въ голову только фамиліи, начинавшіяся на букву „В“. А можетъ-быть, это было легкое насмѣшливое заигрыванье со стороны преступника. Преступникъ, у котораго все отлично идетъ, иногда начинаетъ куражиться, не прочь „подпустить насмѣшку“, любитъ оставить что-то въ родѣ визитной карточки, маленькій, сейчасъ же теряющійся слѣдъ. „На, молъ, ищи“. Наконецъ вмѣстѣ съ трупомъ въ корзинѣ лежала окровавленная дровяная плаха, на которой, очевидно, разрѣзали трупъ. Такими плахами топятъ печи въ трактирахъ и меблированныхъ комнатахъ.



Знаменитый московскій убійца Викторовъ Николай.

Провѣрили по спискамъ всѣхъ московскихъ проститутокъ и оказалось, что одна изъ нихъ, жившая въ домѣ Боткина, по Петровскому бульвару, уѣхала на родину.

Сама она передъ отъѣздомъ домой не заходила около недѣли. А 3 іюля къ ней на квартиру зашелъ ея знакомый Викторовъ, сказалъ, что она спѣшно уѣхала въ деревню и велѣла ему взять вещи.

Викторовъ содержалъ меблированныя комнаты на углу Брюсова переулка и Никитской и служилъ контролеромъ на скачкахъ.

За нимъ послали на скачки, привезли въ сыскное отдѣленіе и ввели въ комнату; на столѣ были разложены: корзина, клеенка, окровавленное бѣлье.

Увидавъ эти вещи, Викторовъ „остолбенѣлъ“, затѣмъ затрясся, заплакалъ и сознался.

Отецъ Викторова, когда Викторовъ былъ еще маленькимъ, застрѣлился въ припадкѣ помѣшательства. Сестра Викторова страдала сильными истерическими припадками. Братъ Викторова,— уже послѣ того, какъ Викторовъ былъ пойманъ, — сошелъ съ ума: постоянно бредилъ, что пьетъ съ братомъ Николаемъ на Сахалинѣ чай.

Викторовъ до семи лѣтъ не говорилъ. О немъ уже не въ первый разъ трубили газеты: въ 1883 году онъ тоже былъ „московской знаменитостью“. Тогда ему было 30 лѣтъ, и онъ впалъ въ летаргическій сонъ, продолжавшійся 12 сутокъ. Его чуть-чуть не похоронили, и „живымъ покойникомъ въ Маріинской больницѣ“ интересовалась вся Москва.

Викторовъ прошелъ только 2 класса московскаго мѣщанскаго училища.

— Не способенъ былъ-съ. Русскій языкъ-съ мнѣ не давался!

Съ 12 лѣтъ онъ началъ пить, 15—познакомился съ развратомъ. Лѣтъ 20 заболѣлъ дурной болѣзнью.

Родные Викторова — люди съ достаткомъ. Всѣ они, — кто держитъ меблированныя комнаты съ „этими дамами“, кто публичный домъ.

Съ дѣтства онъ стоялъ близко къ темному міру, соприкасался съ нимъ.

Въ 1881 году онъ былъ осужденъ на 4 мѣсяца въ рабочій домъ за кражу.

Въ 1881 же году былъ замѣшанъ въ убійствѣ дворянки Накатовой и кухарки ея Похвисневой.

— Убійства не совершалъ-съ... но къ убійству стоялъ довольно близко-съ...

Въ 1883 году онъ ушелъ бродяжить. Бродяжилъ 8 лѣтъ, затѣмъ открылся, вернулся въ Москву, получилъ наслѣдство, около 3 тысячъ, и завелъ себѣ меблированныя комнаты.

Убитая дѣвушка жила въ публичномъ домѣ его тетки, потомъ „вышла на волю, занималась своимъ дѣломъ“ и жила съ нимъ.

— Вы что же, Викторовъ, были ея „котомъ“?

— Не совсѣмъ чтобы... Какъ вамъ сказать?.. Денегъ я ей, конечно, не платилъ... Любовникомъ-съ былъ... Но и на ея деньги не жилъ... Такъ иногда кое-что бралъ... Больше на игру-съ!

Три года онъ служилъ контролеромъ тотализатора на скачкахъ и велъ игру.

— Только-съ и жилъ-съ!—съ грустной улыбкой говоритъ онъ.— Зимой-съ, такъ сказать, прозябалъ въ нетопленой квартирѣ... Часто меблированныхъ комнатъ топить было нечѣмъ... А лѣто придетъ-съ, скачки, — и оживаешь-съ. Цѣльное лѣто въ игрѣ живешь. Берешь на скачки рублей 150—200, всѣми мѣрами достаешь, — когда продуешь все вдребезги, когда 500—600 принесешь! Такъ и жилъ-съ. Въ полугарѣ.

Въ Москвѣ, гдѣ скачки лѣтомъ заполняютъ все и вся, много людей, которые „цѣлое лѣто въ игрѣ живутъ“, а все остальное время „прозябаютъ“.

Замѣчательно, что въ каторгѣ, которая полна игроками, Викторовъ не играетъ. Я разспрашивалъ о немъ:

— Не играетъ!.. Какой игрокъ!.. Иногда подойдетъ, когда играемъ, поставитъ семитку, — ему чтобы на сахаръ выиграть... Выиграетъ гривенникъ и отойдетъ... Да и то рѣдко.

Я спрашивалъ Викторова:

— Какъ же это такъ? Такой игрокъ былъ, а здѣсь не играете?

— Не интересуюсь.

— А тамъ отчего же игралъ?

— Говорю вамъ, въ полугарѣ былъ. Только скачками и дышалъ. Потому близко стоялъ—и контролеромъ былъ. Въ самой центрѣ-съ! Кругомъ ставятъ деньги, берутъ, въ двѣ минуты сотельныя бумажки берутъ, — ну, и я-съ! Очухаться не могъ-съ. Полугаръ. Не успѣлъ отъ выигрыша или проигрыша очухаться, — афиша. Завтра скачки. Обдумываешь, раздумываешь, по трактирамъ идешь, въ трактиръ „Охту“ съ конюхами совѣтоваться, играешь, спозаранку встаешь, на разсвѣтѣ на утренніе галопы бѣжишь. О лошадяхъ только и думаешь, лошади и во снѣ снятся. Не видишь, какъ лѣто пролетаетъ.

Таковъ этотъ болѣзненный, до семи лѣтъ не говорившій, въ летаргическомъ снѣ лежавшій, съ несомнѣнно-болѣзненной наслѣдственностью человѣкъ, принесшій въ міръ столько ужаса и горя. При такихъ условіяхъ росъ, воспитывался и формировался этотъ „знаменитый убійца“.

Время около Петрова дня, 29 іюня, время горячее для московскихъ игроковъ: въ это время разыгрывается „Всероссійскій Дерби". Генеральное сраженіе въ тотализаторѣ.

— Шибко я въ тѣ поры въ неврахъ былъ-съ. Кто возьметъ? На кого ставить? Одинъ говоритъ—на ту, другой—на другую. Слуховъ не оберешься. Газеты возьмешь, никакого толку, разное пишутъ. Та въ формы не вошла, та не готова, пишутъ, — ту еще работать надо. Просто голова идетъ кругомъ. Мѣста себѣ не найдешь. Играть надо, а время, сами изволите знать, что за время лѣто для меблированныхъ комнатъ? Два номера заняты, ремонтъ идетъ, расходы. А тутъ „Дерби". Прямо — ума рѣшайся.

Вечеромъ, въ Петровъ день, Настя ночевала у Викторова. Около часа ночи они лежали въ постели. „Оба выпимши", и говорили о скачкахъ. Викторовъ упрашивалъ, чтобы она заложила еще вещей:

— Надо же играть!

Она попрекала Викторова, что онъ и такъ проигралъ у нея все. Слово за слово, — Настя дала Викторову пощечину, Викторовъ схватилъ стоявшій около на ночномъ столикѣ подсвѣчникъ и ударилъ ее.

— Помертвѣла вся... Не пикнула... Батюшки, смотрю, — въ високъ!.. Умерла... А вдругъ очнется, кричать примется... Стою надъ ней... Лежитъ, не шелохнется... Прошло минутъ пять... Схватилъ руку: теплая... не холодѣетъ... Очнется... Пропадешь!.. Страхъ меня взялъ-съ...

Викторовъ схватилъ ножикъ и перерѣзалъ ей горло.

— Не знаю, убилъ ли... Не знаю... Нѣтъ ли... А только такъ рѣзалъ, со страху, для вѣрности... Сижу-съ, смотрю и думаю-съ: что же теперь дѣлать-съ... Тутъ мнѣ корзина въ глаза и кинулась... Родственницѣ долженъ былъ я мѣховыя вещи высылать... Корзина, клеенка и камфара, чтобы пересыпать, были заготовлены... Только вещей я выслать не могъ,—были заложены-съ. По причинѣ игры... Думалъ: отыграюсь, выкуплю, пошлю...

У Викторова мелькнула мысль: что сдѣлать.

— Босикомъ-съ на цыпочкахъ въ кухню сходилъ... Плаху принесъ, ведерко съ водой... Клеенку разстелилъ, плаху положилъ и, какъ слѣдуетъ, все приготовилъ. Только какъ покойницу зашевелилъ, страшно сдѣлалось... Какъ это ихъ за плечики взялъ, приподнялъ, голова назадъ откинулась, бытдо живая... Горло это раскрылось, рана-съ, и кровь потекла... Бытдо — какъ въ книжкахъ читалъ,—какъ убійца до убитаго дотронется, у того изъ ранъ кровь потечетъ... Страшно-съ... Бросилъ... Водки выпилъ, — не беретъ...

Еще водки выпилъ, еще... Повеселѣе стало. Поднялъ я ихъ, на полъ тихонько опустилъ.

Викторовъ, говоря объ убитой, говоритъ „онѣ“, „покойница“, съ какимъ-то почтеніемъ, въ которомъ сквозитъ страхъ передъ „ней“: „она“ и до сихъ поръ ему снится. Сосѣди по нарамъ жалуются, что Викторовъ вдругъ по ночамъ вскакиваетъ и „оретъ благимъ матомъ“:

— Бѣлый весь, трясется... Все „его-то“ приставляется!

— Положилъ покойницу на плашку и началъ имъ руки, ноги обрѣзывать косаремъ... Косарь острый. Мясо-то рѣжу, а до кости дойдетъ,—ударю потихоньку, чтобъ хряскъ не больно слышно было... Въ другомъ концѣ коридора все же жильцы жили...

Странная игра случая: жильцами Викторова были нѣкіе Г., отецъ и сынъ, служившіе... сыщиками въ московской сыскной полиціи.

— Чтобъ хряску не было,—все по суставчикамъ, по суставчикамъ... Косарь иступился,—ножницами жилы перерѣзалъ... Щеки имъ вырѣзалъ, чтобъ узнать нельзя было...

— Пилъ водку въ это время?

— Куда жъ! Ручищи всѣ въ крови. Да и не до того было. Только одна мысль въ головѣ была: „Потише! Потише!“ Такъ и казалось, что вотъ-вотъ сзади подходятъ и за плечи берутъ... Даже руки чувствовалъ... Духъ замретъ... Стою на колѣнкахъ, чувствую, за плечи держатъ, а глаза поднять боюсь,—зеркало насупротивъ было,—взглянуть... И назадъ повернуться страшно... Отдыхаешься, въ зеркало взглянешь,—никого сзади... И дальше... Изъ бѣлья тоже мѣточки вырѣзалъ... Къ утру кончилъ... Все въ корзину поклалъ, камфарой густо-густо пересыпалъ, клеенкой увернулъ, туда же и плашку положилъ, косарь въ ведеркѣ вымылъ, гдѣ съ клеенки на полъ кровь протекла, замылъ, и воду изъ ведерка въ раковину пошелъ, вылилъ. Прихожу назадъ,—ничего, только камфарой шибко пахнетъ.

— Однажды, когда Викторову, во время разговора, сдѣлалось „нехорошо“,—я далъ ему понюхать первый попавшійся пузыречекъ спирта, изъ стоявшихъ на окнѣ въ конторѣ и назначенныхъ для раздачи арестантамъ.

У Викторова сразу „прошло“. Онъ вскочилъ, затрясся, сталъ бѣлымъ, какъ полотно, протянулъ дрожащія руки, отстраняя отъ себя пузырекъ.

— Не надо... Не надо...

— Что такое? Что случилось?

— Ничего... ничего... Не надоть-съ...

Спиртъ, совершенно случайно, оказался камфарный. Я поспѣшилъ закрыть пузырекъ.

— Не могу я этого запаху переносить! — виновато улыбаясь, говорилъ Викторовъ, а у самого губы бѣлыя, и зубъ на зубъ не попадетъ.

Такъ врѣзалась ему въ памяти эта камфара.

— Вытащилъ я корзину въ сосѣднюю комнату, прибралъ все, и схватилъ меня страхъ сызнова.

Двѣ ночи не могъ спать Викторовъ, пилъ „для храбрости“,— выпилъ „побольше полведра водки“.

— Выпью, захмелѣю и ѣмъ... Ѣлъ съ апекитомъ, потому много пилъ... А протрезвѣю,—страшно... И выйти боюсь,—сейчасъ вотъ, думаю, какъ уйду, такъ безъ меня придутъ и откроютъ... И дома сидѣть жутко... Сижу, а мнѣ кажется, что въ сосѣдней комнатѣ кто-то вздыхаетъ... Подойду къ двери... Въ комнату-то страшно войти, чтобъ не привидѣлось что... Послушаю у двери, — тихо... Опять сяду водку пить... Опять вздыхаетъ... Страхъ такой бралъ!..

2-го іюля онъ, наконецъ, рѣшился выйти. Нанялъ ломовика, привелъ и съ нимъ вмѣстѣ вынесъ корзину изъ квартиры.

— Корзина ничего... только камфарой шибко пахло... Какъ выходилъ, всѣ окна открылъ, чтобы провѣтрило...

Какъ происходила отправка, Викторовъ, послѣ трехъ безсонныхъ ночей, убійства и полведра выпитой водки, — помнитъ какъ сквозь сонъ.

— Помню, четыре раза съ ломовикомъ въ трактиры заходили... Все по бутылкѣ водки выпивали, такъ что онъ, въ концѣ-концовъ, хмельный сталъ, а я хоть бы что... Иду за ломовымъ, только ноги у меня подламываются... Вотъ-вотъ на мостовую сяду. Пріѣхали на Смоленскій вокзалъ... „Вотъ сейчасъ, — думаю, — открыть корзину велятъ“... Зубъ на зубъ не попадаетъ... „Что такое?“ — „Мѣховыя вещи“...—говорю. „Напишите, — говорятъ, — кому и отъ кого отправляете!“ Чуть-чуть „Викторовъ“ не подмахнулъ. Да опомнился. Фамилью, думаю, надо выдумать. И хоть бы что! Лѣзетъ въ голову одна фамилія „Викторовъ“. „Скорѣе! — говорятъ. — Чего жъ вы?“ Тутъ у меня Васильевъ съ Владимировымъ въ головѣ завертѣлись, я и подмахнулъ... Получилъ накладную, хожу, все чудится, вотъ-вотъ сзади крикнутъ: „Стой“. Вышелъ на площадь, голова закружилась, къ фонарному столбу прислонился, всей грудью вздохнулъ: чисто тяжесть съ плечъ свалилась. Иду по улицѣ, ногъ подъ собой не чувствую, радуюсь. Пришелъ домой, въ сосѣднюю комнату загля-

нулъ,—быдто не здѣсь ли! Самъ надъ собой усмѣхнулся за этакое малодушество. И завалился спать... И хоть бы мнѣ что!

На слѣдующій день, 3 іюля, Викторовъ „честь-честью" сходилъ на квартиру къ „покойницѣ", сказалъ, что она неожиданно въ деревню уѣхала,—вѣсть получила, мать при смерти,—забралъ ея вещи, снесъ и заложилъ въ ломбардѣ:

— Не пропадать же имъ, на игру надоть было.

И началась жизнь „спокойная":

— Афишка. По трактирамъ бѣгаю, совѣтуюсь, на пробные галопы гоняю. Играю. Гдѣ бы денегъ промыслить,—думаю... Ихнія-то деньги сразу продулъ... Лошади у меня въ головѣ. Самъ часомъ диву даешься: словно ничего и не было. Быдто сонъ. Самъ въ другой разъ себя спрашиваешь, не сонъ ли былъ? Только камфарой въ комнатахъ еще попахиваетъ, какъ окна ни растворяешь. Но меня это мало безпокоило. Лошади и лошади, — такъ игра скрутилась, что либо панъ, либо пропалъ. Большіе призы кончились. Первый классъ ушелъ. Скачутъ все лошади фуксовыя. Выдачи огромадныя. Тутъ въ лошадяхъ не разберешься, когда о другомъ думать?

Какъ вдругъ однажды, развернувъ газету, чтобъ прочесть про скачки, Викторовъ прочелъ:

— „Страшная находка въ Брестъ-Литовскѣ".

— И поплыло, и поплыло все передъ глазами. Буквы прыгаютъ. Въ комнатѣ-то рядомъ охаетъ кто-то, стонетъ. Камфарный запахъ по носу рѣжетъ. По коридору идетъ кто-то. Мысли кругомъ. Что жъ это, думаю, я надѣлалъ? Страхъ меня взялъ и ужасъ... Жду, не дождусь, когда жильцы изъ сыскного съ занятіевъ вернутся... Пришли, самъ что было, духу собралъ, къ нимъ пошелъ, водочкой угостилъ, спрашиваю: „Ничего не слыхать про трупъ-то, изрубленный въ Брестъ-Литовскомъ? Нынче въ газетахъ читалъ. Экій страхъ-то какой! Какія нынче дѣла творятся". „Нѣтъ, — говоритъ, — ничего не слыхать, кто убилъ". У меня отъ сердца и отлегло. „Но только, — говорятъ, — самъ Эффенбахъ за дѣло взялся. Отъ начальства ему приказъ вышелъ, чтобъ безпремѣнно отыскать. Навѣрное, отыщутъ". Такъ они у меня отъ этихъ словъ въ глазахъ и запрыгали.

Тутъ ужъ началась „жизнь безпокойная".

— Куда дѣваться — не знаю. Куда ни пойду — покойница. Останешься ночью дома, заведешь глаза, входитъ... Головку запрокинетъ такъ, горло раскроется, кровь бѣжитъ. Сталъ по публичнымъ домамъ ночевать ходить, — и тамъ приставляется. Пью и играю. Безперечь пью. И ежели бы не скачки,—ума бы рѣшился.

Врядъ ли когда-нибудь гг. спортсмэнамъ снилось, чтобы тотализаторъ сыгралъ такую роль.

— Закрутилъ игру такъ,—на всѣ. Кручусь, кручусь,—и покуда скачки, — ничего, отлегаетъ, ни о чемъ не думаешь. А кончились скачки,—пить. Пью и не пьянѣю. И все мнѣ онѣ. Все онѣ. Побѣгъ въ церкву, отслужилъ панихиду, — перестала день, два являться. Потомъ опять, — я опять по нимъ панихиду. Панихидъ 4—5 справилъ,—все по разнымъ церквамъ. Отслужишь, полегчаетъ, потомъ опять приставляется.

Какъ назло, жильцы только и говорили, что о „загадочномъ убійствѣ“.

„Загадочное убійство“ волновало всю Москву. Сыскная полиція сбилась съ ногъ отъ розысковъ и, возвращаясь домой, агенты только объ этомъ дѣлѣ и говорили:

— Все еще не разыскали. Словно въ воду канулъ. Но ничего,— разыщемъ! Непремѣнно разыщемъ!

— Чувствую: съ ума схожу. Мечусь! По публичнымъ домамъ ночую, утромъ на галопы. Скачки. Со скачекъ въ церкву бѣгу панихиду служить. По трактирамъ пью. Вечеромъ домой на минутку бѣгу, узнать: какъ? что?!. Мечусь... Вхожу къ нимъ, словно жду,— вотъ-вотъ смертный приговоръ услышу. „Что?“ спрашиваю, а самъ глянуть боюсь. А какъ скажутъ „ничего“, — ногъ подъ собой не чувствую. Сколько разовъ послѣ этого къ себѣ въ комнату побѣжишь, хохотать что-то начнешь, удержу нѣтъ. Въ подушку уткнешься, чтобъ не слышно было, „ничего!“—въ подушку кричишь. Самъ-то хохочешь, а въ нутрѣ-то страшно. И вдругъ „онѣ“ представляются... Опять пить, опять изъ дому бѣгать, опять панихиды служить. Мечусь.

Метанье кончилось тѣмъ, что однажды, на скачкахъ, къ Викторову подошли:

— Васъ вызываютъ въ сыскную полицію.

— У меня руки-ноги отнялись... „Да нѣтъ, — думаю, — не за этимъ“. Много у меня разныхъ дѣловъ накопилось: потому за это время,—говорю,—закрутилъ игру во-всю,—у родныхъ всѣ вещи на игру перетаскалъ. Привезли меня въ сыскную. Въ комнату вводятъ. Полутемная такая комната. Народу много было, спиной къ окнамъ стояли, свѣтъ застили. Столъ, сначала я не разобралъ, что въ немъ такое! А какъ меня подвели, — я и крикнулъ... Корзинка, бѣлье, клеенка, плашка... Остолбенѣлъ я, кричу только: „Не подводите! Не подводите!“ А Эффенбахъ меня въ спину подталкиваетъ: „Идите,— говоритъ,—идите, не бойтесь. Это изъ Брестъ-Литовска“.—„Не подводите!—ору.—Во всемъ сознаюсь, только не подводите“...

Сидя въ сыскномъ отдѣленіи, Викторовъ давился на отдушникѣ при помощи рубашки.

— Онѣ измучили... Покойница... Завяжу глаза,—здѣсь онѣ, со мной сидятъ... „Вотъ,—говорятъ,—Коля, гдѣ мы съ тобой". Не выдержалъ. Да и смерти ждать страшно было.

Какъ и очень многіе, Викторовъ ждалъ „безпремѣнно веревки".

— Ужъ я вамъ говорю. Вы на судѣ не были? Меня прокуроръ обвинялъ, г. Хрулевъ...

— А защищалъ кто?

— Не помню. Не интересовался. Безъ надобности. А обвинялъ Хрулевъ по фамиліи. Такъ вотъ посередкѣ столъ стоялъ, на немъ бѣльецо ихнее, скомканное, слиплое, черное стало, клееночка. А около корзинка та самая стояла... Какъ эти вещи-то внесли, я чувства лишился. Страшно стало. На судѣ-то я сдрейфилъ, что самъ говорилъ, что кругомъ говорили, — не сознавалъ. А только вотъ это-то помню, что г. Хрулевъ на корзинку показывали, — требовали, чтобы и со мной то же сдѣлать. На части, стало-быть, разрубить!

Большинство этихъ „знаменитыхъ убійцъ" увѣрено, что имъ „веревки не миновать за убійство".

— За этимъ-съ и покойницу на части рубилъ и отсылалъ,— веревки боялся.

И большинству на судѣ, среди страха и ужаса, кажется, что прокуроръ требуетъ смертной казни.

— Когда вышелъ приговоръ въ каторгу,—ушамъ не повѣрилъ,— говоритъ, какъ и очень многіе, Викторовъ.

Въ каторгѣ онъ жалуется на слабость здоровья:

— Пища плохая, и главная причина, — ночи безсонныя! Думаю все.

— О чемъ же?

— О прошломъ. Господи, глупо какъ все было! Если бы вернуть!.. Ну, и спать тоже иногда боязно... Когда ихъ душа тамъ мучается... Грѣшница вѣдь была, блудная-съ... Когда ихней душѣ тамъ невмоготу...

— Что же? Является?

— Приходятъ.

И весь съежившись, вздрагивая, этотъ жалкій, тщедушный, весь высохшій человѣкъ, понизивъ голосъ, говоритъ:

— Главная причина—денегъ нѣтъ... Панихидки по нихъ отслужить не могу... Чтобъ успокоились.

Спеціалистъ.

Лѣтъ десять тому назадъ въ Одессѣ было совершено „громкое“ преступленіе.

Старикъ-банкиръ Лившицъ былъ найденъ задушеннымъ въ постели. Ничего украдено не было. Стоявшая въ сосѣдней комнатѣ несгораемая касса съ деньгами оказалась нетронутой. Въ кухнѣ лежала связанная по рукамъ и ногамъ, съ завязаннымъ ртомъ, задыхавшаяся кухарка Лея Каминкеръ.

Она разсказала, что ночью въ квартиру ворвались какіе-то люди въ маскахъ, пригрозили ее убить, если будетъ кричать, связали, бросили и пошли въ комнаты. Что тамъ происходило, — она не знаетъ.

Начались розыски, про которые потомъ на судѣ разсказывались ужасы. Одинъ изъ взятыхъ по подозрѣнію даже повѣсился въ участкѣ.

Послѣ очень долгихъ, тщетныхъ, ошибочныхъ поисковъ, наконецъ, удалось открыть, что на банкира Лившица „охотилась“ цѣлая шайка. Нѣкто Томилинъ, многократный убійца, отчаянный головорѣзъ, отстрѣливавшійся отъ вооруженной погони. Его любовница Лункеръ, воровка по профессіи. Бродяга-громила Львовъ. Какая-то вдова, занимавшаяся покупкой краденаго. Въ шайкѣ участвовала и кухарка Каминкеръ, открывшая убійцамъ дверь и затѣмъ, по уговору, разыгравшая комедію, будто ее связали.

Страннымъ представлялось только, почему убійцы не тронули кассы.

Они объяснили это тѣмъ, что приглашенный въ компанію „спеціалистъ по взлому кассъ“ Павлопуло испугался во время убійства и убѣжалъ.

Принялись отыскивать Павлопуло.

Оказалось, что онъ съ тѣхъ поръ совершилъ еще одно преступленіе.

Павлопуло попался при ограбленіи казначейства гдѣ-то въ Крыму. Забравшись съ вечера въ казначейство, онъ за ночь взломалъ кассы, набилъ карманы деньгами и ждалъ, чтобъ его сообщники открыли двери казначейства. Услыхавъ, что двери открываютъ, Павлопуло съ набитыми деньгами карманами, подошелъ. Двери открылись, — передъ Павлопуло была полиція.

— Одинъ изъ моихъ помощниковъ, подлецъ, продалъ! — со вздохомъ говоритъ Павлопуло.

Его судили, осудили, и онъ шелъ уже по дорогѣ въ Сибирь.

— Въ это время меня эти негодяи, которые Лившица, — царство ему небесное, — убили, и выдали! Всю карьеру мою перепортили.

— Какую же карьеру?

— У меня ужъ „смѣнщикъ“ готовъ былъ. Все налажено. Какъ только приду на мѣсто, сейчасъ же уйду, за границу бы, и занимался бы и сейчасъ своей настоящей спеціальностью!

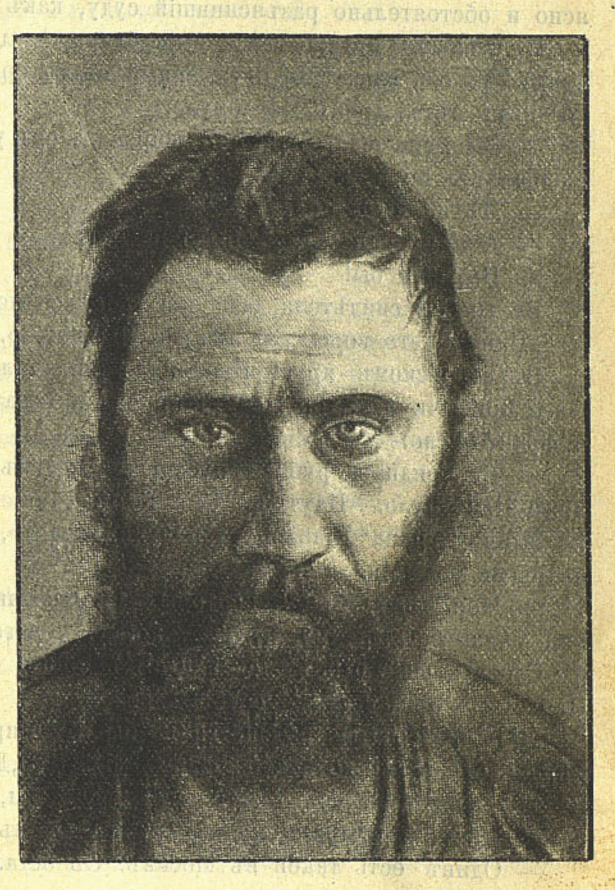
— Именно?

— Кассы бы открывалъ!

И Павлопуло говоритъ это съ такимъ вздохомъ. У него сильный греческій акцентъ. Онъ говоритъ, собственно:

— Кассіи открывали би!

И въ словѣ „кассіи“ у него звучитъ даже нѣжность. Словно имя любимой женщины.



Арестантскіе типы. Осужденный за убійство.

Павлопуло былъ возвращенъ съ дороги, препровожденъ въ Одессу, — и вотъ передъ судомъ предстали: Каминкеръ, все время плакавшая, дрожавшая, тщедушная, пожилая еврейка; Львовъ, здоровѣйшій верзила, съ апатичнымъ взглядомъ, все время разсматривавшій потолокъ, стѣну, публику, судей, не обращавшій ни малѣйшаго вниманія на то, что происходитъ, словно не его дѣло касалось! Все время безъ-удержу рыдавшая и кричавшая: „я не виновата! я не виновата!“ — вдова, покупательница завѣдомо краде-

наго, оглохшая въ тюрьмѣ, ходившая на костыляхъ, когда-то, должно-быть, очень красивая, молодая еще, еврейка Луцкеръ, объявившая суду:

— Прошу не сажать меня около Томилина, — онъ меня убьетъ.

Въ кандалахъ Томилинъ, успѣвшій ужъ за это время много разъ судиться, осужденный въ каторгу, спокойный, очень кратко, но ясно и обстоятельно разъяснившій суду, какъ было дѣло.

И страшно интересовавшій публику, судей, присяжныхъ, въ кандалахъ же, какъ уже осужденный въ каторгу, живой, подвижной, среднихъ лѣтъ, грекъ Павлопуло.

— Вы меня знали раньше?—спросилъ онъ у свидѣтеля-пристава, спеціалиста по розыскамъ.

— Нѣтъ, не встрѣчалъ.

— А имя „пана“ вамъ было извѣстно?

— Ну, еще бы!

Въ голосѣ свидѣтеля даже послышалась почтительность.

„Панъ“—это воровская кличка Павлопуло.

Въ воровскомъ кругѣ Павлопуло получилъ кличку „пана“ за свою привычку къ „хорошей“, широкой и богатой жизни. За кутежи и франтовство.

— По тридцати рублей рубашечку носилъ!—вздыхалъ на Сахалинѣ Павлопуло.—Паутина-съ, а не полотно!

Кличку „пана“ Павлопуло получилъ за то, что онъ шелъ только на очень большія, крупныя дѣла.

— Мое дѣло—банки, конторы. Изъ частныхъ лицъ—развѣ кто ужъ очень богатъ,—ну, къ нему пойду, у него попрактикую!

Словно снисходилъ до частныхъ лицъ! „Мелкой практикой“ Павлопуло не занимался совсѣмъ.

„Паномъ“ его звали еще за необычайно презрительное, высокомѣрное отношеніе ко всей воровской братіи. „Достойными уваженія“ и его общества, изъ людей его профессіи, Павлопуло считалъ только трехъ—четырехъ, „такихъ, какъ и онъ“:

— Одинъ есть такой въ Москвѣ. Съ остальными я встрѣчался за границей.

Имя „пана“ гремѣло не только въ Россіи. Онъ былъ извѣстенъ въ Румыніи, Турціи, Греціи, Египтѣ.

— Вообще на Востокѣ!—пояснилъ „панъ“ присяжнымъ.

Когда полицейскіе разсказали суду все это про „пана-Павлопуло“, Павлопуло поднялся съ мѣста и, звякнувъ кандалами, ткнулъ пальцемъ въ грудь.

— Панъ—это я!

Старые судейскіе потомъ говорили, что болѣе оригинальнаго подсудимаго не видывалъ судъ.

Павлопуло обратился къ свидѣтелю, сыну покойнаго Лившица.

— Скажите, пожалуйста, вы знаете кассу вашего покойнаго батюшки?

— Да. Она у меня и до сихъ поръ.

— Она такой-то формы? Марка такая-то?

— Да.

— Замокъ съ такимъ-то секретомъ? Отпирается такъ-то и такъ-то?

Павлопуло разсказалъ мельчайшія подробности всѣхъ секретовъ кассы.

— Да. Да. Да.

— Скажите, для того, чтобъ касса открылась безъ звона, что надо сдѣлать?

— Право... не знаю...

— Припомните хорошенько. Тамъ есть съ такого-то бока такая-то кнопка. Если вы ее прижмете, касса откроется безъ звона.

— Съ такого-то бока, вы говорите?

— Да, да, вы не торопитесь. Вы припомните. Тамъ должна быть такая-то кнопка.

— Да! Совершенно вѣрно! Есть такая кнопка, и, если ее прижать, касса, дѣйствительно, отпирается безъ звона!—припомнилъ свидѣтель.

— Вы видите!—обратился Павлопуло къ суду.—Я лучше знаю его кассу, чѣмъ онъ самъ!

Павлопуло отрицалъ всякое свое участіе даже въ умыслѣ на убійство.

— Неужели я на такую глупость способенъ?!—восклицалъ онъ горячо и убѣдительно.—Зачѣмъ мнѣ? У меня, слава Богу, есть своя спеціальность!

Такъ и сказалъ: „слава Богу“. И такъ часто и съ такимъ увлеченіемъ упоминалъ про „спеціальность“, что предсѣдатель, наконецъ, спросилъ:

— Про какую это вы все „спеціальность“ толкуете?

— Кассіи открывати!

— А!

— Я за свою спеціальность даже кандалы ношу!—съ гордостью говорилъ Павлопуло, словно и ни вѣсть какой знакъ отличія получилъ.—Я за свою спеціальность, вы слышали, за границей извѣстенъ. Я за свою спеціальность Сибирь получилъ!

— Я, господа присяжные, такой же, какъ они, воръ. Но другой спеціальности! — пояснилъ онъ присяжнымъ. — Мы раздѣляемся на разныя спеціальности. У кого какая, тотъ той и держится. Карманникъ—онъ карманникъ, и по параднымъ дверямъ шубы красть,— это ужъ не его дѣло. На это есть „парадники". Парадникъ опять-таки въ поѣздахъ пассажировъ обкрадывать не пойдетъ. Онъ этого дѣла не знаетъ! На это есть „поѣздошники". На все свои спеціальности. Я спеціалистъ по открытію кассъ.

— Мнѣ убивать итти! Мнѣ! — всплескивалъ онъ руками, и на лицѣ его выражалось даже сожалѣніе къ людямъ, способнымъ вообразить себѣ такую нелѣпицу.—Да зачѣмъ мнѣ? Да я, случалось, открывалъ кассы, когда хозяинъ тутъ же по сосѣдству въ комнатахъ сидѣлъ,—и никто ничего не слышалъ.

Павлопуло никогда не говоритъ „ломать" кассу, всегда мягко: „открывать". „Ломати кассіи глупо, кассіи открывати нузино!"— по его словамъ.

— Я бы кассу и открылъ, и деньги взялъ, и ушелъ,—Лившицъ бы и не проснулся! И вдругъ я буду итти на убійство!..

— Ну, однако! — прервалъ его разглагольствованіе предсѣдатель.—Вѣдь вы сами же говорите, что при васъ револьверъ былъ.

— И не только револьверъ, но еще и кинжалъ, но еще и кастетъ!—горячо воскликнулъ Павлопуло. — Да вѣдь вы посудите, въ какую компанію я шелъ! Что это за публика? Вы посмотрите только на ихъ физіономіи! Хороши?

Томилинъ при этихъ словахъ оглянулся и только презрительно посмотрѣлъ на Павлопуло своими сѣрыми, холодными, спокойными глазами.

— Вѣдь эта „публика" за пятачокъ человѣка зарѣзать готова!— горячо продолжалъ Павлопуло.— Вѣдь это негодяи! А при мнѣ были и часы, и перстни, и портсигаръ золотой. Долженъ же былъ я съ собой для нихъ оружіе захватить. Вѣдь они меня при дѣлежѣ могли убить!

Въ дѣйствительности, убійство Лившица произошло такъ:

Убійства не затѣвалось. Затѣвали только грабежъ. Душой предпріятія была вдова-ювелирша, покупательница краденаго. Отъ своей знакомой Каминкеръ она слыхала, что у „хозяина" всѣ деньги хранятся дома, и „свела" ее со своими знакомыми, неоднократно продававшими ей краденое, громилами Томилинымъ и Львовымъ. Но какъ открыть кассу? Самимъ сломать, не зная, какъ это дѣлается,—весь домъ на ноги поднимешь. Компанія воспользовалась прибытіемъ въ Одессу „по дѣламъ" знаменитаго „спеціалиста" „пана" и предложила ему принять участіе.

„Панъ“ пошелъ на „хорошее дѣло“ съ обычной осторожностью. Приказалъ Каминкеръ сломать замокъ у двери и, въ качествѣ слесаря, позвать его. Явившись, подъ видомъ слесаря, въ домъ, осмотрѣлъ расположеніе комнатъ, мелькомъ взглянулъ на кассу:

— Мнѣ на кассу достаточно разъ взглянуть, чтобы понять ее. Касса, я сразу увидѣлъ, была нетрудная. У меня въ практикѣ бывали такія.

Павлопуло объявилъ компаніи:

— Дѣло легкое!

Но предупредилъ:

— Только помните, чтобы безъ глупостей. На глупость я не пойду. Да и не къ чему. Лившицъ и не услышитъ, какъ я открою кассу.

Это мнѣ и Томилинъ на Сахалинѣ говорилъ:

— Такой уговоръ, дѣйствительно, былъ. Недотрога, вѣдь, бѣлоручка „панъ“,—одно слово. Мразь!

Вечеромъ, въ назначенный день, Каминкеръ отперла дверь на черную лѣстницу, и въ кухню вошли Львовъ, Томилинъ, Луцкеръ въ мужскомъ платьѣ,—Томилинъ не отпускалъ Луцкеръ отъ себя ни на шагъ,—и Павлопуло „съ необходимыми инструментами“.

Лившицъ еще не спалъ. Компанія осталась ждать въ кухнѣ. Пили водку „для храбрости“—всѣ, кромѣ Павлопуло. Онъ боялся, чтобъ его не опоили.

Злой, жестокій, необузданный Томилинъ пьянѣлъ, ожиданіе раздражало его, и Павлопуло началъ безпокоиться и предупреждалъ:

— Такъ помните, чтобъ безъ глупостей!

— Ладно! Сказано! Молчи ужъ!

Каминкеръ сходила, послушала:

— Кажется, заснулъ. Тихо.

Ее, какъ было условлено, связали, завязали ей ротъ, положили въ постель и пошли.

Павлопуло долженъ былъ вскрывать кассу. Львовъ, Томилинъ, Луцкеръ — стоять насторожѣ. Если Лившицъ проснется, кинуться, связать, завязать ротъ,—но и только.

Тихонько вошли они въ комнату, гдѣ стояла касса. Въ сосѣдней комнатѣ, въ спальнѣ Лившица, былъ свѣтъ.

Старикъ лежалъ въ постели и читалъ книгу.

Грабители притаились.

Такъ прошло нѣсколько минутъ. Луцкеръ, Томилинъ, Львовъ, Павлопуло стояли, не смѣя дышать. А старикъ преспокойно читалъ.

— Словно нѣсколько часовъ прошло! Дышать было трудно, — говоритъ Павлопуло.

Какъ вдругъ Томилинъ не выдержалъ. Кинулся въ спальню, за нимъ кинулся Львовъ.

У Павлопуло подкосились ноги.

Старикъ только поднялъ голову, не успѣлъ даже вскрикнуть. Томилинъ накинулъ веревку. Львовъ схватился за другой конецъ. Дернули. Хрипѣніе. Старикъ былъ мертвъ.

Когда Томилинъ повернулся къ Павлопуло:

— Такого лица я еще никогда не видывалъ!—говоритъ панъ.

Онъ кинулся къ двери.

Львовъ загородилъ было ему дорогу.

— А касса?

Павлопуло выхватилъ револьверъ:

— Башку вдребезги!

Верзила отшатнулся, и Павлопуло „былъ таковъ“.

— Мы всѣ тогда испугались!—говоритъ Львовъ.

Томилинъ былъ страшенъ. Онъ „вошелъ въ сердце“. Придя въ кухню, сѣлъ на связанную Каминкеръ и, когда та заворочалась, далъ ей такого тумака по головѣ, что она потеряла сознаніе.

Луцкеръ и Львовъ дрожали:

— Думали, всѣхъ убьетъ!

Томилинъ кричалъ, „рычалъ, какъ звѣрь“, сквернословилъ, ругался, пилъ водку.

Луцкеръ на колѣняхъ молила:

— Да успокойся ты! Успокойся!

Насилу „отдышался“.

Такъ происходило убійство.

— Въ этакую глупость впутался! Съ такими мерзавцами связался! — билъ себя по головѣ, какъ-то въ разговорѣ на Сахалинѣ, Павлопуло, и въ словахъ его звучало отчаяніе неподдѣльное. — А? Въ убійство попалъ. Въ убійство, когда я имѣю свою спеціальность!

Присяжные не дали вѣры Павлопуло, онъ былъ осужденъ за убійство съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ, наравнѣ съ Томилинымъ и Львовымъ.

Павлопуло только пожалъ плечами и поблагодарилъ своего защитника по назначенію, теперь уже покойнаго присяжнаго повѣреннаго Ваховича:

— Благодарю васъ за защиту. А что меня осудили, вина не ваша! Не поняли насъ съ вами гг. присяжные засѣдатели!

Таковъ „панъ“.

Павлопуло былъ не уловимъ для меня на Сахалинѣ. Придешь въ Александровскую „вольную“ тюрьму:

— Здѣсь Павлопуло?

— На работѣ. На паровой мельницѣ.

Идешь туда.

— Ушелъ Павлопуло.

Отыскивалъ его утромъ, вечеромъ—никакъ не могъ увидѣть.

Однажды я бродилъ по тюрьмѣ, какъ вдругъ на меня бро сился,—буквально, бросился,—какой-то кавказецъ, сосланный за многократныя убійства: родовая месть. Онъ на что-то жаловался, подавалъ прошеніе, не получилъ отвѣта, и теперь требовалъ его отъ меня.

— Атвэчай!

Я напрасно убѣждалъ его, что я не начальство. Кавказецъ ничего знать не хотѣлъ:

— Какъ нэ начальство? Зачэмъ нэ начальство? Драть всэ начальство, жалоба правая разбирать,—нэтъ начальства?!

Глаза горятъ:

— Атвэтъ давай! Два гуда ждэмъ. Булше ждать не жэлаемъ.

Вдругъ чья-то сильная рука отстранила кавказца.

— А вотъ постой, я съ нимъ поговорю по-своему.

Передо мной стоялъ, руки въ боки, здоровенный молодой каторжанинъ, кожаный картузъ набекрень, рубаха-косоворотка съ „кованымъ“, вышитымъ воротникомъ. Халатъ едва держится, накинутъ на одно плечо. Видъ типичнаго „Ивана“. Это былъ тюремная знаменитость А. „Иванъ“, не „спускавшій“ самому Патрину [1]).

— А п-позвольте у васъ узнать, кто же такой вы будете, ежели вы не начальство?

— А тебѣ какое дѣло? Вѣдь я тебя не спрашиваю, кто ты такой!

— Нѣтъ-съ, позвольте-съ!

А. съ вызывающимъ видомъ загородилъ мнѣ дорогу.

— Ежели вы, какъ вы изволите говорить, не начальство, на какомъ же такомъ основаніи вы тюрьму осматриваете? А?

Кругомъ стояла толпа. Ждали, „чѣмъ кончится“.

Положеніе было критическое. Пригрозить начальствомъ, жалобой, — избави Богъ — это значило бы лишиться всѣхъ симпатій

---

[1]) Патринъ, смотритель тюрьмы, былъ въ то время ужасомъ всей каторги.

арестантовъ. Уступить — сконфузить себя, уронить въ глазахъ тюрьмы. Унизить его чѣмъ-нибудь, избави Богъ, вѣдь сколько розогъ принялъ этотъ человѣкъ, чтобы добиться славы „Ивана". И вдругъ, чтобы все это пустить на смарку, уничтожить его обаяніе въ глазахъ тюрьмы. Надо было найти какой-нибудь выходъ. Выйти такъ, чтобы и онъ и я разошлись, не уронивъ своего достоинства.

Мнѣ пришло въ голову гаркнуть на него во всю глотку:

— Молчать! Шапку долой! Ты какъ смѣешь такъ со мной разговаривать? А? Что я тебѣ начальство, что ли, что ты смѣешь въ шапкѣ передо мной стоять, да мнѣ грубить? Начальство я тебѣ? [1]).

Все кругомъ заревѣло отъ хохота.

„Иванъ",—послѣ онъ мнѣ самъ говорилъ,—„началъ-то съ бреха, а потомъ вижу, глупость дѣлаю", сначала опѣшилъ, потомъ самъ обрадовался тому выходу, захохоталъ, снявъ шапку:

— А ежели не начальство, наше вамъ почтеніе! Милости просимъ! Ежели не начальство, виноватъ!

Всѣ были довольны такимъ мирнымъ исходомъ, смѣялись, и среди смѣющихся лицъ мнѣ показались знакомыми сжавшіеся отъ смѣха въ щелочки, черные, какъ маслины, живые, огнемъ горѣвшіе глаза.

— Какъ фамилія?

— Павлопуло.

— А! Знаменитый „панъ!" А я вѣдь тебѣ привезъ поклонъ отъ твоего защитника, г. Ваховича!

Покойный Ваховичъ, дѣйствительно, просилъ меня передъ моей поѣздкой, увижу, кланяться его оригинальному кліэнту.

Павлопуло засіялъ отъ счастья. Теперь уже глаза всѣхъ почтительно были обращены на него: знаменитость, которую проѣзжіе люди по Россіи помнятъ!

— Ахъ, какъ вы меня этимъ поддержали! Вы себѣ этого и представить не можете!—говорилъ мнѣ потомъ Павлопуло.—На сто процентовъ ко мнѣ уваженіе поднялось!

Съ этого и пошла наша дружба. Когда я приходилъ въ „вольную" Александровскую тюрьму, меня всегда сопровождали двое,—Павлопуло, который разъяснялъ, что при мнѣ нечего опасаться пить водку, играть въ карты и т. п., и А., который считалъ своимъ долгомъ меня охранять:

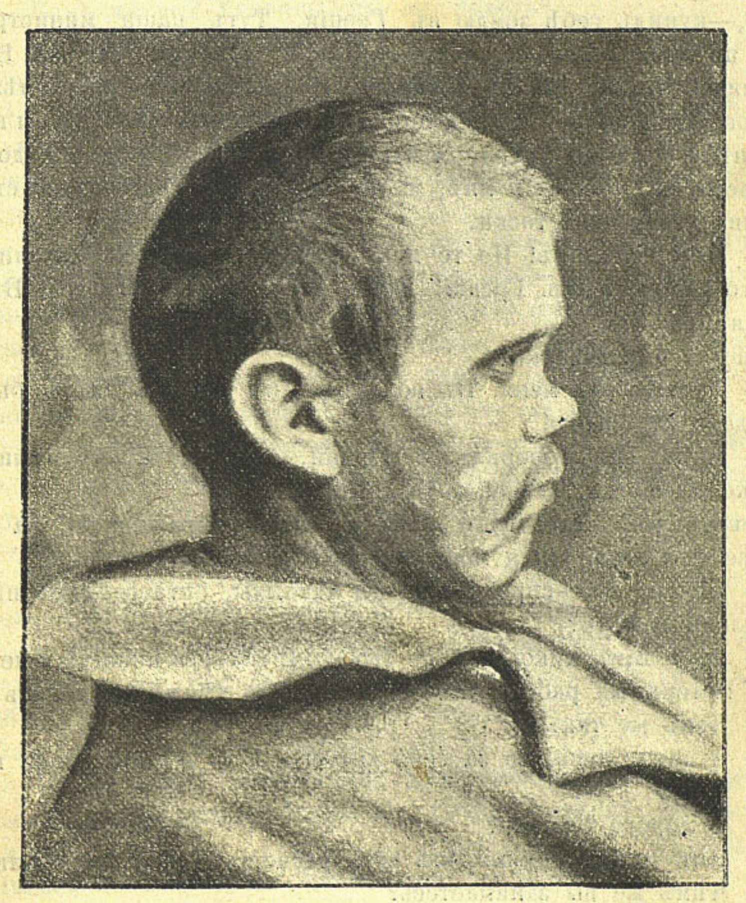
— Мало ли какой дуракъ можетъ вамъ скандалъ сдѣлать? Вѣдь народъ тутъ тоже. Одно слово — арестантъ.

---

1) „Иванъ" долженъ быть дерзокъ только съ начальствомъ.

На Сахалинѣ служащіе получаютъ въ складчину телеграммы „Россійскаго Агентства“, которыя печатаются въ мѣстной типографіи. Я бралъ оттискъ, и Павлопуло каждый день заходилъ ко мнѣ почитать телеграммы: въ то время шла греко-турецкая война.

Онъ осѣдлывалъ носъ золотымъ пенснэ, которое такъ удивительно шло къ арестантскому „бушлату“, читалъ и покачивалъ головой:



Арестантскіе типы.

— Ца! Ца! Ца! Насихъ бьюти! Бьюти грековъ! Бьюти!

Былъ печаленъ, озабоченъ, приходилъ въ неистовство:

— Министри наси никуда не годятися! Министри! До чего довели! На сто ми тепери воевати моземъ! Все Деліаниси издѣлали!

А однажды объявилъ:

— Изъ-за этого Деліаниса я въ каторгѣ!

— Какъ такъ?!

— Павлопуло моя не настоящая фамилія. Я изъ Аѳинъ. У меня въ Аѳинахъ братъ-адвокатъ есть. Только я, конечно, въ молодости съ пути сбился. А то бы хорошимъ механикомъ былъ. Но только когда въ возрастъ пришелъ, рѣшилъ остепениться. Выждалъ, когда мнѣ по греческимъ дѣламъ давность вышла,—денегъ у меня было много,—купилъ себѣ землю въ Греціи. Тутъ наши министры такую политику повели,—бѣда. Нищіе совсѣмъ стали. Налоги страшные. Земля себя не окупаетъ. Неурожаи. Въ долги влѣзъ. Съ аукціона все пошло. А жить я привыкъ! Пришлось опять кассы вскрывать итти. Вотъ до Сахалина изъ-за министровъ нашихъ и дошелъ!

Часто онъ говорилъ мнѣ, и въ голосѣ его слышалось столько за душу хватающей тоски.

— Что, Сахалинъ! Не то меня мучаетъ, что я на Сахалинѣ. А то, что далеко я отъ Греціи! Тамъ что теперь дѣлается! Бѣдная, бѣдная Греція!

Иногда онъ говорилъ:

— Пустили бы меня. Въ волонтеры бы пошелъ! Хоть бы умереть дали за Грецію!

И когда онъ говорилъ о Греціи, въ голосѣ его слышалось столько нѣжности, любви къ родинѣ.

Теперь уже Павлопуло отбылъ свою сокращенную, за силою манифеста каторгу, и я могу передать этотъ разговоръ.

— Павлопуло,—спросилъ я его однажды,—отчего васъ никогда на мельницѣ нѣтъ?

— Да я тамъ никогда и не бываю. Я каторги никогда и не отбывалъ. Каторжныя работы отбываютъ только тѣ, у кого денегъ нѣтъ.

— Какъ же такъ?

— А такъ, нанимаю за себя другого. Онъ и свой урокъ исполняетъ и мой.

— И дорого платите?

— Пятачокъ въ день. Мнѣ есть расчетъ. Я больше наживаю.

— Чѣмъ же вы занимаетесь?

— Торгую въ тюрьмѣ старьемъ, деньги въ ростъ даю.

— И помногу процентовъ берете?

— Да игрокамъ даю, какъ у насъ водится, „до пѣтуховъ", на однѣ сутки. Сто процентовъ въ сутки! Процентъ хорошій!—улыбнулся онъ.

„Панъ" остался аристократомъ и здѣсь: ростовщикъ въ тюрьмѣ лицо почетное и уважаемое. Павлопуло, какъ я въ этомъ убѣдился, какъ паукъ, высасывалъ всю тюрьму.

У него были деньжонки, и деньжонки порядочныя. Какъ и всѣ каторжане, онъ лелѣялъ мечту:

— Богъ дастъ, и не такъ еще поживу! На волѣ буду, опять за свою спеціальность возьмусь!

О „спеціальности“ и о кассахъ, почти какъ о Греціи, онъ говорилъ съ увлеченіемъ, съ теплотой, съ любовью.

— Какъ же вы? Учились, что ли, ломать?

— Вскрывать, а не ломать!

— Ну, вскрывать?

— А какъ же! Въ промежуткахъ, бывало, купишь себѣ несгораемую кассу и на ней практикуешься!

Онъ съ необычайнымъ жаромъ разсказывалъ, какъ это надо дѣлать, чертилъ, рисовалъ.

— Я однажды въ Александріи, въ Египтѣ, три мѣсяца надъ мильнеровской кассой бился, какъ ее вскрыть? Вотъ касса! Ца! Одному невозможно. Втроемъ надо, меньше никакъ нельзя! Пудовъ шестнадцать однихъ инструментовъ принести нужно. Начнешь надъ нею съ непривычки работать, домъ трясется. Только со спинки и можно ее взять. Вы, сколько я васъ вижу, не изъ тѣхъ людей, которые несгораемыя кассы себѣ заводятъ. Но если, дай вамъ Богъ, заведете, заведите себѣ мильнеровскую! — засмѣялся Павлопуло.

— Да! А вы придете и откроете?

— Я? За кого вы меня принимаете? Вотъ что я вамъ скажу: не только я не приду, но если я въ томъ городѣ буду, ни одинъ воръ къ вамъ не придетъ. Они „пана“ уважаютъ. „Панъ“ скажетъ „не тронь“ и не тронутъ. И вы вдругъ про меня такъ думаете. Ай-ай-ай!

Онъ былъ серьезно обиженъ.

— Ну, хорошо, Павлопуло, человѣкъ вы „съ правилами“, образованный, не стыдно вамъ, не грѣхъ у людей ихъ достояніе отнимать!

Павлопуло посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ.

— Да развѣ я когда-нибудь у бѣдныхъ, которые своимъ трудомъ нажили, отнималъ что-нибудь? Я бѣднымъ всегда самъ помогалъ. Я жъ, вы знаете, только богатыхъ.

— Ну, у богатыхъ!

— Такъ какое же это ихъ достояніе? Повѣрьте мнѣ, тысячу своимъ трудомъ нажить можно. А милліонъ не своимъ трудомъ наживается, а чужимъ. Все чужое достояніе. Они чужимъ достояніемъ живутъ и я чужимъ! — разсмѣялся онъ. — Да и къ тому же, у кого

есть деньги въ несгораемой кассѣ, у того есть онѣ и въ другомъ мѣстѣ! Я послѣдняго человѣка не лишаю.

— Послушайте, Павлопуло, вы словно любите вскрывать кассы! — замѣтилъ я ему однажды. — Словно самую эту работу любите?

— Люблю-съ! — спокойно отвѣтилъ онъ. — Всякое дѣло надо любить: только тогда и добьешься искусства!

Такой странный мономанъ.

Когда я уѣзжалъ съ Сахалина, Павлопуло пришелъ проводить меня на пристань. Онъ просилъ меня прислать ему исторію греческой войны на греческомъ языкѣ.

— Вы много путешествуете. Если будете когда въ Греціи, кланяйтесь моей бѣдной, милой, родной сторонѣ отъ ея сына!

И на глазахъ его были слезы.

— Прощайте, Павлопуло.

— До свиданья вамъ! — поправилъ онъ меня, хитро подмигнулъ и улыбнулся.

Людоѣды.

Случаи людоѣдства среди бѣглыхъ каторжныхъ болѣе часты, чѣмъ объ этомъ думаютъ. „Офиціально извѣстны" три людоѣда.

Занимаясь въ архивѣ Рыковской тюрьмы, я натолкнулся на слѣдующій документъ, помѣченный 28 іюля 1892 года:

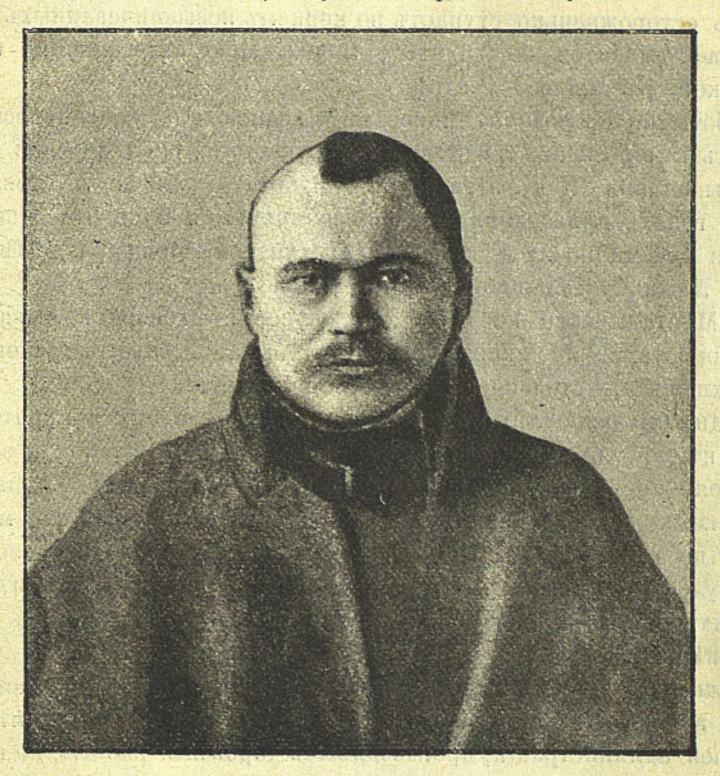
„Его высокоблагородію г. смотрителю Рыковской тюрьмы Тымовскаго округа надзирателя центральной дороги Мурашова.

Рапортъ.

Имѣю честь препроводить вашему высокоблагородію ссыльно-каторжнаго Рыковской тюрьмы Колоскова Павла, который бѣжалъ съ 13 на 14, а донесено 15 сего іюля за № 248. Пойманъ разсыльнымъ вышепоименованной тюрьмы Хрусталемъ 24 сего текущаго мѣсяца на 1-й Хандосѣ; при немъ найдены арестантскія вещи, два котла, въ томъ числѣ мѣшокъ человѣческаго мяса, поджареннаго. Колосковъ Павелъ показалъ, что убилъ сс.-каторжнаго, который вмѣстѣ пошелъ съ нимъ въ просѣки, звать не знаетъ, а физіономію объяснилъ: свѣтло-русый мужчина, выше средняго роста, малороссъ, около 35 лѣтъ, вѣроисповѣданія православнаго. По справкѣ оказывается, что въ эту самую ночь бѣжалъ съ нимъ сс.-каторжный Крикунъ-Калениквъ. Я, Мурашовъ, производилъ осмотръ вещамъ Колоскова, нашелъ халатъ, бѣлье грязное съ покойника, и мясо зажаренное, человѣческое, которое стало разлагаться отъ теплой температуры въ котомкѣ воздуха. Преступленіе совершено на

5 верстѣ отъ Онора, по дорогѣ, ведущей отъ 2-й Хандосы на Оноръ. При такихъ важныхъ обстоятельствахъ преступленія, сс.-каторжнаго Колоскова имѣю честь препроводить къ вашему высокоблагородію на зависящее распоряженіе въ ручныхъ и ножныхъ кандалахъ".

Это происходило на работахъ по проведенію Онорской просѣки. Воспоминаніе объ этой „Онорской дорогѣ" сохранилось въ одной



Ссыльно-каторжный Колосковъ Павелъ, обвиняемый въ людоѣдствѣ.

каторжной пѣснѣ, сложенной „терпигорцами", т.-е. каторжанами, шедшими на Сахалинъ не моремъ, а сухимъ путемъ:

Пока шли мы съ Тюмени,—
Ѣли мы гусей,
А какъ шли мы до Онора,—
Жрали мы людей.

Такъ живетъ въ каторгѣ страшная память объ онорскихъ работахъ.

Кому-то и съ чего-то пришла въ голову героическая, но совершенно нелѣпая мысль прорѣзать просѣкой Сахалинъ вдоль южнаго поста Корсаковскаго. Просѣку пришлось вести черезъ тундру, поросшую тайгой. Что это за просѣка, можете судить по тому, что мнѣ, напримѣръ, чтобы проѣхать верхомъ 8 верстъ отъ Онора до Хандосы 2-й, понадобилось три съ половиной часа. Ѣхать по „просѣкѣ“ можно только на сахалинской лошади, выросшей въ тайгѣ. Лошадь осторожненько ступаетъ по корнямъ невыкорчеванныхъ пней. А когда становится на „грунтъ“, моментально завязаетъ по брюхо въ топкой, растаявшей тундрѣ.

Работы по проведенію „просѣки“ велись отъ ранней весны до первыхъ заморозковъ. Люди вязли въ трясинѣ, рубя деревья и выкорчевывая пни. И къ этой мукѣ — работать чуть не по поясъ въ топкой грязи—присоединялась еще нестерпимая мука отъ мошкары, которая тучами носится лѣтомъ надъ тундрой. Мошкара облѣпляла людей. Люди буквально обливались кровью.

— Мѣста живого не было отъ укусовъ! — говорятъ бывшіе на этихъ работахъ.—Мошкары такая тьма была, бывало, вздохнешь, да и задохнешься,—столько ея въ ротъ попадаетъ!

Люди, бывавшіе лѣтомъ въ тундрѣ, вполнѣ этому повѣрятъ.

За цѣлое лѣто прошли такимъ образомъ 77 верстъ, а затѣмъ эта идея—прорубить просѣку „вдоль всего Сахалина“ — была брошена, какъ совсѣмъ невыполнимая. О трудности работъ можете судить по тому, что отправилось на онорскія работы 390 человѣкъ, а вернулось 80. Остальные,—одни перемерли, другіе бѣжали, часть ихъ нихъ была поймана, большинство такъ и погибло въ тайгѣ „безъ вѣсти“.

Нужна была какая-нибудь сверхъестественная сила, чтобъ заставить людей исполнять такія работы. И такой силой въ рукахъ мѣстной тюремной администраціи, производившей дорожныя работы, но ничего въ нихъ не понимавшей, явился старшій надзиратель Хановъ.

Хановъ самъ изъ ссыльно-каторжныхъ. Когда-то онъ былъ сосланъ за какое-то, говорятъ, звѣрское преступленіе и отбывалъ каторгу въ Карѣ „въ разгильдѣевскія времена“, о которыхъ до сихъ поръ съ ужасомъ вспоминаютъ старики-каторжане.

— Я—разгильдѣевецъ!—съ гордостью говоритъ Хановъ.

Хановъ отбылъ каторгу, поселенчество и, пріѣхавъ на Сахалинъ, сдѣлался надзирателемъ. Нѣтъ вообще „лютѣе“ надзирателей, чѣмъ изъ ссыльно-каторжныхъ. Какъ всякій бывшій ссыльно-каторжникъ, Хановъ ненавидѣлъ и презиралъ каторгу. Къ тому же онъ зналъ ее хорошо, тонко, „по-каторжному“ зналъ.

Чтобы команда изъ 390 каторжанъ, бывшая подъ присмотромъ всего 3 надзирателей, не взбунтовалась, Хановъ отдѣлилъ изъ нея „Ивановъ".



Надзиратель Хановъ и его семья.

Опытнымъ глазомъ „стараго разгильдѣевца" Хановъ присматривался къ каждой новой партіи каторжанъ,—и сейчасъ же выдѣлялъ

„Ивановъ“, именно ихъ-то и дѣлая надсмотрщиками за работами. „Иваны“, такимъ образомъ, совсѣмъ избавлялись отъ работъ, могли питаться лучше, завѣдуя раздачей арестантскихъ порцій, и получали полную возможность тиранить и грабить злосчастную шпанку, выколачивая изъ нея послѣдніе гроши, послѣднія щепотки табаку.

Лучше жизни „Иванамъ“ и не нужно было. Они были на сторонѣ Ханова. А шпанка, забитая и несчастная, лишившись своихъ коноводовъ, терпѣливо несла свой крестъ.

Чтобъ забить „шпанку“ въ конецъ, „старый разгильдѣевецъ“ употреблялъ два пріема: непосильные „уроки“ и недостаточность пищи. Урочныя работы задавались такія, что всѣ и всегда были виновны въ „неисполненіи урока“. Порка,—Ханову было предоставлено право драть,—шла по всей линіи несосвѣтимая. Кормилъ Хановъ арестантовъ разъ въ день, послѣ работъ. И пищи было недостаточно, и „Иваны“ еще вдобавокъ крали,—измученный человѣкъ, кончивъ урокъ, или, вѣрнѣе, никогда не кончивъ урока, если избѣгъ порки, „тыкался“ къ котлу, „жралъ“ наскоро, и, заморенный, полуголодный, засыпалъ тутъ же, на мѣстѣ, какъ убитый. До протестовъ ли тутъ! Такъ въ голодѣ и ужасѣ жила „шпанка“.

Забивъ шпанку физически и нравственно, Хановъ „подобрался“ и къ „Иванамъ“. Но дѣлалъ это опять-таки необыкновенно тонко и по-каторжному—умѣло. Онъ „сокращалъ“ ихъ по одному, въ то же время другимъ давая еще большія льготы. Вдругъ возьметъ и одного какого-нибудь „Ивана“ изъ надсмотрщиковъ переведетъ въ простые рабочіе, на полуголодный, полутрепетный режимъ. Остальнымъ „Иванамъ“ это было только на руку: меньше надсмотрщиковъ,—больше каждому изъ оставшихся достанется на долю при дѣлежкѣ награбленнаго. И разжалованный изъ надсмотрщиковъ въ рабочіе „Иванъ“ долженъ былъ покоряться. Что онъ одинъ подѣлаетъ, когда вчерашніе его товарищи колотятъ и бьютъ его:

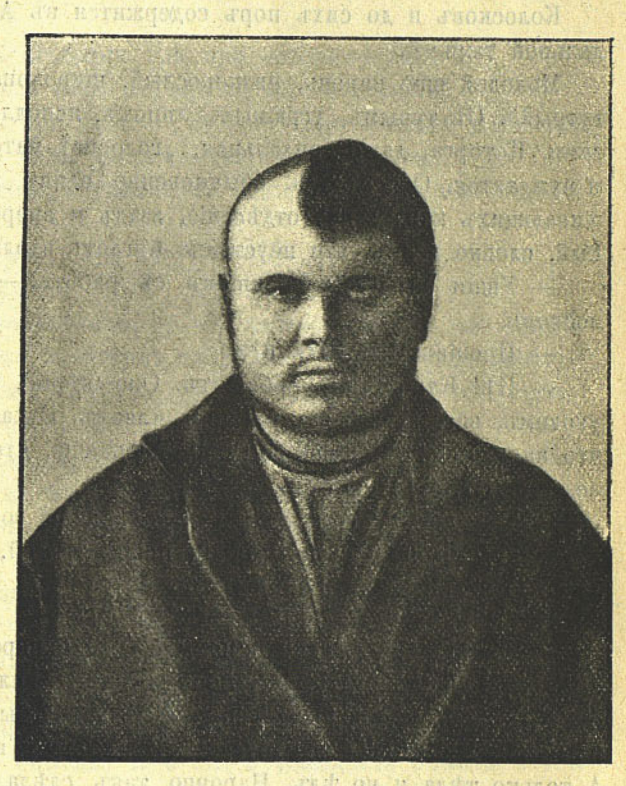
— Работай, такой-сякой! Не лодырничай!

Такъ мало-по-малу Хановъ „перевелъ“ у себя и „Ивановъ“, оставивъ изъ нихъ въ качествѣ надсмотрщиковъ только самыхъ отчаянныхъ. Зато ужъ и преданы были эти надсмотрщики Ханову истинно „какъ псы“. Ихъ было мало, на долю каждаго приходилось много. Имъ прямой былъ расчетъ поддерживать хановскіе порядки, и самъ надзиратель изъ каторжанъ такъ не свирѣпствовалъ, какъ свирѣпствовали каторжные надсмотрщики.

Такъ, примѣняя правило „divide et impera“, Хановъ держалъ въ своихъ поистинѣ желѣзныхъ рукахъ каторгу и дѣлалъ съ ней все, что хотѣлъ.

Люди бросались подъ падавшія срубленныя деревья, чтобъ получить увѣчье, люди отрубали себѣ кисть руки,—на Сахалинѣ и сейчасъ много этихъ „онорцевъ" съ отрубленной кистью лѣвой руки,— чтобъ только ихъ, какъ неспособныхъ къ работѣ, отправили назадъ, въ тюрьму. Люди, очертя голову, бѣжали въ тайгу на голодную смерть.

Павелъ Колосковъ былъ однимъ изъ „Ивановъ", проведенныхъ Хановымъ.



„Онорскій людоѣдъ". Губарь.

Колосковъ въ первый разъ былъ сосланъ на Сахалинъ на 10 лѣтъ за убійство съ цѣлью грабежа. Затѣмъ онъ бѣжалъ, былъ пойманъ, получилъ плети, присужденъ къ вѣчной каторгѣ, съ „15 годами испытуемости", т.-е. долженъ 15 лѣтъ содержаться въ кандальной тюрьмѣ: нѣчто совершенно безнадежное. Въ тюрьмѣ онъ былъ однимъ изъ „Ивановъ", и когда его пригнали съ партіей на онорскія работы, Хановъ сейчасъ же сдѣлалъ Колоскова „надсмотрщикомъ".

— Жилось тогда, что говорить, хорошо. Ѣшь вволю, табакъ, даже водку доставали.

Колосковъ и сейчасъ съ удовольствіемъ вспоминаетъ объ этомъ времени. Но оно длилось недолго: Хановъ сократилъ „Ивана" по вышеуказанному рецепту.

— Взъѣлся и взъѣлся. Перевелъ въ рабочіе. Я къ товарищамъ: „Что жъ это, братцы? За что?" Смѣются: „Не умѣлъ, стало, потра-

фитъ. Теперь самъ и разбирайся, какъ знаешь. Намъ хорошо, а до тебя какое дѣло? На Сахалинѣ всякъ за себя. А ты вотъ что: ты, чѣмъ брехать, урокъ исполняй, — потому мы затѣмъ надъ тобой приставлены". Парень я былъ могутный,—Хановъ на меня и наваливаетъ и наваливаетъ. Такіе „уроки" загибаетъ,—съ силъ спалъ. Что ни день, дерутъ: урока не выполнилъ. Вижу, — смерть. Въ тѣ поры я товарища подговорилъ и убѣгъ.

Колосковъ и до сихъ поръ содержится въ Александровской кандальной тюрьмѣ.

Молодой еще парень, низкорослый, широкоплечій, истинно „могутный". Съ тупымъ, угрюмымъ лицомъ, исподлобья глядящими глазами. Каторга, даже кандальная, „головка" каторги, его не любитъ и чуждается. Онъ ходитъ обыкновенно одинъ вдоль палей, огораживающихъ кандальное отдѣленіе, взадъ и впередъ, понурый, мрачный, словно волкъ, что неустанно бѣгаетъ вдоль рѣшетки клѣтки.

— Ушли мы съ товарищемъ съ работъ! — разсказываетъ Колосковъ.

— Провіанту захватили?

— Нѣ! Какой тамъ провіантъ. Оно вѣрно, когда мы бродяжить уходимъ, всегда загодя себѣ прикопляемъ. Сухари сушимъ. Да тамъ что насушишь! Кончишь работу, слопаешь, что дадутъ,—словно и не ѣлъ. Оттого и сбѣгли.

— Ты даже не спросилъ, какъ товарища зовутъ?

— Ни къ чему было. Ишли, ишли тайгой, смерть подходитъ. Товарищъ-то упалъ—и померъ.

— Самъ умеръ?

— Самъ. Занедужился и померъ. Это я нарочно потомъ на себя выдумалъ, убилъ будто. Ну, померъ онъ, — вижу я,—и мнѣ то же будетъ. Набралъ хворосту—спички съ собой были—зажегъ костеръ. изъ тѣла такъ нѣсколько кусковъ вырѣзалъ и на угляхъ сжарилъ... А только тѣла я не ѣлъ. Нарочно такъ сдѣлалъ. Въ сумочку — у всякаго бродяги сумочка полагается—въ сумочку мясо поклалъ, пошелъ на дорогу, да и объявился: „такъ и такъ, молъ, человѣчьимъ мясомъ питался". Чтобъ заарестовали и въ тюрьму отправили. Ежели бъ не это, назадъ бы на работы послали. А это преступленіе тяжкое. Для того и сдѣлалъ. Потому, извѣстно было, что такіе случаи бывали, въ тайгу съ работъ уходили, товарищей убивали и мясо ѣли. Вотъ и я на себя наклепалъ.

Но Колосковъ разсказываетъ не всю правду.

— Конфузится! — объяснилъ мнѣ одинъ изъ каторжанъ.—Человѣкъ вы новый. А намъ доподлинно извѣстно, что ѣлъ.

Я видѣлъ свидѣтелей того, какъ арестованнаго Колоскова съ его страшной сумкой привели на работы.

Каторжане его ругали, хотѣли избить, и убили бы, если бъ не защитили надзиратели. Каторга не хотѣла вѣрить такому ужасному преступленію и заставляла Колоскова ѣсть при ней найденное у него жареное мясо.

— Какъ же ты говоришь, что убилъ и ѣлъ? Докажи свою храбрость. Ѣшь!

И Колосковъ подъ угрозами ѣлъ при каторжанахъ.

— Хорошее, вкусное мясо! Лучше всякаго скотскаго!

Онъ даже смѣялся при этомъ. „Никакой провинности у него въ лицѣ не замѣчалось“, какъ свидѣтельствуютъ очевидцы.

Я какъ-то въ разговорѣ упомянулъ Колоскову про эти подробности:

— Что жъ они, врутъ, что ли?

Колосковъ отвернулся:

— Что ужъ про то вспоминать, что было!—махнулъ онъ рукой.

Изъ двухъ другихъ „онорскихъ людоѣдовъ“ живъ только одинъ— Васильевъ. Его товарищъ Губарь, съ которымъ вмѣстѣ они совершили преступленіе, умеръ, не перенеся наказанія.

Исторія снова та же, что и у Колоскова. Товарищъ Васильева, покойный Губарь, судя по портрету, человѣкъ тупой, жестокій и злой, былъ однимъ изъ отчаяннѣйшихъ „Ивановъ“, котораго трепетала тюрьма. Хановъ точно такъ же сначала возвелъ его въ званіе надсмотрщика, а затѣмъ перевелъ въ рабочіе и началъ „укрощать“.

Губарь не выдержалъ, подговорилъ Васильева и Ѳедотова, юношу-каторжанина, 20 лѣтъ, и вмѣстѣ съ ними бѣжалъ.

Ѳедотовъ былъ убитъ Губаремъ на второй же день.

— Я такъ думаю, онъ для того его и уговорилъ бѣжать, чтобы убить и съѣсть. Ужъ заранѣе у него въ мысляхъ было! — говоритъ Васильевъ.

Въ разсказѣ Васильева, очень подробномъ и детальномъ, самое страшное—это ночь передъ убійствомъ.

— Ѳедотовъ-то ничего не зналъ. А меня дрожь брала,—потому я-то слыхалъ, что Губарь и раньше, когда съ каторги бѣгалъ, товарищей убивалъ и тѣломъ питался. Какъ пришла ночь, Ѳедотовъ заснулъ, я не сплю, зубъ на зубъ не попадаетъ: не убилъ бы Губарь. Бѣжали, извѣстно, безъ всего. На просѣкѣ-то и такъ дохли съ голода, съ чего скопишь? Животы подводитъ. Губарь мнѣ и говоритъ на разсвѣтѣ: „Будетъ, что ѣсть“, и на Ѳедотова головой

кивнулъ. Меня въ холодъ бросило: „Что ты?“ Духъ индо захватило. Да страхъ взялъ: „Ну, какъ откажусь, а онъ потомъ Ѳедотова подговоритъ, да меня они убьютъ“. Ну, и согласился. Отошелъ это я испить къ ручеечку, вертаюсь, а мнѣ навстрѣчу Губарь идетъ бѣлый, ровно полотно. „Есть, — говоритъ, — что ѣсть!“ Тутъ и пошли мы къ тѣлу...

Васильевъ—здоровенный 35-лѣтній мужчина, говорятъ, необыкновенной физической силы. Какъ большинство очень сильныхъ людей, онъ необыкновенно добродушенъ. И я съ изумленіемъ смотрѣлъ на этого великана, бѣлобрысаго, съ волосами — цвѣта льна, кроткими и добрыми глазами, говорящаго съ добродушной, словно виноватой, улыбкой. Такъ мало онъ напоминаетъ „людоѣда“.

Меня предостерегали отъ знакомства съ Васильевымъ. Послѣ поимки онъ сходилъ съ ума, до сихъ поръ волнуется и приходитъ въ бѣшенство при всякомъ напоминаніи о дѣлѣ.

Но интересъ къ этому необыкновенному преступнику былъ ужъ очень великъ,—я познакомился съ Васильевымъ и, вызвавъ его въ тюремную канцелярію, которая въ свободные часы была предоставлена мнѣ для свиданія наединѣ съ арестантами, спросилъ его,— не могу ли быть ему чѣмъ-нибудь полезнымъ? Васильевъ отвѣчалъ:

— Нѣтъ! Чѣмъ же-съ?

И отъ всякой денежной помощи отказался.

— Зачѣмъ мнѣ?

Онъ сидѣлъ передо мной, видимо, въ большомъ смущеніи, мялъ въ рукахъ шапку, о чемъ-то хотѣлъ заговорить, но не рѣшался, и послѣ очень долгой паузы, смотря куда-то въ сторону, виновато улыбаясь, сказалъ своимъ мягкимъ, кроткимъ, добрымъ голосомъ:

— Вамъ... вѣроятно... желательно узнать про мое... дѣло!..

— Если вамъ такъ тяжело вспоминать объ этомъ, не надо!

— Нѣтъ... Что же-съ... Я вѣдь знаю, вамъ не изъ любопытствія... Вамъ изъ науки... Мнѣ Полуляховъ говорилъ...

Полуляховъ, какъ болѣе просвѣщенный среди каторжанъ и пользующійся у нихъ большимъ авторитетомъ, былъ мнѣ очень полезенъ, разъясняя своимъ товарищамъ, что я не слѣдователь, не чиновникъ, что меня нечего бояться.

— Мнѣ Полуляховъ говорилъ,—продолжалъ Васильевъ,—что вы всю нашу жизнь, какъ есть, описать хотите... Если вамъ нужно мое дѣло, извольте-съ... я готовъ...

И онъ разсказалъ мнѣ, краснѣя, блѣднѣя, волнуясь отъ страшныхъ воспоминаній, все подробно, какъ они подошли, вырѣзали

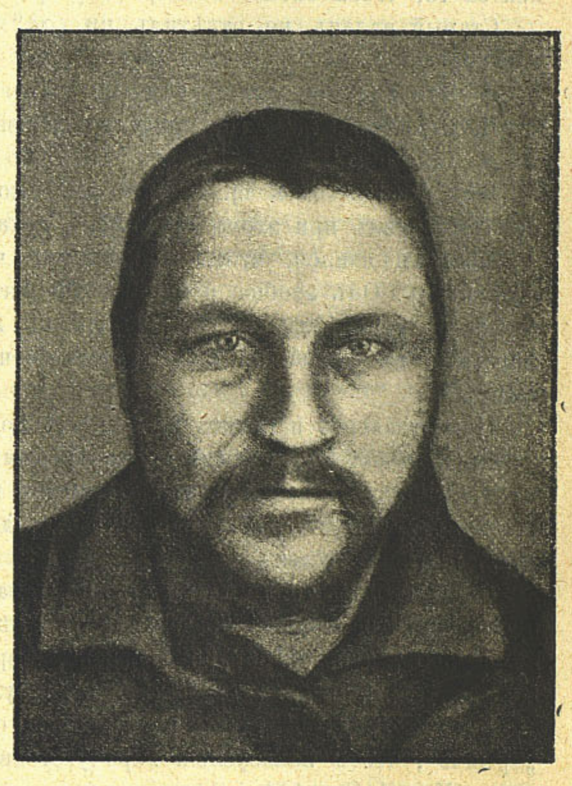
мягкія части изъ трупа, вынули печень и сварили супъ въ котелкѣ, который унесли съ собой съ работъ.

— Молоденькой кропивки нащипали и положили для вкуса.

Васильевъ, по его словамъ, сначала не могъ ѣсть.

— Да ужъ очень животы подвело. А тутъ Губарь сидитъ и уплетаетъ... Ѣлъ.

Когда они были пойманы, Васильевъ разсказалъ то же самое начальству, то же, со всѣми подробностями, онъ „спокойно“ разсказалъ доктору, когда его съ Губаремъ привели наказывать плетьми.



„Онорскій людоѣдъ“ Васильевъ.

Что это было за „спокойствіе?“ Быть-можетъ, спокойствіе человѣка, въ которомъ все закостенѣло отъ ужаса.

Васильева каторга „жалѣла“:

— Онъ не по своей винѣ. Не онъ началъ. Онъ не такой человѣкъ.

Губаря каторга ненавидѣла. Это былъ отвратительнѣйшій и грознѣйшій изъ „Ивановъ“, страхъ и трепетъ всей тюрьмы. Къ тому же, какъ я уже говорилъ, про него ходила молва, что онъ и раньше въ бѣгахъ ѣлъ людей.

На Сахалинѣ всѣ въ одинъ голосъ говорили, что каторга, сложившись по грошамъ, заплатила палачу Комлеву 15 рублей, чтобъ онъ задралъ Губаря насмерть.

Палачи — артисты, виртуозы въ искусствѣ владѣть плетью, — и никакой самый опытный начальническій глазъ не различитъ, съ какой силой бьетъ палачъ. Кажется, все время одинаково со страшной силой. А на самомъ дѣлѣ есть сотни оттѣнковъ.

Фактъ тотъ, что Васильевъ и Губарь были приговорены къ одному и тому же количеству плетей. Ихъ наказывалъ Комлевъ въ одинъ и тотъ же день. Васильевъ вынесъ все наказаніе сполна и остался неискалѣченнымъ. Губаря послѣ 48-го удара въ безчувственномъ состояніи отнесли въ лазаретъ, и черезъ три дня онъ умеръ. Онъ былъ простеганъ до паховъ. Образовалось омертвѣніе.

Я спрашивалъ у Комлева, правда ли, что онъ получилъ 15 рублей за то, чтобы забить насмерть Губаря.

Старый палачъ не отвѣтилъ ни „да" ни „нѣтъ", онъ сказалъ только:

— Что жъ, я человѣкъ бѣдный!

И, помолчавъ немного, привелъ все извиняющую причину:

— Сакалинъ!

Мнѣ разсказывалъ врачъ, который, по обязанностямъ службы, присутствовалъ при этомъ страшномъ наказаніи.

Комлевъ явился, чтобы „порѣшить" человѣка, и рисовался и позировалъ. Онъ вообще немножко „романтикъ" и любилъ порисоваться во время „дѣла". Онъ явился въ красной рубахѣ, черномъ фартукѣ, въ какой-то, имъ самимъ сочиненной, особой черной шапкѣ.

Приготовляясь наносить удары, онъ поднялся на цыпочки, чтобы казаться выше. Съ хмурымъ, вѣчно угрюмымъ лицомъ, со слезящимися мрачными глазами и воспаленными вѣками, маленькій, жилистый, мускулистый, онъ, дѣйствительно, долженъ былъ быть страшенъ и отвратителенъ.

— Ужъ одна торжественность Комлева говорила, что „что-то" произойдетъ особенное!—разсказывалъ мнѣ врачъ.—Онъ такъ гаркнулъ свое традиціонное „поддержись", передъ тѣмъ, какъ нанести первый ударъ, что я задрожалъ и отвернулся.

Комлевъ „клалъ" удары не торопясь, съ разстановкой, „рѣже", „крѣпче", чтобы наказуемый „прочувствовалъ" каждый ударъ.

— Чаще! Скорѣй!—нѣсколько разъ кричалъ докторъ.

Чаще не такъ мучительно. Ошеломленный человѣкъ не успѣваетъ перечувствовать каждый ударъ въ отдѣльности.

Но Комлевъ не торопился... Послѣ 48 удара Губарь былъ „готовъ".

— Но и 48 такихъ ударовъ выдержать. Что за богатырь былъ!

— Послѣ этого на меня напалъ страхъ-съ,—разсказывалъ Васильевъ.

— Послѣ наказанія?

— Нѣтъ-съ, не отъ наказанія, а оттого, что я ѣлъ. Такой страхъ напалъ,—свѣта боялся.

Васильевъ сошелъ съ ума. Его охватилъ ужасъ. Онъ заболѣлъ маніей преслѣдованія въ самой бурной формѣ.

Онъ не спалъ ночей, увѣряя, что слышитъ, какъ арестанты сговариваются его убить и самого съѣсть. Когда его посадили за буйство въ карцеръ, онъ отломалъ доску отъ стѣны и такъ двѣнадцать часовъ подъ рядъ простоялъ на нарахъ, не мѣняя позы, съ высоко поднятой надъ головой доской, крича дикимъ голосомъ:

— Не дамся! Убью, кто войдетъ!

И никто не рѣшался подступиться къ разъярившемуся Геркулесу. Его взяли какъ-то хитростью и помѣстили въ лазаретъ. Тамъ онъ отказывался принимать пищу, говоря, что докторъ хочетъ его отравить, и, наконецъ, въ одинъ ужасный день бѣжалъ. Поистинѣ ужасный день: цѣлый мѣсяцъ Васильева не могли поймать, и это былъ ужасный мѣсяцъ для почтеннаго, любимаго за гуманность всею каторгою врача Н. С. Лобаса. Цѣлый мѣсяцъ Васильевъ рыскалъ гдѣ-то кругомъ, ища случая встрѣтить и убить врача. Цѣлый мѣсяцъ домашніе г. Лобаса трепетали, когда онъ выходилъ изъ дома.

Наконецъ безумнаго поймали, подъ наблюденіемъ того же г. Лобаса онъ оправился, успокоился и теперь, если кого любитъ Васильевъ, такъ это г. Лобаса.

— Вотъ до чего страхъ напалъ,—Николая Степановича хотѣлъ убить!—разсказывалъ Васильевъ.—Тяжко мнѣ!

Колосковъ не сознается „постороннимъ", Васильевъ разсказываетъ, какъ ѣлъ человѣческое мясо,—потому Васильевъ пользуется большей извѣстностью, какъ „людоѣдъ".

— Всякій, кто пріѣдетъ, сейчасъ на меня смотрѣть. Смотрятъ всѣ... Бѣжалъ бы.

Къ концу бесѣды Васильевъ началъ все сильнѣе и сильнѣе волноваться.

— Бѣжалъ бы. А то какъ человѣкъ подходитъ, такъ и смотритъ: „Ты тѣло ѣлъ?" А чего смотрятъ! Развѣ я одинъ? Сколько есть, которые въ бѣгахъ убивали и ѣли. Да молчатъ!

Каторга говоритъ, что въ кандальной тюрьмѣ не мало такихъ, которые въ бѣгахъ питались съ голоду мясомъ убитыхъ или умершихъ товарищей.

Мнѣ показывали нѣсколько такихъ, которые винились каторгѣ, а одинъ изъ нихъ, на котораго всѣ указывали, что онъ ѣлъ мясо умершаго отъ изнуренія товарища, когда я спросилъ его, правду ли про него говорятъ, отвѣчалъ мнѣ:

— Все одно птицы склюютъ. А человѣку не помирать же!

Каторжанка баронесса Геймбрукъ.

Это одно изъ самыхъ тоскливыхъ моихъ сахалинскихъ воспоминаній.

— Баронесса? Баронесса у насъ булки печетъ, уроки даетъ и платья шьетъ!—говорили мнѣ въ селеніи Рыковскомъ.

На порогѣ избы меня встрѣтила высокая, худая женщина съ умными, выразительными глазами. Сколькихъ лѣтъ? Право, трудно опредѣлить лѣта женщины въ каторгѣ. Сахалинъ, отнимая у человѣка все, что есть хорошаго, прежде всего отнимаетъ молодость, а потомъ здоровье.

Я представился.

— Баронесса Геймбрукъ! — отвѣтила она, подчеркивая титулъ, котораго лишена.

„Дѣло баронессы Геймбрукъ, обвиняемой въ поджогѣ“, надѣлало очень большого шума въ Петербургѣ. Это былъ „громкій“ и „знаменитый“ процессъ.

Въ исторіи женскаго образованія въ Россіи имя баронессы Геймбрукъ займетъ скромное, но все же видное мѣсто. Ей принадлежитъ иниціатива устройства женскаго профессіональнаго образованія въ Россіи; она была первой открывшей женскую профессіональную школу.

Отлично образованная, принадлежавшая къ хорошему кругу, имѣвшая очень вліятельное родство, но не имѣвшая средствъ къ жизни, молодая женщина съ увлеченіемъ отдалась мысли:

— Надо научить женщину жить своимъ трудомъ. Вооружить ее на борьбу за существованіе.

Дѣло шло хорошо. Баронесса работала, учила работать другихъ, перебивалась, сводила концы съ концами.

— Скучно только одной было! — съ грустной улыбкой вспоминаетъ она.—Работаешь, работаешь, кипишь въ дѣлѣ, а останешься одна, такое полное одиночество. Ни одной близкой души. Родня... Но родня смотрѣла съ недовѣріемъ, даже стѣснялись моими „затѣями“...

Она познакомилась съ какимъ-то отставнымъ военнымъ. Они понравились другъ другу, потомъ полюбили, возникла „связь“. Пошли „разговоры“.

— Ужасно неудобно! И передъ родными неловко и, наконецъ, какъ начальницѣ школы...

Надо было вѣнчаться. Онъ тоже только объ этомъ и думалъ. Но у него были запутаны, разстроены дѣла, ему нужно было отъ кого-то откупиться,—денегъ не было.

— Знаешь что,—сказалъ онъ ей однажды,—у насъ есть исходъ. Страховыя преміи за твою обстановку. Если съ умомъ поджечь...

— Ты съ ума сошелъ!

— Никто не узнаетъ. Ты даже будешь ни при чемъ. Дай только согласіе. Безъ тебя все будетъ сдѣлано. У меня есть такой человѣчекъ...

Она протестовала. Онъ убѣждалъ, что „развѣ мало въ Петербургѣ такъ дѣлаютъ“, что „риску никакого“, что „человѣчку“ ужъ не впервой, что „человѣчекъ“ знаетъ, какъ устроить:

— Ты себѣ уѣдешь въ театръ. Ты будешь ни при чемъ.

Въ концѣ-концовъ онъ предложилъ на выборъ:

— Другого выхода, ты знаешь, нѣтъ. Такъ наша связь продолжаться не можетъ. Значитъ, либо согласиться на такую комбинацію, либо между нами все должно быть кончено.

Умолялъ, заклиналъ ее ихъ любовью.

Она согласилась:

— Хорошо. Дѣлай.

Однажды она поѣхала въ театръ, вернулась и застала у себя въ квартирѣ пожаръ.

Возникло подозрѣніе, выяснился поджогъ. Баронессу Геймбрукъ и ея „любовника“ арестовали и посадили въ домъ предварительнаго заключенія. Тамъ они какимъ-то образомъ нашли возможность обмѣняться записками.

Дѣло въ судѣ длилось два дня. Оправданіе баронессы Геймбрукъ было несомнѣнно. Уликъ, что она знала о готовящемся поджогѣ, не было никакихъ.

Однажды во время перерыва ея соучастникъ обратился къ баронессѣ съ вопросомъ:

— Если меня сошлютъ, пойдешь за мной въ Сибирь?

— Вотъ еще! Очень надо!

— „Такъ-таки этими словами и сказала!—говоритъ она.—Такъ, знаете, изъ озорства изъ какого-то. Вотъ, молъ, тебѣ! Я же за то, что твои дѣла были запутаны, и страдать теперь должна!“

— Не пойдешь? Хорошо же!

Онъ передалъ суду записку, которую она переслала ему въ домѣ предварительнаго заключенія:

„Если слѣдователь скажетъ тебѣ, будто я созналась,—не вѣрь. Я ни въ чемъ не созналась, не сознавайся и ты“.

Сомнѣній не было. Оба были обвинены.

— Подлецъ! Зачѣмъ ты это сдѣлалъ? — спросила она въ перерывѣ послѣ вердикта присяжныхъ.

— Теперь я, по крайней мѣрѣ, знаю, что ты другому принадлежать не будешь. Вмѣстѣ пойдемъ, вмѣстѣ будемъ!

Его сослали въ каторгу въ Сибирь, ее—на Сахалинъ

Въ посту Дуэ пришли въ рѣшительное недоумѣніе:

— Что дѣлать съ „каторжницей-баронессой?“

Въ „сожительницы“ къ поселенцу итти не хочетъ:

— Я сослана въ каторгу, а не для этого!

Пробовали нѣкоторые изъ гг. служащихъ взять ее къ себѣ въ „прислуги“.

Но при первомъ ласковомъ жестѣ она отскакиваетъ въ сторону:

— Вы можете заставлять меня работать, но этого заставлять вы меня не можете.

Женскихъ тюремъ нѣтъ.

Насильно отдать въ сожительство:

— Все-таки баронесса... неудобно какъ-то.

И напрасно жены гг. служащихъ убѣждали:

— Да какая она баронесса? Чего вы съ нею миндальничаете? Каторжанка! Сбили бы спесь!

Полуграмотныя жены служащихъ сразу возненавидѣли „гордячку“, „фрю“.

— Туда же „баронесса“! Тутъ, матушка, баронессъ нѣту!

А она все-таки была единственной портнихой на Сахалинѣ! Все-таки единственной, которая могла сшить платье, „какъ слѣдуетъ“, „по петербургской модѣ“. Къ ней все же *приходилось* обращаться, и это бѣсило супругъ гг. служащихъ.

— Вѣдь были среди нихъ и такія, которыя обращались съ прислугой сравнительно вѣжливо, а со мной не могли!—съ улыбкой вспоминаетъ „каторжанка-баронесса“.—Зоветъ меня, а приду—ножъ острый. Чуть что не такъ, не по ней, складочка какая, оборочка, ногами затопаетъ, кричитъ: „Что ты думаешь? Ты баронесса? А? Баронесса? Ты каторжанка! Лишенная правъ! Понимаешь?“ Стоишь, молчишь, улыбаешься...

И презрительная улыбка, съ которой вспоминаетъ она объ этомъ, вѣроятно, была и тогда на лицѣ баронессы Геймбрукъ.

Супругъ гг. служащихъ это окончательно выводило изъ себя.

— Сейчасъ бѣгутъ мужьямъ жаловаться. Я молчу, а онѣ кричатъ: „Уйми ты эту стерву!“

Жизнь ея сложилась такъ. Служащіе махнули на нее рукой: „Пусть живетъ, какъ знаетъ! Ну, ее къ чорту!“ Жены служащихъ молили Бога:

— Хоть бы портниху хорошую изъ Россіи прислали.

А за неимѣніемъ таковой, заказывали „баронессѣ“, ругались при этомъ ругательски, платили невѣроятные гроши и кричали:

— Что жъ ты не благодаришь? А? Мало тебѣ? Недовольна? „Баронесса“ ты? А?

Эта „молчкомъ-молчавшая“ баронесса была коломъ въ глазу женъ гг. служащихъ.

— Вы себѣ представить не можете, что это за дрянь, что за мерзавка эта „баронесса“!—разсказывала мнѣ одна.—По человѣчеству иногда пожалѣть захочешь, хоть и каторжница, а все-таки жаль. Заказы ей даешь, чтобы съ голода не сдохла, сдѣлать для нея что-нибудь хочешь. Такъ нѣтъ, куда тебѣ! Фанаберія! Говорить не хочетъ! Принесетъ заказъ, хоть бы слово сказала! Не желаетъ! Видъ такой, словно она тебѣ одолженіе дѣлаетъ! Она вѣдь баронесса! Какъ же ей! Мелкая такая душонка, мразь! Уколоть на каждомъ шагу норовитъ. Въ платьѣ что, скажешь, не такъ, сейчасъ тебѣ: „Извините, сударыня, въ Петербургѣ такъ носятъ“. Она вѣдь изъ Петербурга, она баронесса, она все видѣла, все знаетъ, а я что? Да я жена служащаго! Жена твоего начальника! Честная женщина! А ты каторжанка, ссыльная, тварь, поджигательница!.. Этого понять не хочетъ.

Такъ тянулась „каторга“ баронессы. Работала за гроши, кое-какъ билась, жила и... молчала.

— Думала, говорить отучусь!—съ улыбкой вспоминаетъ „баронесса“.

Съ одной стороны, каторжане, „шпанка“, „сожительница“, что можетъ быть общаго съ ними у молодой интеллигентной женщины? Съ другой стороны, жены служащихъ, завидѣвъ которыхъ издали бѣги на другую сторону:

— Сейчасъ „ты“. Ругань. Попреки „баронесса“.

— Такъ и жила между небомъ и землей. Шпанка попрекаетъ, глумится: „баронесса“! Интеллигенція здѣшняя попрекаетъ, глумится: „баронесса“!

Это стало, наконецъ, невыносимымъ, и баронесса пошла въ сожительницы къ нѣкоему фельдшеру, сосланному за убійство своей жены. Все-таки былъ человѣкъ поинтеллигентнѣе другихъ.

Пошла не любя.

— Вы его знаете. Можно ли такого любить? Да ужъ очень тошно, тоска взяла. А онъ клялся и божился, что исправится.

Это вызвало всеобщій злорадный восторгъ:

— А? Что! Къ фельдшеришкѣ въ сожительницы пошла! Вотъ вамъ и „баронесса“! „Баронесса“!—Ха-ха-ха!

— Совсѣмъ потерянная личность! — съ брезгливымъ сожалѣніемъ говорила мнѣ супруга одного изъ крупныхъ служащихъ. — Даже досадно, что она когда-то титулъ такой носила! До чего дошла! Съ фельдшеромъ спуталась! Разводили ихъ потомъ, — грязь, грязь какая!

Фельдшеръ—грязный комокъ сала, возбуждавшій во всѣхъ отвращеніе. Ничего противнѣй этого толстяка съ эспаньолкой, отпущенной подъ губой, на которой красовалась какая-то злокачественная язва, я не видалъ на всемъ Сахалинѣ.

— Вотъ экземплярчикъ!—показывалъ на него въ лицо докторъ.— Опять какую-нибудь малолѣтнюю приторговываешь?

— Есть экземплярчикъ! — расплывалось у фельдшера жирное, лоснящееся лицо.

Онъ практикуетъ потихоньку, пользуясь невѣжествомъ поселенцевъ, воруетъ лѣкарства,—и все, что зарабатываетъ такимъ способомъ, тратитъ на „штучки", „экземплярчики", „предметы", предпочитая „малолѣточекъ-съ".

Интеллигентная женщина скоро надоѣла развратнику-фельдшеру.

— Забеременѣла я еще отъ него!—съ дрожью отвращенія вспоминаетъ баронесса.—Господи, что тутъ пошло! Что заработаю, онъ тащитъ на покупку дѣвчонокъ. Въ домъ ихъ таскать началъ. Отлучишься изъ дому, придешь, онъ какія-нибудь мерзости ужъ дѣлаетъ. Во дворъ выйдешь, онъ тамъ подъ навѣсомъ. Придетъ избитый весь, исколоченный... Выгнала я его. Не идетъ. „Моя, — кричитъ, — изба!" Начальству я на него жаловалась. Господи! Сколько униженій! Хохочутъ всѣ: „Ну, что же, баронесса, вы съ вашимъ фельдшеромъ ссоритесь? Вы помирились бы! А? Онъ вѣдь человѣкъ интеллигентный!" Насилу развязали меня съ нимъ.

Фельдшеръ ушелъ, баронесса осталась съ ребенкомъ отъ него.

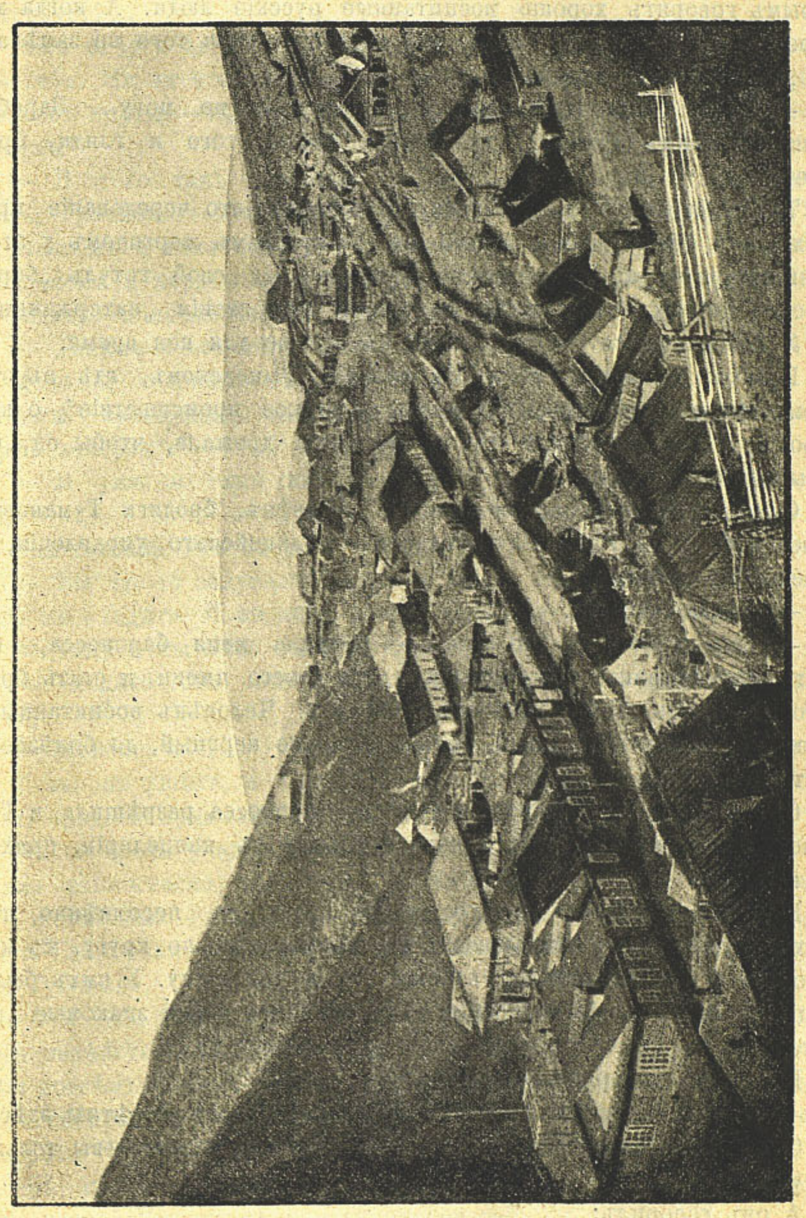
Удивительно странное впечатлѣніе испытывалъ я, когда сиживалъ въ гостяхъ у этой „каторжницы-баронессы", теперь ужъ поселенки.

Мы сидѣли въ маленькой, узенькой комнаткѣ, съ чистой постелью, покрытой одѣяломъ изъ сѣраго арестантскаго сукна.

На окнѣ стояла герань, на комодѣ подъ лампой была сшитая изъ лоскутковъ подставка. Это все-таки придавало маленькой, темной комнаткѣ какой-то уютъ. Было видно, что живетъ человѣкъ, привыкшій къ нѣкоторому комфорту.

Разговаривая со мной, баронесса курила, гасила окурки объ столъ и оставляла ихъ тутъ же, на столѣ, среди кучи пепла, пле-

вала посреди пола, и отъ этого вѣяло какимъ-то бездомовьемъ, сахалинской оголтѣлостью, каторжнымъ отсутствіемъ женственности.



Видъ поста Дуэ — мѣста ссылки баронессы Геймбрукъ.

Когда въ комнату входилъ работникъ-каторжникъ, ея помощникъ по булочной, она начинала говорить со мной по-французски

Французскій языкъ у нея чудный, красивый, элегантный. Тотъ чудный, красивый и элегантный, литературный французскій языкъ, которымъ говорятъ хорошо воспитанные русскіе люди. А когда мы переходили на русскій языкъ, она говорила, сама того не замѣчая, на „каторжномъ“ языкѣ:

— Вѣдь согласитесь, на фартъ итти я не могу... Заработаешь тяжкимъ трудомъ, дрожишь: шпанка, того и гляди, припьетъ.

Такое странное впечатлѣніе производило это чередованіе превосходнаго французскаго языка съ каторжнымъ жаргономъ у этой женщины, которая лихорадочно хватается за свой титулъ „баронессы“, потому что дрожитъ въ ужасѣ отъ званія „каторжанки“.

Я познакомился съ баронессой въ тяжкое для нея время.

Незадолго передъ тѣмъ въ селеніи Рыковскомъ, гдѣ въ это время жила баронесса, случилось „громкое происшествіе“, о которомъ я уже говорилъ [1]), и баронесса дрожала, чтобы ея „не засыпали“.

Однажды къ ней явился молодой человѣкъ, бродяга Тумановъ, переведенный въ Рыковское писаремъ полицейскаго управленія, и отрекомендовался:

— Князь такой-то.

— Онъ дѣйствительно князь, — увѣряла меня баронесса,— не знаю, что заставило его отказаться отъ своего имени и стать бродягой, онъ объ этомъ избѣгалъ говорить. Человѣкъ воспитанный, очень образованный, умный, только страшно нервный, до болѣзненности нервный...

Онъ попросилъ разрѣшенія бывать. Баронесса разрѣшила, и Тумановъ каждый день, какъ кончится работа въ канцеляріи, приходилъ къ ней.

Богъ знаетъ, было ли что между ними, но, несомнѣнно, что этихъ двухъ людей, одинаковыхъ по образованію, по кругу, къ которому они принадлежали, влекло другъ къ другу. У нихъ были общіе взгляды, общіе интересы, даже нашлись общіе знакомые „по Петербургу“.

Баронесса говоритъ, что она:

— Отдыхала душой въ этихъ бесѣдахъ! Вдругъ встрѣтить здѣсь, на Сахалинѣ, молодого человѣка, воспитаннаго, милаго,—вы только подумайте!

А онъ говорилъ:

---

1) См. 1 часть гл. „Смертная казнь“.

— Знаете, когда я говорю съ вами, мнѣ кажется, что ни каторги ни бродяжества нѣтъ, что мы съ вами сидимъ гдѣ-нибудь въ Петербургѣ...

Какъ вдругъ однажды Тумановъ явился страшно разстроенный, внѣ себя. Ни за что ни про что,—злой послѣ вчерашняго проигрыша въ карты,—чиновникъ Г. выругалъ его „подлецомъ и мерзавцемъ“.

— Я этого такъ оставить не могу! — говорилъ, страшно волнуясь, Тумановъ.—Меня могутъ выдрать, потому что я бродяга! Но „мерзавцемъ и подлецомъ“ меня называть не смѣютъ! Я никогда „подлецомъ и мерзавцемъ“ не былъ! Я потому и въ каторгѣ, что я не подлецъ и не мерзавецъ! Этого я оставить не могу!

— Такимъ я его никогда не видала! — говоритъ баронесса.

Молодой человѣкъ, вспыльчивый, горячій, рѣшившій „такъ не оставить“ начальнику оскорбленіе... на Сахалинѣ... У баронессы „душа замерла“:

— Я ужъ и такъ изъ-за одного поплатилась. Довольно съ меня!

Она сказала Туманову:

— Вы что-то задумали, оставьте меня. Уходите отъ меня, сейчасъ же уходите. Я не хочу ничего знать, не хочу погибать...

— Такъ и вы меня гоните? И вы?

— Уходите отъ меня, если вы честный, порядочный человѣкъ...

— Хорошо же...

Тумановъ ушелъ, а вечеромъ все Рыковское было поднято на ноги: бродяга Тумановъ покушался на жизнь чиновника Г.

Въ то время участь Туманова еще была не рѣшена, всѣ гг. служащіе единогласно требовали „примѣрнаго наказанія“ Туманова, т.-е. повѣшенія,—для „острастки распущенной каторги“,—и баронесса Геймбрукъ просила, молила, нельзя ли что-нибудь сдѣлать для Туманова.

— Я себя виню, себя. Можетъ-быть, это мои слова на него такъ подѣйствовали. Дѣйствительно, въ такую минуту почувствовать себя совсѣмъ однимъ! Но посудите, что жъ я могла сдѣлать. Человѣкъ собирается Богъ знаетъ что сдѣлать, какъ могла я съ нимъ говорить? Вѣдь и я погибну! Да что я! Если бы я одна была, я бы о себѣ, можетъ-быть, и не подумала. Но мой ребенокъ, съ нимъ что будетъ? Имъ развѣ я могу рисковать?

Этотъ ребенокъ отъ нелюбимаго, отвратительнаго, презираемаго человѣка, — все, что есть въ жизни у баронессы.

Она съ дрожью отвращенія вспоминаетъ о беременности отъ фельдшера и безумно любитъ ребенка.

Пятилѣтняго, слабаго, болѣзненнаго, золотушнаго мальчика, ради котораго она работаетъ день денской, не покладая рукъ, мѣситъ тѣсто, жарится у печки, сажая хлѣбы, сидитъ согнувшись, шьетъ за гроши платья женамъ чиновниковъ, даетъ уроки французскаго языка дѣтямъ священника.

Любитъ, и безъ слезъ видѣть не можетъ своего ребенка.

— Они и его „барономъ" прозвали. Издѣваются. Отъ чиновничьихъ дѣтей его гонятъ, онъ долженъ играть со шпанкой...

Любитъ полной ужаса любовью:

— Вѣдь это будущій убійца растетъ! — съ ужасомъ говоритъ она. — Вы только подумайте: наслѣдственность-то какая. Себя я преступной натурой, конечно, не считаю. Какая я преступница! Но вы посмотрите на отца. Убійца, полусумасшедшій, развратникъ. Вѣдь, вы знаете, онъ тутъ со своимъ развратомъ въ такую недавно исторію влѣзъ, мнѣ же пришлось его откупить: 20 рублей послѣднихъ дала, чтобы въ тюрьму не сажали. Дала, потому что ребенокъ его все-таки „папой" при встрѣчахъ зоветъ, такъ чтобы ребенка не дразнили: „тятька въ тюрьмѣ"... И потомъ, что можетъ выйти изъ него здѣсь, на Сахалинѣ! Что передъ глазами? Ежедневныя убійства, поголовный развратъ, плети, каторга. Вотъ вы на игры ихъ посмотрите, играютъ „въ палачи", въ повѣшенье, палачъ у нихъ—герой, безсрочный каторжникъ—герой. Вы спросите у десятилѣтняго мальчика, что такое тюрьма? „Мѣсто, гдѣ кормятъ!" Гдѣ лучше, въ тюрьмѣ или на волѣ? „Знамо въ тюрьмѣ, на поселеніи съ голода подохнешь". Вѣдь все это мальчикъ съ дѣтства въ себя впитываетъ. Тюрьма для него что-то обыденное, неизбѣжное, заурядное, карьера. Что изъ него выйдетъ? То же, что и изъ другихъ! Убійца. Вѣдь я его на каторгу ращу, на каторгу! Убійцу будущаго!.. Но пока, пока онъ маленькій, въ немъ еще ничего этого нѣту, онъ ребенокъ, такой же, какъ и всѣ...

И она при мнѣ, въ какомъ-то истерическомъ припадкѣ, со слезами цѣловала своего мальчика, который явился домой плачущій, его только что отогнали отъ дѣтей начальника округа и обругали „барономъ".

— Мама, не вели имъ ругаться барономъ!

„Не вели"!

Уѣзжая изъ Рыковскаго, въ свое послѣднее свиданіе съ баронессой, когда она провожала меня до дверей, я рѣшился спросить у нея:

— Ну, а тотъ... съ которымъ вы судились... объ немъ вы не имѣете извѣстій?

— Онъ въ Сибири, кончилъ, какъ и я, свой срокъ, поселенцемъ. Очень бѣдствовалъ, писалъ, я послала ему денегъ, такъ гроши, какіе были. Очень круто бѣднягѣ пришлась каторга. Недавно еще получила письмо. Боленъ, жалуется, проситъ послать немножко денегъ...

— И вы?

— Пошлю.

Я поцѣловалъ ея руку и пошелъ.

— А? Откуда? Отъ пріятельницы, отъ „баронессы"!—встрѣтилъ меня по дорогѣ смотритель тюрьмы.—До мужчинъ ужъ больно охотница, подлая баба! Съ фельдшеромъ путалась; Тумановъ, я знаю, къ ней лясы точить шлялся. Я вѣдь все знаю,—хе-хе! Она тутъ за фельдшера 20 цѣлковыхъ, послѣднихъ, чай, заплатила, въ бѣду милъ дружокъ попался. Она и Туманову въ тюрьму потихоньку бѣлый хлѣбъ посылала. Да вы что думаете? Она и къ прежнему своему пріятелю все время деньги посылала. Я съ почты знаю! Всѣ они у нея на иждивеніи. Любительница мужчинъ, подлая! Трое у нея было! Распутная! Черезъ то и въ каторгу пошла, что распутная, черезъ любовника!..

Ландсбергъ.

25 лѣтъ тому назадъ въ Петербургѣ произошла трагедія, имѣвшая огромное значеніе для о. Сахалина. Блестящій гвардейскій офицеръ-саперъ Ландсбергъ, наканунѣ женитьбы на богатой и знатной невѣстѣ, наканунѣ большой и блестящей карьеры, зарѣзалъ, съ цѣлью грабежа, ростовщика Власова и его служанку.

Это событіе произвело неописуемую сенсацію, и имя Ландсберга прогремѣло на всю Россію. Еще большій ужасъ этому убійству придавало одно трагическое qui pro quo.

Ландсбергъ былъ карьеристомъ. Онъ былъ человѣкомъ очень небогатымъ, тянулся изо всѣхъ силъ и служилъ въ гвардіи, чтобы быть на виду и сдѣлать карьеру. Старый чиновникъ, занимавшійся ростовщичествомъ, Власовъ, относился съ большой симпатіей къ небогатому офицеру, старавшемуся выйти на „дорогу", и ссужалъ его деньгами. У Власова было много векселей Ландсберга. Когда карьера была почти ужъ сдѣлана, и Ландсбергъ былъ объявленъ женихомъ богатой и знатной невѣсты, Власовъ началъ грозить ему:

— Вотъ я тебѣ къ свадьбѣ „сюрпризъ“ устрою Такой сюрпризъ, какого и не ожидаешь.

Ландсбергъ испугался, что Власовъ предъявитъ ко взысканію его векселя, выставитъ его запутавшимся бѣднякомъ, желающимъ жениться для поправки обстоятельствъ, сорветъ всю карьеру, и рѣшилъ достать векселя у Власова. Онъ явился къ Власову, уславъ старуху-служанку за квасомъ, зарѣзалъ бритвой стараго ростовщика, затѣмъ, когда служанка вернулась, покончилъ и съ ней и похитилъ свои векселя, лежавшіе отдѣльной, приготовленной ужъ пачечкой.

Среди бумагъ послѣ покойнаго нашли заготовленное имъ письмо къ Ландсбергу. Въ этомъ письмѣ Власовъ желалъ всякаго счастья своему протеже и въ видѣ подарка на свадьбу посылалъ „прилагаемые при семъ“ всѣ векселя.

Это и былъ „сюрпризъ“, которымъ съ улыбкой „грозилъ“ старичокъ. Кромѣ того, въ духовномъ завѣщаніи, составленномъ на всякій случай, Власовъ завѣщалъ все своё состояніе... Ландсбергу.

Весь этотъ ужасъ произошелъ потому, что Ландсбергъ не понялъ Власова, по старческой привычкѣ любившаго выражаться нѣсколько иносказательно:

— Хе-хе!.. „Сюрпризецъ“.

Изъ блестящаго офицера съ огромной карьерой впереди, Ландсбергъ превратился въ каторжника съ бритой головой и долгими годами тюрьмы въ перспективѣ.

Когда Ландсберга арестовали, его предупреждали:

— Въ комнатѣ, гдѣ вы сейчасъ останетесь одинъ, на столѣ лежитъ револьверъ. Онъ заряженъ... Того... Будьте поосторожнѣе.

Ландсбергъ холодно отвѣтилъ:

— Не безпокойтесь. Я не застрѣлюсь.

И пошелъ въ каторгу.

Тогда сахалинская колонія еще только начиналась. Кучка забайкальцевъ, невѣжественныхъ, безпомощныхъ, ютились въ посту Дуэ, единственномъ тогда поселеніи на Сахалинѣ, въ маленькомъ ущельѣ, въ трещинѣ между скалами, быть-можетъ, самой скверной дырѣ, какая только существуетъ на земномъ шарѣ, и съ ужасомъ смотрѣли на непроходимую тайгу, которую имъ поручено было превратить въ „цвѣтущую колонію“. Эта кучка забайкальцевъ стояла передъ Сахалиномъ, какъ ребенокъ передъ ощетинившимся медвѣдемъ. Какъ подступиться? Для колоніи прежде всего нужны дороги, а эти люди, родившіеся и выросшіе въ Забайкалѣ, никогда въ глаза не видали даже шоссейныхъ дорогъ и рѣшительно не знали, какъ „все это дѣлается“.

Каждый ихъ шагъ терпѣлъ немедленно же крушеніе. Они „своимъ умомъ“ строили пристань, пристань сносилъ первый же маленькій штормъ. Они „своимъ умомъ“ начали рыть тоннель сквозь гору Жонкьеръ, безъ всякихъ приспособленій, безъ всякихъ знаній, кромѣ одного,—что тоннель роется обыкновенно одновременно съ обѣихъ сторонъ,—и когда двѣ роющія партіи встрѣтятся въ горѣ, тоннель, значитъ, прорытъ. Люди слѣпли, раздувая фитили, людей калѣчило при неумѣлыхъ взрывахъ, но „обѣ роющія партіи“ въ горѣ все не встрѣчались... Онѣ... разошлись въ разныя стороны! Ступивъ шагъ въ тайгу, гг. забайкальцы сейчасъ же завязали и съ ужасомъ должны были отступать назадъ. Они не знали даже, что дороги нужно окапывать канавами. Не окопанныя канавами таежныя „дороги“ заплывали, превращались въ болото.

Въ эту-то критическую минуту каторжный пароходъ и привезъ на Сахалинъ сапера.

Все, что сдѣлано на Сахалинѣ дѣльнаго и путнаго въ смыслѣ дорогъ, устройства поселеній, сдѣлано Ландсбергомъ. И Богъ вѣсть, какая бы судьба постигла сахалинскую колонію, если бы въ Петербургѣ не разыгралось трагическаго qui pro quo съ „угрозой“ ростовщика.

Если сейчасъ смотритель тюрьмы, взобравшись на гору, хвастливо вынимаетъ изъ кармана маленькій барометръ и съ видомъ ученаго начинаетъ „по давленію воздуха опредѣлять высоту горы“, это свѣдѣніе занесъ на Сахалинъ Ландсбергъ. Кругомъ все его ученики. Всѣ свѣдѣнія, которыя необходимы были для борьбы съ непроходимой тайгой, занесъ сюда онъ. Ученики иногда не слушались своего „учителя изъ ссыльно-каторжныхъ“, дѣлали „по-своему“ и немедленно же завязали. Памятниками этого „поступанья по-своему“ остались покинутыя, утонувшія въ болотѣ поселья, просѣки, брошенныя за ненадобностью, дороги, по которымъ надо восемь верстъ ѣхать три съ половиной часа.

Все, что дѣлалось „по-своему“, приходилось бросать и возвращаться къ планамъ Ландсберга. Тѣ работы, которыя предпринималъ на Сахалинѣ Ландсбергъ, показываютъ въ немъ умъ недюжинный, знанія большія и человѣка талантливаго.

Ландсбергъ на Сахалинѣ съ перваго же момента обратилъ на себя особое вниманіе. Даже туда проникла вѣсть о „знаменитомъ процессѣ“, и забайкальцы не могли не заинтересоваться „вчерашнимъ блестящимъ петербургскимъ офицеромъ, вращавшимся въ высшемъ обществѣ“.

Свѣтскій, образованный, на рѣдкость умный, еще болѣе ловкій карьеристъ по натурѣ, Ландсбергъ сразу головой выдѣлился среди всего окружающаго.

— Знаете, — разсказываютъ моряки, въ тѣ времена плававшіе на Сахалинъ,—подходишь, бывало, къ Дуэ. На пристани, натурально, стоятъ всѣ тамошніе служащіе. И сразу, съ перваго взгляда, самый порядочный изо всѣхъ Ландсбергъ. Видна птица по полету.

Но самое главное это, конечно, то, что онъ былъ саперъ. Онъ построилъ имъ пристань, которая не рушилась, кое-какъ, но все-таки поправилъ злосчастный тоннель, и они имѣли возможность отправить въ Петербургъ телеграмму объ открытіи кривого тоннеля, по которому никто не ѣздитъ, въ которомъ только бѣглымъ удобно сидѣть, который никому не нуженъ.

— Тоннель прорытъ.

Дорога нужна,—Ландсбергъ показывалъ, какъ это сдѣлать.

Ландсбергъ сразу сталъ на Сахалинѣ „бариномъ" и получилъ отъ каторги эту кличку. Онъ распоряжался работами, командовалъ партіями рабочихъ, фактически былъ начальникомъ, жилъ не въ тюрьмѣ, и ему говорили „вы",—почесть на Сахалинѣ рѣдкая.

Но это положеніе, которое Ландсбергъ сразу занялъ, было и труднымъ положеніемъ. Безграмотные всегда ненавидятъ грамотныхъ. И сахалинскихъ служащихъ глубоко возмущало „привилегированное положеніе ссыльно-каторжнаго".

— Словно ровня.

Не знаю, какія наказанія приходилось переносить Ландсбергу, объ этомъ съ нимъ разговоръ поднимать было, конечно, неловко, но ему приходилось переживать трудныя минуты. Вотъ одинъ изъ случаевъ. Сахалинскій служащій К. особенно возмущался „привилегированностью" Ландсберга.

— Я ему покажу „привилегированность"!—это превратилось въ пунктъ помѣшательства К.

Однажды онъ засталъ Ландсберга въ кабинетѣ одного изъ служащихъ. Сидѣли и разговаривали. Этого только К. и нужно было:

— Что? Какъ? Сидѣть въ присутствіи начальства? Каторжнику? Заковать въ кандалы! Посадить на недѣлю въ карцеръ!

И Ландсбергъ въ кандалахъ высидѣлъ недѣлю на хлѣбѣ и на водѣ, въ темномъ карцерѣ, а К. гордился:

— Каково я *самому* Ландсбергу задалъ!

Съ другой стороны и каторгу возмущала „несправедливость".

— За то же сосланъ, что и мы. Можетъ, еще хуже!

Каторга ненавидѣла „барина", „бѣлоручку", „подлипалу", самозванное начальство, и Ландсбергу надо было держаться очень и очень насторожѣ. При малѣйшемъ подозрѣніи, что онъ „держитъ руку начальства", каторга его бы убила.

Тутъ ужъ ему помогла, быть-можетъ, свѣтская ловкость. Онъ умѣлъ поддерживать отношенія и съ нашими и вашими. И начальство было довольно и для каторги онъ оставался „товарищемъ", подчиняющимся ея законамъ. Ловкость, хитрость и изворотливость все время были въ ходу и пускались въ дѣло все долгое время каторги. На Сахалинѣ извѣстенъ, напримѣръ, случай, когда Ландсбергъ спасъ жизнь одному изъ служащихъ. Каторга ненавидѣла этого служащаго, рѣшила его убить на дорожныхъ работахъ, и Ландсбергу было приказано привести его въ засаду.

Привести—рисковать головой. Ослушаться каторги—тоже рисковать головой.

Ландсбергъ придумалъ хитрую механику. Онъ повезъ служащаго въ засаду, но по дорогѣ, еще далеко отъ засады, экипажъ „вдругъ" сломался, и Ландсбергъ убѣдилъ начальство:

— Пѣшкомъ все равно на работы опоздаемъ. Вернемся лучше обратно въ постъ.

И служащій былъ спасенъ и приказаніе каторги не нарушено: везъ человѣка, да не довезъ, не по своей волѣ. А на слѣдующій день Ландсбергъ раскассировалъ зачинщиковъ по разнымъ работамъ,—разъединилъ, и объ засадѣ не могло быть и рѣчи.

Кончивъ каторгу и выйдя на поселеніе, Ландсбергъ завелъ лавочку, въ которой продается все: дуги и гармоники, ситцы и деготь, кнутовища и конфеты.

Это какое-то умѣнье найтись всегда и во всѣхъ положеніяхъ. Превратившись въ мелкаго лавочника, блестящій гвардейскій офицеръ сразу оказался великолѣпнымъ, мелкимъ лавочникомъ. Онъ повелъ дѣло отлично. Его лавочка росла и росла. Онъ заводилъ связи съ торговыми фирмами.

И когда я поѣхалъ къ Карлу Христофоровичу Ландсбергу,—на мачтѣ, около его хорошенькаго, чистенькаго домика развѣвался флагъ пароходнаго общества: онъ представитель крупнаго страхового общества, у него контора транспортнаго общества, онъ агентъ пароходной компаніи.

Лавочка у него осталась,—цѣлый магазинъ! но въ ней торгуютъ приказчики, а онъ только наблюдаетъ хозяйскимъ окомъ.

За сигарой онъ бесѣдовалъ со мной о компаніи каменноугольныхъ копей и о компаніи для эксплуатаціи рыбныхъ промысловъ,—двухъ крупныхъ компаніяхъ, которыя онъ затѣваетъ.

Ландсбергъ кончилъ поселенчество и крестьянство. Теперь онъ мѣщанинъ города Владивостока, ѣздитъ отъ времени до времени за границу, въ Японію,—могъ бы, если бы захотѣлъ, вернуться въ

Россію, но живетъ на Сахалинѣ, въ комфортабельномъ домикѣ, изъ оконъ котораго открывается видъ на пали кандальной тюрьмы...

Ландсбергъ женатъ на очень милой женщинѣ, акушеркѣ, пріѣхавшей служить на Сахалинъ.

И трудно отыскать болѣе нѣжную пару. Богъ вѣсть, нашелъ бы онъ въ Россіи такое же семейное счастье, какое отыскалъ на Сахалинѣ.

Такъ странно смотрѣть на этихъ двухъ людей.

Словно крѣпко охватившіе другъ друга, спасшіеся послѣ кораблекрушенія.

II.

Въ каютъ-компаніи парохода „Ярославль" было шумно и накурено. Пароходъ пришелъ въ ночь, и теперь, раннимъ утромъ, каютъ-компанія была полна служащими, явившимися принимать привезенныхъ арестантовъ. Цѣлая коллекція гоголевскихъ типовъ! Капитанъ по очереди знакомилъ меня со всѣми. И когда очередь дошла до сидѣвшаго за столомъ, что-то очень весело и оживленно разсказывавшаго человѣка, сказалъ:

— Карлъ Христофоровичъ Ландсбергъ.

Въ поданной мнѣ рукѣ я почувствовалъ согнутый мизинецъ. И это прикосновеніе подѣйствовало на меня, какъ электрическій токъ.

Этотъ мизинецъ былъ одной изъ уликъ противъ Ландсберга. Онъ порѣзалъ его, когда рѣзалъ Власова.

— Я очень радъ съ вами познакомиться. Губернаторъ говорилъ мнѣ, что вы прислали ему телеграмму.

Онъ говорилъ очень пріятнымъ голосомъ, въ которомъ звучала любезность.

Высокій, красивый и представительный господинъ, въ усахъ, съ сѣдиной въ волосахъ, но моложавый. Ландсбергу теперь, вѣроятно, подъ пятьдесятъ, но на видъ гораздо меньше. Онъ сохранилъ моложавое лицо и почти юношески-стройную фигуру. Онъ—сама предупредительность. Быть-можетъ, онъ даже слишкомъ предупредителенъ,—въ немъ есть что-то заискивающее;онъ никогда не говоритъ иначе какъ съ любезнѣйшей улыбкой.

Но когда, пожимая другъ другу руки, мы встрѣтились глазами, мнѣ показалось, что я словно нечаянно дотронулся до холодной стали.

Смѣется онъ или разсказываетъ что-нибудь для него тяжелое, оживлено у него лицо или нѣтъ,—у него играетъ только одно лицо. Сѣрые, свѣтлые глаза остаются одними и тѣми же, холодными,

спокойными, стальными. И вы никакъ не отдѣлаетесь отъ мысли, что у Ландсберга такими же холодными и спокойными глаза оставались всегда.

— Тяжелые глаза!—замѣчали и служащіе всякій разъ, какъ разговоръ заходилъ о Ландсбергѣ.



К. Х. Ландсбергъ и его жена.

— Вы на глаза-то посмотрите!—со злобой говорили не любящіе Ландсберга каторжане и поселенцы.—Смотритъ на тебя, и словно ты для него не человѣкъ.

Пароходъ привезъ Ландсбергу для лавочки конфеты и печенье, и Ландсбергъ, обмѣниваясь любезными шуточками съ гг. служащими, очень ловко на пристани укладывалъ этотъ воздушный товаръ, словно подарки везъ на именины. Такое странное впечатлѣніе производилъ этотъ торговецъ съ красивыми, элегантными движеніями.

Попрощавшись со всѣми, онъ сѣлъ въ собственный экипажъ и приказалъ кучеру:

— Пошелъ!

— Куда прикажете, баринъ?—спросилъ кучеръ изъ поселенцевъ.

— Домой!

Ландсбергъ еще разъ съ любезнѣйшей улыбкой раскланялся со всѣми, крикнулъ начальнику округа:

— Такъ я васъ жду сегодня вечеркомъ. Новыя ноты съ пароходомъ пришли. Жена намъ на піанино сыграетъ.

И экипажъ поскакалъ.

— А кучеръ-то у него, какъ и онъ, за убійство съ цѣлью грабежа присланъ!—сказалъ мнѣ начальникъ округа.—У насъ, батенька, тутъ много удивительныхъ вещей увидите!

Ландсбергъ сохранилъ свой великолѣпный французскій языкъ и давится, какъ всѣ сахалинцы, на словѣ „каторга".

— Когда я былъ еще... рабочимъ!—говоритъ онъ, слегка краснѣетъ и опускаетъ глаза.

Мы съ нимъ никогда не называли Сахалина по имени, а говорили:

— Этотъ островъ.

Ландсбергъ черезъ 25 лѣтъ тюрьмы и каторги пронесъ невредимыми свои изящныя „гостиныя" манеры, но есть нѣчто поселенческое въ той торопливости, съ которой онъ сдергиваетъ съ головы шляпу, если неожиданно слышитъ:

— Здравствуйте!

Эта особая манера снимать шапку, пріобрѣтаемая только въ каторгѣ.

И по этой манерѣ вы видите, что нелегко досталась Ландсбергу каторга. Бывали-таки, значитъ, столкновенія.

Этому человѣку, изъ оконъ котораго „открывается видъ" на пали каторжной тюрьмы, тяжело всякое воспоминаніе о своемъ „рабочемъ" времени.

Когда онъ касается этого времени, онъ волнуется, тяжело дышитъ и на лицѣ его написана злость.

А когда онъ говоритъ о каторжанахъ, вы чувствуете въ его тонѣ такое презрѣніе, такую ненависть. Онъ говоритъ о нихъ, словно о скотѣ.

Съ этими негодяями не такъ слѣдуетъ обращаться. Ихъ распустили теперь. Гуманничаютъ.

И каторга, въ свою очередь, презираетъ и ненавидитъ Ландсберга и выдумываетъ на его счетъ всякія страшныя и гнусныя легенды.

Служащіе водятъ съ нимъ знакомство, онъ одинъ изъ интереснѣйшихъ, богатѣйшихъ, а благодаря добрымъ знакомствамъ, вліятельнѣйшихъ людей на Сахалинѣ;—но въ разговорахъ о Ландсбергѣ они возмущаются:

— Пусть такъ! Пусть Ландсбергъ, дѣйствительно, единственный человѣкъ, котораго Сахалинъ возродилъ къ честной трудовой жизни. Но вѣдь нельзя же все-таки такъ! Такое ужъ спокойствіе. Чувствуетъ себя великолѣпно, — словно не онъ, а другой кто-то сдѣлалъ!

Такъ ли это? Одинъ разъ мнѣ показалось, что зазвучало „нѣчто" въ словахъ этого „человѣка не помнящаго прошлаго".

Всѣ стѣны уютной и комфортабельной гостиной Ландсберга увѣшаны портретами его дѣтей, умершихъ отъ дифтерита. Объ нихъ и шла рѣчь.

— И вѣдь никогда здѣсь, на этомъ островѣ, дифтерита не было... Вольноследующіе занесли. Дѣти заболѣли и всѣ умерли. Всѣ. Словно наказаніе.

И, сказавъ это слово, Ландсбергъ остановился, лицо его стало багрянымъ, онъ наклонилъ голову, и нѣсколько минутъ длилось молчаніе.

Это были самыя тяжелыя минуты, которыя мнѣ приходилось провести въ жизни.

— Что же это я забылъ? Идемъ чай пить! — овладѣлъ собой и „весело" сказалъ Ландсбергъ, и мы пошли въ столовую, гдѣ лакей изъ поселенцевъ, во фракѣ и перчаткахъ, подавалъ намъ чай.

Это былъ одинъ единственный разъ, когда „нѣчто" словно поднялось со дна души. А часто Ландсбергъ ставитъ собесѣдника прямо въ неловкое положеніе. Это, — когда онъ говоритъ о „распущенности... рабочихъ":

— Здѣсь, на этомъ островѣ, Богъ знаетъ, что дѣлается. Убійства съ цѣлью грабежа каждый день. Убійства съ цѣлью грабежа! И съ такими господами еще церемонничаютъ.

Иногда Ландсбергъ приводитъ, дѣйствительно, въ недоумѣніе.

— Не собираетесь въ Россію?—спросилъ я Ландсберга.

— Хочется съѣздить, матушка-старушка у меня есть. Хочетъ меня передъ смертью еще разъ повидать. А совсѣмъ переѣзжать, — нѣтъ. Тутъ займусь еще. Долженъ же я съ этого острова что-нибудь взять. Не даромъ же я здѣсь столько лѣтъ пробылъ.

Дѣйствительно, словно человѣкъ по дѣламъ сюда пріѣхалъ. А „сдѣлалъ" не онъ, а кто-то другой.

— Вотъ на что слѣдуетъ обратить вниманіе!—говорилъ мнѣ въ другой разъ Ландсбергъ,—и такимъ взволнованнымъ я его никогда

не видалъ.—Вотъ на что. На пожизненность наказанія. Наказывайте человѣка, какъ хотите, но когда-нибудь конецъ этому долженъ же быть. Оттерпѣлъ человѣкъ все, что ему приходится, и покончите съ этимъ, верните все, что онъ имѣлъ. Не лишайте человѣка на всю жизнь всѣхъ правъ. Неужели взрослый, пожилой мужчина долженъ терпѣть за то, что сдѣлалъ когда-то мальчишка?

И въ его тонѣ слышалось такое презрѣніе къ „сдѣлавшему" когда-то „мальчишкѣ".

Я смотрѣлъ на страшно взволнованнаго Ландсберга и думалъ:

— Вотъ, значитъ, кто этотъ „другой", который „сдѣлалъ".

Таковъ этотъ „знаменитый" человѣкъ.

Не случись 25 лѣтъ тому назадъ трагическаго qui pro quo, — кто знаетъ, чѣмъ былъ бы теперь Карлъ Христофоровичъ Ландсбергъ.

Если человѣкъ даже на Сахалинѣ, — и то сумѣлъ выйти въ „люди".

Дѣдушка русской каторги.

Милый, добрый, славный дѣдушка, спишь ты теперь въ „Рачковой заимкѣ", на каторжномъ кладбищѣ поста Александровскаго, подъ безыменнымъ крестомъ, спишь тихимъ, вѣчнымъ сномъ. Что грезится тебѣ тамъ послѣ твоей многострадальной жизни?

Матвѣй Васильевичъ Соколовъ—„дѣдушка русской каторги".

Старше его въ каторгѣ не было никого. Онъ отбылъ:

— Пятьдесятъ лѣтъ чистой каторги.

Да предстояло еще:

— Мнѣ, братъ, три вѣка жить надобно, — улыбаясь беззубымъ ртомъ, говорилъ Матвѣй Васильевичъ,—у меня, братъ, три вѣчныхъ приговора.

Человѣкъ, трижды приговоренный къ безсрочной каторгѣ, съ безсрочной „испытуемостью".

Другого такого не было во всей каторгѣ.

По закону, такого страшнаго преступника должны въ теченіе всей жизни держать въ кандальной тюрьмѣ, и если онъ куда идетъ, отправлять не иначе, какъ въ сопровожденіи часового съ ружьемъ.

А Матвѣю Васильевичу Соколову разрѣшили жить себѣ въ столярной мастерской безо всякаго надзора.

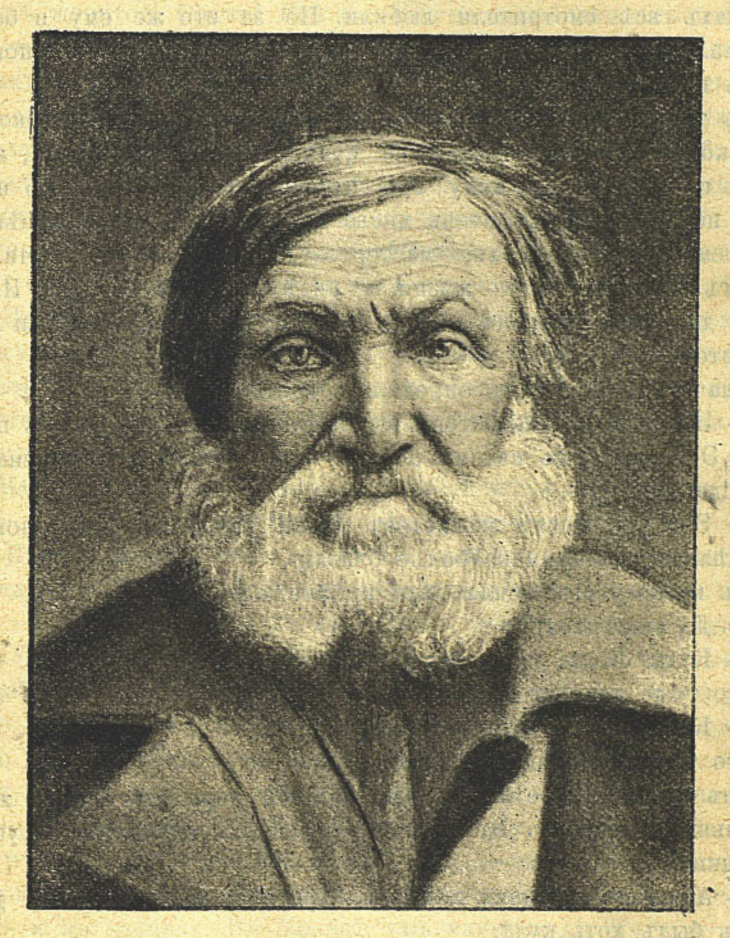
Онъ спалъ на верстакѣ, зиму и лѣто кутаясь въ старый полушубокъ, дрожа своимъ старческимъ тѣломъ.

— Только водкой и дышу! Проснешься поутру, — ни рукъ ни ногъ нѣтъ, грудь заложитъ, дышать нечѣмъ. Выпьешь чайную ча-

шечку водки,—и опять человѣкъ! Я, ваше высокоблагородіе, пьяница природный!

— Матвѣй Васильевичъ потому и работать не могутъ, что они лакъ пьютъ! — подшучивали другіе каторжане, работавшіе въ столярной.

— Какъ такъ,—лакъ?



Дѣдушка русской каторги Матвѣй Васильевичъ Соколовъ.

— А это я, когда водчонки нѣтъ, — улыбался дѣдушка, — лакъ отстоится, снизу-то муть, а сверху чистый спиртъ. Я его водицей разбавлю и пью. Чисто водка. Такъ по жилкамъ и побѣжитъ, и побѣжитъ огонечкомъ этакимъ. Въ рукахъ, ногахъ тепло сдѣлается. Въ себя прихожу.

Въ богадѣльню Матвѣй Васильевичъ ни за что не хотѣлъ.

— Какой я богадѣльщикъ! Я человѣкъ мастеровой, я въ мастерской буду работать!

Работать онъ, по старости лѣтъ, не могъ. Такъ только „ковырялся“.

Но столяръ онъ былъ тонкій, превосходный. За это его во всѣхъ тюрьмахъ всѣ смотрители любили. Но за это же ему и больнѣе доставалось, когда онъ бѣгалъ. Этакій столяръ сбѣжалъ,—поневолѣ злость возьметъ.

Въ то время, какъ я его зналъ, онъ жилъ въ мастерской ужъ на покоѣ, его всѣ величали не иначе, какъ „дѣдушкой“, или по имени и отчеству, къ нему всѣ относились съ какимъ-то невольнымъ почтеніемъ: ужъ очень много выстрадалъ этотъ человѣкъ.

Всему, что онъ зналъ,—мастерству, грамотѣ,—онъ выучился въ каторгѣ. Онъ ничего въ жизни не видѣлъ, кромѣ каторги. И самое время для него дѣлилось на два періода: „до эшафотовъ“ и „послѣ эшафотовъ“.

Иначе онъ не умѣлъ опредѣлять время.

— Это еще до эшафотовъ было! Когда еще эшафотовъ не вводили! Эшафоты ужъ потомъ пошли!—опредѣлялъ онъ времена давно прошедшія.

— Это ужъ послѣ эшафотовъ было! Когда эшафоты пошли!—опредѣлялъ онъ времена болѣе близкія.

Въ каторгу онъ попалъ при крѣпостномъ правѣ.

— До эшафотовъ?

— Куда! Когда еще кнутомъ наказывали.

Это тоже для него „эра“.

— Клейма ужъ потомъ ввели!

Это тоже опредѣленіе времени.

Онъ былъ крѣпостнымъ, изъ богатой торговой семьи, жившей въ Ельцѣ на оброкѣ. Въ каторгу онъ былъ осужденъ за убійство дѣвушки.

— Афимьей дѣвушку-то звали. Красивая была Афимья. Да и я парень былъ хоть куда.

И Матвѣй Васильевичъ улыбался, вспоминая, какой онъ былъ смолоду.

— Видный былъ парень, пьяница я былъ, дуракъ былъ, озорникъ. У-ухъ! Мы и спутались. „Афимья, — говорю, — хошь за меня замужъ?“ — „Хочу!“ — говоритъ. Потому ей лестно: и нравился и изъ семьи богатой. Ну, и спутались. По нашимъ мѣстамъ это бывало: женихъ съ невѣстой путаются.

— Да ты-то, дѣдушка, ее любилъ?

— Говорю, страсть какъ любилъ! Такъ любилъ,—извѣстно, дуракъ былъ. Попутались,—надо вѣнчаться. Тутъ батюшка съ матушкой на дыбы. Потому у меня старшой братъ женатый былъ тоже, какъ я. Онъ съ женой со своей сначала путался, а потомъ женился. Батюшка съ матушкой: „Ни за что! Что жъ это? Второй сынъ на покрыткѣ женится! Срамъ! Всѣ сыновья на полюбовницахъ женятся! Ни за что!“ Семья была богатая, гордая. Ни за что да ни за что. Я и такъ и сякъ: „Не смѣть!“ Тутъ она видитъ, что свадьбѣ не быть,—меня отъ себя гнать зачала: „Больно, молъ, ты мнѣ нуженъ!“ И зачала съ другими гулять. Мнѣ, стало-быть, назло. Пущай, молъ, всѣ видятъ! Потому наши-то семейные ее ославили: „Съ Матвѣемъ, молъ, путалась! А теперь, шкура, къ намъ въ родню лѣзетъ!“ Такъ, на-те, молъ, вамъ, какъ мнѣ вашъ Матвѣй нуженъ! А я-то на стѣну, я-то на стѣну. Пью,—съ того и пить началъ. Объ масленой дѣло-то было. По нашимъ мѣстамъ парни съ дѣвками съ горъ катаются. Прихожу на гору, смотрю: она съ другимъ съ горы — порзь да порзь! Хмельной я былъ. Думаю: убью его, и ничего мнѣ за это не будетъ! Вѣдь этакій дуракъ былъ! Этакое вдругъ вздумалъ: человѣка убью и ничего мнѣ за это не будетъ!

И Матвѣй Васильевичъ качалъ головой и посмѣивался надъ молодымъ человѣкомъ, удумавшимъ такую глупость.

— Пошелъ домой, взялъ ружье со стѣнки, прихожу, приложился вотъ этакъ, — Матвѣй Васильевичъ показывалъ, какъ онъ приложился, — „пу-у“, Афимья-то не своимъ голосомъ закричала да и упала. Упала да и умерла. Думалъ-то въ него, а попалъ въ нее. Не разобралъ съ пьяныхъ-то глазъ. Тутъ мнѣ лопатки и скрутили. Тутъ-то отъ меня всѣ и отступились. И батюшка съ матушкой,— царство имъ небесное, — и братья, и всѣ родные. Семья-то была богатая, гордая семья, и этакій вдругъ срамъ на всѣхъ нагналъ. А?? Острожникъ! Оно бы, можетъ, дать—такъ полегче бы было, да они и руками и ногами: „Знать,—говорятъ,—острожника не хотимъ. Осрамилъ онъ насъ на всю жизнь“. Меня и присудили: кнутомъ 10 ударовъ и въ каторгу. Въ Москвѣ ужъ наказывали. Тутъ я только Москву и видѣлъ, какъ на Конную везли. Хорошій, должно-быть, городъ,—только мнѣ въ тѣ поры не до того было. Посадили меня на телѣгу, спиной къ лошади, и повезли. А кругомъ-то народу! А кругомъ-то народу! Мальчишки за телѣгой бѣгутъ, глядятъ, пальцами показываютъ. Не знаешь, куда и глядѣть. Купцы изъ лавокъ выходятъ, смотрятъ. Деньги которые въ телѣгу кидаютъ. Палачъ со мной ѣхалъ въ телѣгѣ, собираетъ. „Тебѣ, — говоритъ,—это!“ Я кланяюсь. Такъ и привезли на Конную. День базарный, народищу—

труба. Тогда еще эшафотовъ не было. Это ужъ потомъ эшафоты пошли, „срамить“ зачали. А тогда еще не „срамили“,—просто положатъ и отдерутъ. Положили меня, да какъ кнутомъ палачъ по голой спинѣ стегнетъ! Много меня пороли: драли и плетьми, и палками, и розгами, и комлями,—а больнѣе кнута ничего не было!

И этотъ человѣкъ, принявшій на своемъ вѣку тысячи плетей и палокъ и розогъ безъ числа и счета,—черезъ 50 лѣтъ содрогался, вспоминая 10 ударовъ кнута. Что жъ это было за наказанье!

— Думалъ, не жить! Чисто годъ пороли. А народъ-то все—деньги сыплетъ, сыплетъ. Сняли меня съ кобылы, въ гошпиталь положили, а потомъ вылежался,—въ каторгу поэтапнымъ порядкомъ послали. Муторно мнѣ въ тѣ поры пришлось. Водки бы. Да гдѣ жъ ея достанешь? Мастерства не зналъ, заработать негдѣ. Товарищъ мнѣ и говоритъ: „Хочешь, деньги будутъ? Какія хочешь, большія. Сами дѣлать будемъ!“ А мнѣ только водки. Угощаетъ онъ меня, мы деньги и дѣлаемъ. Поймали насъ,—да къ палкамъ. Его-то, какъ зачинщика, безъ помощи врача, а меня съ помощью.

— Какъ такъ—безъ помощи врача?

— А такъ въ тѣ поры было. Ставятъ въ два ряда солдатъ съ палками, привяжутъ къ такой телѣжечкѣ и везутъ. А они-то палками по спинѣ рразъ, рразъ! И возятъ, покеда все, къ чему сужденъ, не получишь. Онъ ужъ мертвый лежитъ, а его все рразъ, рразъ! Потому безъ помощи врача. А ежели съ помощью,—такъ докторъ рядомъ идетъ. Видитъ, что человѣкъ въ безпамятство приходить сталъ,—скажетъ: „стойте!“ спирту дастъ понюхать,—и потомъ опять начнутъ. За руку возьметъ, на часы посмотритъ: „Можно,—скажетъ.—еще сотню!“ А какъ увидитъ, что человѣкъ совсѣмъ плохъ, сейчасъ все пріостанавливаетъ, и человѣка въ гошпиталь. Отлежится тамъ человѣкъ, выздоровѣетъ, его опять на наказанье поведутъ. Такъ до тѣхъ поръ, пока всего своего не получитъ. Товарищъ, царство ему небесное, тотъ сразу, безъ помощи врача кончился. А меня, почитай, цѣлый годъ драли, пока всего не выдали. Такъ годъ въ гошпиталѣ все и вылеживался. Вылежусь, опять дадутъ.

Затѣмъ палокъ, плетей и розогъ Матвѣй Васильевичъ получилъ неисчислимое количество:

— На траву я все ходилъ!—улыбаясь, говорилъ онъ

— Какъ „на траву“?

— А такъ, зиму ничего, маячу въ тюрьмѣ. А придетъ весна, на траву и потянетъ. И бѣгу. Такъ кое-гдѣ лѣто шляюсь, въ работникахъ служу. А осень придетъ,—опять по тюрьмѣ скучно станетъ.

Къ товарищамъ иду. Сейчасъ мнѣ и плети, либо палки, съ прибавленіемъ сроку.

Такъ этими отлучками „на траву“ Матвѣй Васильевичъ и набилъ себѣ три безсрочныхъ каторги.

— А по манифестамъ тебѣ сбавки не было?

— Какіе же мнѣ манифесты? У меня три безсрочныхъ.

Все, что происходило въ мірѣ, неслось мимо этого человѣка, знавшаго только тюрьму, плети, розги. Такъ онъ и жилъ, весной тоскуя по волѣ, осенью возвращаясь въ тюрьму:

— Все-таки кормятъ!

Кромѣ безчисленныхъ „побѣговъ“, за Матвѣемъ Васильевичемъ никакихъ другихъ преступленій не было. Человѣкъ онъ былъ честнѣйшій: сами же служащіе давали ему деньги, — и иногда помногу денегъ,—на покупку матеріаловъ, и никогда онъ не пользовался ни копейкой.

— А бѣгать — бѣгалъ. И окромя весны. И все черезъ водку! Трезвый — ничего, а напьюсь — сейчасъ у меня первое: бѣжать. Сбѣгу, напьюсь,—попадусь! Пьяница я, ваше высокоблагородіе!

Черезъ водку мы съ Матвѣемъ Васильевичемъ и поссорились.

Друзья мы съ нимъ были большіе. Сколько разъ, изнуренный сахалинской „оголтѣлостью“, сахалинской „отчаянностью“, спрашивая себя: „да есть ли мѣра человѣческому страданію и человѣческому паденію?“—боясь сойти съ ума отъ ужасовъ, которые творились вокругъ,—я приходилъ къ этому старику и „отходилъ душой“ подъ его неторопливую старческую рѣчь. Онъ все пережилъ, все перестрадалъ,—и, старый старикъ, смотрѣлъ на все, вспоминалъ обо всемъ съ добродушной улыбкой. Сколько разъ, глядя на эту милую, кроткую улыбку человѣка, душа и тѣло котораго половину столѣтія такъ мучились, я спрашиваю себя:

— Есть ли мѣра благости и кротости и добротѣ души человѣческой?

Эта дружба поддерживалась маленькими услугами: каждое утро Матвѣй Васильевичъ ходилъ ко мнѣ на кухню, и кухарка должна была поднести ему чайную чашку, — непремѣнно чашку, это была его мѣра,—водки.

Спрашиваю какъ-то:

— Былъ дѣдушка?

— Никакъ нѣтъ-съ, — отвѣчаетъ кухарка.—Онъ ужъ нѣсколько дней какъ не ходитъ!

Пошелъ справиться: ужъ не заболѣлъ ли. Матвѣй Васильевичъ нехотя и сухо со мной поздоровался.

— Да что съ тобой, Матвѣй Васильевичъ? За что ты на меня сердишься?

— Что ужъ... Ничего ужъ...

— Да скажи, въ чемъ дѣло?

— Что ужъ тамъ! Ежели ты для меня, для старика, чайной чашечки водки пожалѣлъ, что же ужъ...

Оказывается, кухарка, глупая и злая баба, почему-то вдругъ, вмѣсто обычной „чашки водки“, поднесла Матвѣю Васильевичу рюмку:

— Всѣ пьютъ изъ рюмки, а ты что за принцъ такой! Много васъ тутъ найдется чашками водку хлебать!

Матвѣй Васильевичъ отказался и ушелъ:

— Я всю жизнь чашечкой пилъ!

И рѣшилъ, что это мнѣ для него водки стало жаль.

— Матвѣй Васильевичъ, Богомъ тебѣ клянусь, что я не зналъ даже объ этомъ! Да приходи ты, четверть тебѣ поставлю, стаканами хоть пей,—на здоровье!

— Нѣтъ, что ужъ... Пожалѣлъ... Чашечку водки пожалѣлъ... А я изъ-за нея, изъ водки, всю жизнь въ каторгѣ маюсь... А ты мнѣ чашечку пожалѣлъ...

И на глазахъ у старика были слезы. Онъ и смотрѣть на меня не хотѣлъ.

Почувствовавъ приближеніе смерти, Матвѣй Васильевичъ явился въ Александрійскій лазаретъ и спросилъ главнаго врача, Л. В. Поддубскаго.

— Умирать къ тебѣ пришелъ. Ты мнѣ того... и глаза самъ закрой, Леонидъ Васильевичъ!

— И полно тебѣ, старина! Ты еще на траву въ этомъ году пойдешь!

— Нѣтъ, братъ, на траву я больше не пойду.

— Да что жъ у тебя болитъ, что? А?

— Нѣтъ, болѣть ничего не болитъ. А только чувствую, смерть подходитъ. Ты ужъ меня того, положи къ себѣ... И глаза самъ закрой, Леонидъ Васильевичъ!

Желаніе старика исполнилось.

Окруженный попеченіями, пролежавъ въ лазаретѣ два дня, онъ тихо и безболѣзненно скончался, словно заснулъ, отъ старческой дряхлости. И при послѣднихъ минутахъ его былъ, „глаза ему закрылъ“ Л. В. Поддубскій.

Такъ умеръ „дѣдушка русской каторги“.

Однажды докторъ Н. С. Лобасъ далъ Матвѣю Васильевичу бумаги, чернилъ, перьевъ:

— Дѣдушка, ты столько помнишь. Что бы тебѣ въ свободное время сѣсть да и записать, что припомнишь. Свое жизнеописаніе.

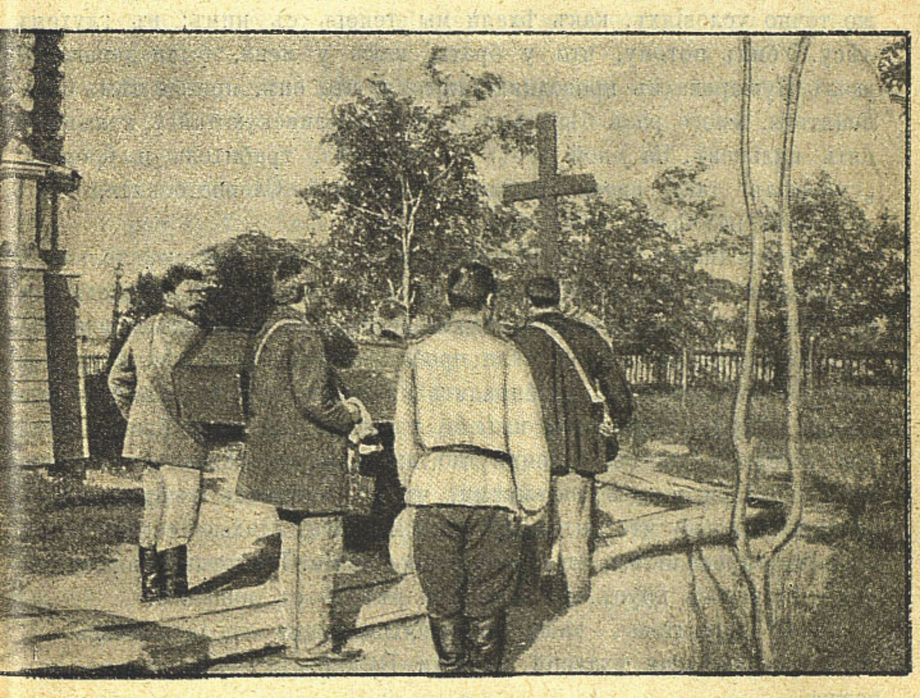
— А что жъ! Съ удовольствіемъ!—согласился Матвѣй Васильевичъ и на слѣдующій день принесъ назадъ бумагу, перья, чернила и четвертушку бумаги, съ одной стороны которой было написано.

— Вотъ. Написалъ.

— Что?

— Жизнеописаніе.

И онъ подалъ четвертушку:



Похороны на Сахалинѣ.

„Жизнеописаніе сс.-каторжнаго Матвѣя Васильева Соколова. Приговоренъ къ тремъ безсрочнымъ каторгамъ. Чистой каторги отбылъ 50 лѣтъ. Получилъ:

„Кнута—10 ударовъ.

„Плетей—столько-то тысячъ.

„Палокъ—столько-то тысячъ.

„Розогъ—не припомню сколько.

„Сс.-каторжный Матвѣй Соколовъ“.

— Все жизнеописаніе?

— Все.

Святотатецъ.

Усталый, разбитый, измученный, пробирался я чрезъ тайгу съ моимъ проводникомъ, сс.-каторжнымъ Бушаровымъ.

Бушаровъ стоитъ того, чтобъ сказать о немъ нѣсколько словъ. Въ ссорѣ его называютъ:

— Каинъ!

Онъ убилъ родного брата съ цѣлью грабежа. Убилъ при такихъ же точно условіяхъ, какъ ѣхали мы теперь съ нимъ: въ глухомъ лѣсу. Убилъ потому, что у брата, какъ у меня, были деньги. Я взялъ Бушарова въ проводники потому, что онъ, прежде чѣмъ остепениться, много разъ бѣгалъ и зналъ Сахалинскую тайгу, какъ свои пять пальцевъ. За мной этотъ братоубійца, грабитель и бродяга, „смотрѣлъ" такъ, словно я былъ стеклянный. Словно боялся, что я вотъ-вотъ разобьюсь вдребезги.

А приходилось трудно. По тундрѣ, поросшей тайгою, только и пробраться, что выросшей въ тайгѣ сахалинской лошади. Приходилось прыгать черезъ ямы, черезъ стволы огромныхъ упавшихъ деревьевъ. Лошади осторожненько сначала пробивали копытомъ мѣсто, прежде чѣмъ на него ступить, пробирались по корнямъ деревьевъ, высунувшимся наружу, срывались, падали, увязали въ топь по брюхо. Паръ отъ лошадей валилъ. Ежеминутно приходилось бѣдныхъ, измученныхъ лошадей лупить нагайками, чтобы заставить выбраться изъ трясины. Только что вытащитъ заднія ноги, глядь — сорвалась съ корешка, провалилась въ трясину передними. То летишь черезъ голову, то черезъ крупъ, то валишься вмѣстѣ съ лошадью.

— Поддержитесь, ваше высокоблагородіе, поддержитесь! — подбадривалъ меня ѣхавшій впереди Бушаровъ. — Скоро тутъ сторожка.

Прорубили сквозь тайгу просѣку, поморили на этой нечеловѣческой работѣ много народу, — а по просѣкѣ ни пройти ни проѣхать: на чемъ поѣдешь по тундрѣ? Понаставили сторожекъ „охранять просѣку", и хоть просѣка брошена, но все же въ каждую сторожку, по старой памяти, назначаютъ по два сторожа каторжанъ.

Было ужъ подъ вечеръ, когда мы добрались до просѣки и до сторожки. Въ сторожкѣ былъ только одинъ сторожъ—старикъ. Другой ушелъ на нѣсколько дней въ „постъ" за провіантомъ.

Я не помню, какъ добрался до лавки, легъ и заснулъ, какъ убитый. Проснулся я раннимъ утромъ. Старикъ стоялъ на колѣняхъ

и шопотомъ молился на маленькій, темненькій образокъ, висѣвшій въ углу.

Перевирая и коверкая, онъ прочелъ „Богородицу", „Отче нашъ", „Царю небесный", изъ пятаго въ десятое „Вѣрую" и началъ молиться отъ себя.

— Покровъ Пресвятой Богородицы, помилуй насъ! Успленье Божіей Матери, помяни и заступи грѣхи наши! Казанская Матерь Божія, помилуй насъ! Помяни, Господи, рабовъ Божіихъ (такихъ-то) за упокой! Помяни, Господи, рабовъ Божіихъ (такихъ-то), невѣмъ аще за упокой, аще во здравіе! Помяни мя, Господи, егда пріидеши во царствіе Твое.

Положилъ долгій - долгій земной поклонъ. Затѣмъ поднялся, сказалъ:

— Аминь.

Перекрестился еще нѣсколько разъ и пошелъ.

— Здравствуй, дѣдъ!

— Здравствуй, ваше высокоблагородіе.

Бушаровъ ужъ ждалъ меня съ горячимъ мѣднымъ чайникомъ, который онъ всегда въ экскурсіяхъ возилъ съ собой, вмѣстѣ съ провизіей и съ завтракомъ: раскрытой баночкой... страсбургскаго паштета и коробкой сардинъ. Въ лавкахъ колонизаціоннаго фонда, созданнаго для удовлетворенія потребностей каторжанъ, поселенцевъ и мелкихъ чиновниковъ, ничего, кромѣ страсбургскаго паштета и сардинокъ, достать нельзя. Такъ это все разумно устроено.

И мы усѣлись около сторожки, ѣсть въ тайгѣ паштетъ изъ гусиныхъ печенокъ съ трюфелями и сардины въ деликатесномъ маслѣ!

— Дѣдъ, выпей съ нами чайку!

Старикъ постоялъ, постоялъ:

— Спасибо за ласку. Побалуюсь!

И какъ я ихъ ни уговаривалъ сѣсть вмѣстѣ со мной, не соглашались. Я сидѣлъ на крылечкѣ, старикъ и Бушаровъ — поодаль. Иначе:

— Не порядокъ!

А порядокъ старикъ, видимо, любилъ. Выпивъ чашку, онъ выплескивалъ остатки въ траву, переворачивалъ чашку кверху донышкомъ, клалъ на донышко огрызокъ сахару и говорилъ:

— Благодарствую на угощеніи!

— Да ты бы, дѣдъ, еще выпилъ!

— Нѣтъ уже, благодарствую.

И только по третьему разу говорилъ:

— Ну, ужъ ежели такая ваша милость, налейте! Грѣхъ, а побалуюсь.

Сардины у дѣда вызвали улыбку:

— Безголовая рыбешка-то!

А паштета онъ попросилъ еще:

— Да-ко-сь замазки-то!

Чай онъ пилъ съ жадностью:

— Давно не баловался. Почитай, полгода, какъ чайкю не пилъ!

Старикъ былъ хмурый, неразговорчивый, но угощеніе и чай развязали ему языкъ.

— Ты, что же, дѣдъ, въ постъ-то когда ходишь?

— Нѣтъ. За пайкомъ Михайло ходитъ. Онъ помоложе. А мнѣ чего ходить? Чего тамъ дѣлать? Года два, какъ не былъ.

— Такъ и живешь здѣсь, людей не видя?

— Какіе жъ здѣсь люди? Такъ когда—ведмѣдь къ сторожкѣ забредетъ, отпугнемъ. Аль бо которые шлющіе...

— Бродяги, то-есть!—пояснилъ Бушаровъ.

— Они самые. Придетъ, отогрѣется, хлѣбушка попроситъ,—дашь, переночуетъ,—дальше пойдетъ. А люди какіе же!

— И не боязно, дѣдъ?

— Чего же бояться-то? Бога бояться надо, а людей нечего. Ни я людямъ ничего не сдѣлалъ ни люди мнѣ. Чего жъ мнѣ ихъ бояться?

Старикъ сталъ разговорчивъ и довѣрчивъ, теперь можно было ему предложить и самый щекотливый вопросъ:

— А за что ты, дѣдъ, сюда попалъ? На Сахалинъ?

Старикъ въ это время допилъ послѣднюю чашку чаю, подъѣлъ съ ладони всѣ хлѣбныя крошки и перекрестился три раза.

— За ограбленіе святыхъ Божіихъ церквей.

Признаюсь, я ожидалъ всего, кромѣ этого.

— Какъ такъ?

— А такъ.

— Какъ же это ты такъ? Спьяна, что ли?

— Зачѣмъ спьяна. Трезвый. Я съ молодыхъ годовъ ничѣмъ больше и не займался! Все по церквамъ. Церквей 30 обобралъ, можетъ, и больше. А тутъ на 31 Богу не угодилъ, и попался.

— Какъ же это такъ... Вѣдь преступленіе-то какое...

— Какое жъ преступленіе?

Старикъ посмотрѣлъ на меня строго и серьезно.

— Я никого не обижалъ. Я у людей ничего не бралъ. Я бралъ у Бога. Да у Бога-то бралъ то, что Ему не нужно. Богъ мнѣ и отдавалъ, а какъ взялъ, видать, то, что Богу нужно,—Онъ меня и настигъ.

— Какъ же такъ, все-таки? Какъ, что Богу не нужно?

— Да вѣдь въ церквахъ-то все какое? Жертвованное? А что жъ ты думаешь, Богу-то всякая жертва угодна? Всякая?

Старикъ горячился.

— Другой мужикъ всю округу обдеретъ, нищими людей пуститъ, рубахи поснимаетъ, да въ церковь что пожертвуетъ, думаетъ, и святъ! Угодна такая жертва Господу? Нѣтъ, братъ, ты отъ трудовъ праведныхъ да съ чистымъ сердцемъ Господу Богу принеси,—вотъ это Ему жертва!

— Да ты-то почемъ знаешь, что Господу угодно, что нѣтъ?

— Этого намъ знать не показано. А только по слѣдствіямъ видать. Взялъ, ничего тебѣ за это не было, значитъ, Богъ тебѣ, что Ему не надоть отдалъ. Всю жисть ничего не было. Какія дѣла съ рукъ сходили, а тутъ и взялъ-то всего ничего, и споймали. Тронулъ, значитъ, что Богу Самому нужно, и постигнутъ. Значитъ, Богу кто отъ чистаго сердца да отъ праведнаго труда принесъ,—„жертва совершенная“ была. А я у Бога ее взялъ. За это теперь и казнись. Справедливость и премудрость Божія.

Мы помолчали.

— Какъ же ты это дѣлалъ? Церкви ломалъ?

— Случалось, и ломалъ! — неохотно проговорилъ старикъ. — Всяко бывало. Только я этого не люблю. Зачѣмъ храмъ Божій ломать? Намъ этого не полагается. Страшно, да и застичь скорѣй могутъ. А такъ, съ молитвой да тихохонько, оно и лучше. Останешься апосля авсенощной, спрячешься гдѣ-нибудь и замрешь. А какъ церкву запрутъ, и выйдешь. Предъ престольными образами помолишься, чтобъ Господь Богъ просвѣтилъ, не взялъ бы чего, что Ему угодно. Къ образамъ приложишься и берешь, что по душѣ. А утромъ, къ утренѣ церкви отворятъ, темно, всѣ сонные, — незамѣтно и уйдешь.

— И такъ всю жизнь?

— И этакъ цѣльную жисть.

— Ну, а этотъ образокъ, что въ уголкѣ виситъ, это тоже, можетъ-быть?

— Покровъ Пресвятой Богородицы-то? Говорю жъ тебѣ, два года тому въ посту былъ. Тамъ, на кладбищѣ, и взялъ. Со креста снялъ.

— Какъ же это такъ? И могилу, послѣднее упокоенье...

— А что жъ тамъ образу быть? На что ему подъ дождемъ-то мокнуть? Еще татарва возьметъ горшки у печки покрывать. „Дощечка!“ имъ все дощечка! Народецъ! А тутъ образъ въ своемъ мѣстѣ. Какъ порядокъ велитъ. Соблюдается.

— Ну, а здѣсь ты, что жъ, оставилъ старое? Здѣшнихъ церквей ужъ не трогаешь?

— А что въ здѣшнихъ церквахъ взять-то? Народъ-то здѣсь какой? Не знаете? Нешто здѣшній народъ о Богѣ думаетъ? Въ церкву онъ что понесетъ! Да онъ на водку лучше пропьетъ! Бога здѣшній народъ забылъ, и ихъ Господь Богъ позабылъ! У нихъ Богъ-то нищимъ останется, и они за это за самое голые ходятъ! Народъ! Глаза бы мои ихъ не видѣли! Оттого и въ постъ-то не хожу, черезъ народъ, черезъ этотъ. Чтобъ не видать ихъ. Грѣхъ одинъ.

И старый святотатецъ даже отплевывался, говоря о забывшемъ Бога народѣ.

— Чудной старикъ! — сказалъ Бушаровъ, когда мы ѣхали изъ сторожки. — Но только богобоязненный, страсть! Его всѣ такъ и знаютъ.

Аристократъ каторги.

— Извините,—сказалъ мнѣ однажды Пазульскій,—сегодня я не могу пойти къ вамъ въ контору поговорить. Нога болитъ. Вы не хотите ли, можетъ-быть, здѣсь поговоримъ?

— Здѣсь? Неудобно. При постороннихъ. Народу много!

— Эти?—Пазульскій кивнулъ головой на каторжанъ.—Не извольте безпокоиться. Ребята, выйдете-ка во дворъ, мнѣ съ бариномъ поговорить надо.

И всѣ 19 человѣкъ, содержавшихся въ одномъ „номерѣ" съ Пазульскимъ,—кто сидѣлъ въ это время, кто лежалъ, кто игралъ въ карты,—встали и, позвякивая кандалами, одинъ за другимъ, гуськомъ, покорно вышли.

А среди нихъ былъ Полуляховъ, сахалинская знаменитость. Митрофановъ, только что пойманный послѣ необычайно дерзкаго побѣга, Мыльниковъ-Прохоровъ, перерѣзавшій на своемъ вѣку человѣкъ двадцать, двое изъ Владивостока, приговоренные къ смертной казни и всего двѣ недѣли тому назадъ помилованные на эшафотѣ, Шаровъ, отчаяннѣйшая башка въ цѣломъ мірѣ, совершившій прямо невѣроятный побѣгъ: среди бѣлаго дня онъ спрыгнулъ съ палей прямо на часового, вырвалъ у него ружье и бросился въ тайгу, Школкинъ, ждавшій себѣ смертной казни за убійство, Балдановъ, зарѣзавшій поселенца за 60 копеекъ, и другіе.

И всѣ эти люди часа три проходили по двору, пока Пазульскому угодно было бесѣдовать со мною о разныхъ предметахъ.

Я собирался ѣхать въ Рыковское. Узнавъ объ этомъ, Пазульскій предложилъ мнѣ:

— Хотите, я вамъ дамъ рекомендательныя письма? Тамъ, въ тюрьмѣ, есть люди, которые меня знаютъ.

Онъ далъ мнѣ нѣсколько записокъ, въ которыхъ просилъ принять меня хорошо, сообщалъ, что я человѣкъ „безопасный“ и съ начальствомъ ничего общаго не имѣю.

Рекомендація Пазульскаго сослужила больше службы, чѣмъ всѣ распоряженія показать мнѣ все, что я пожелаю видѣть. Рекомендаціи Пазульскаго было довольно, чтобъ я пріобрѣлъ полное довѣріе тюрьмы.

Случай помогъ мнѣ при первомъ же знакомствѣ пріобрѣсти расположеніе и даже заслужить признательность Пазульскаго.

Онъ спросилъ меня:

— Говорите ли вы по-англійски?

Я отвѣчалъ, что да. И Пазульскій вдругъ заговорилъ на какомъ-то необычайно дикомъ, неслыханномъ языкѣ.

Про него можно было сказать, что онъ по-англійски „говоритъ“, какъ пишетъ.

Онъ выучился самоучкой и произносилъ каждую букву такъ, какъ она произносится по-французски.

Выходило чортъ знаетъ что!

Минута была критическая.

Безграмотная каторга чрезвычайно цѣнитъ всякое знаніе.

Вся тюрьма воззрилась: ну-ка, дѣйствительно ли Пазульскій и по-англійски говоритъ? Не вретъ ли?

На картѣ стояло самолюбіе и авторитетъ Пазульскаго.

Авторитетъ, купленный страшной, дорогою цѣною.

Стоило мнѣ улыбнуться, и все пошло бы на смарку. „Вретъ, хвастается!“ Боящаяся и ненавидящая Пазульскаго за эту боязнь каторга расхохоталась бы надъ Пазульскимъ. А это былъ бы конецъ.

Я призвалъ на помощь всю свою сообразительность. Рисовалъ въ воображеніи буквы, которыя произносилъ Пазульскій, складывалъ изъ нихъ слова, угадывалъ, что онъ хочетъ сказать, и отвѣчалъ ему на томъ же варварскомъ языкѣ, произнося всѣ буквы.

Такъ мы обмѣнялись нѣсколькими фразами.

Надо было видѣть, съ какимъ глубокимъ почтеніемъ слушала каторга этотъ разговоръ на неизвѣстномъ языкѣ.

Затѣмъ, встрѣтясь одинъ на одинъ, Пазульскій спросилъ меня:

— Такъ я говорю по-англійски?

— Откровенно говоря, Пазульскій, вы совсѣмъ не умѣете говорить. Васъ никто не пойметъ.

— Я и самъ это думалъ! А вѣдь сколько лѣтъ я учился этому проклятому языку въ тюрьмѣ!—вздохнулъ Пазульскій, затѣмъ улыбнулся.—Спасибо вамъ за то, что меня тогда не выдали! Смѣяться бы стали, а мнѣ это не годится... Спасибо, что поддержали.

И онъ крѣпко нѣсколько разъ пожалъ мнѣ руку.

Въ чемъ заключается это обаяніе и эта власть Пазульскаго надъ каторгой?

Прежде всего,—его всѣ боятся потому, что онъ самъ ничего не боится. И онъ это доказалъ!

Во-вторыхъ, боятся его прогнѣвить, чтобы Пазульскій „чего не сказалъ". Это типичнѣйшій изъ „Ивановъ", человѣкъ слова: что онъ сказалъ, то онъ и сдѣлаетъ,—онъ и это доказалъ.

Таковъ этотъ „человѣкъ съ висѣлицы"

Пазульскій теперь уже старикъ, лѣтъ шестидесяти. Удивительно бодрый и крѣпкій. Силы, говорятъ, онъ феноменальной. Черты лица у него удивительно правильныя, красивыя, и особенно замѣчательны глаза: сѣрые, холодные, съ властнымъ взглядомъ, который трудно выдерживать. Въ немъ какъ-то во всемъ чувствуется привычка повелѣвать. Красивыя губы подъ полусѣдыми усами нѣтъ-нѣтъ да и подергиваются презрительной улыбкой

Пазульскій — полякъ.

— Вѣроисповѣданія числюсь католическаго! — говоритъ онъ. — Но мнѣ это все равно. Православное, католическое, — я ни во что въ это не вѣрю.

— Значитъ, „тамъ", по вашему мнѣнію, Пазульскій, ничего нѣтъ?

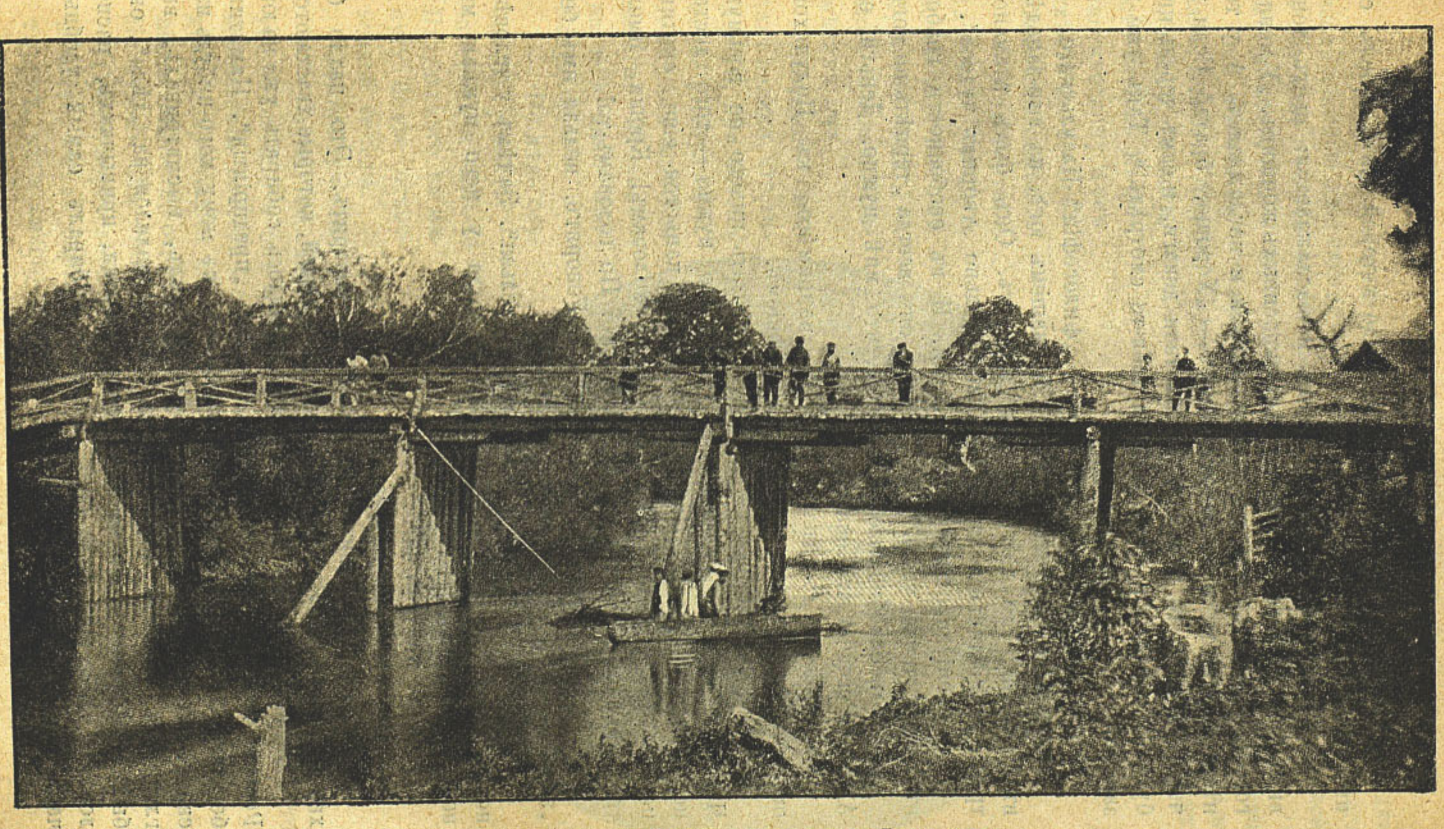
— Ничего!

— И души?

— Какая душа! Что человѣкъ помираетъ, что собака, — все равно. Я видалъ.

А онъ дѣйствительно „видалъ".

— Я нарочно убивалъ собакъ, чтобы посмотрѣть. Никакой разницы. Смотритъ на тебя, словно сказать хочетъ: „Только не мучай! Поскорѣе!" Живетъ — смерти боится. Умираетъ — боли боится. Это все тѣло. Боли боится и наслажденія хочетъ. Жизнь — это наслажденіе. Только съ наслажденіемъ и начинается жизнь. Разумная-то. А только необходимое, ѣсть да пить, это ужъ человѣкъ будетъ даже ни собака, даже ни свинья, даже ни крыса. Это уже будетъ вошь. Да и у той, небось, свои наслажденія есть! И она къ наслажденію стремится. Вѣдь и собака и свинья, глядишь, на солнцѣ ляжетъ, бокъ погрѣетъ, наслажденія отъ жизни хочетъ. А заприте собаку въ комнату, дайте ей только необходимое,—завоетъ. О наслажденіи выть будетъ!



Виды Сахалина. Мостъ около селенія Рыковскаго.

Такова „философія“ Пазульскаго, до которой онъ дошелъ своимъ умомъ.

— У человѣка есть деньги, онъ и наслаждается: пьетъ тонкія вина, ѣстъ деликатныя блюда, имѣетъ красивыхъ женщинъ. „У меня,—говоритъ,—есть деньги, черезъ нихъ я и наслаждаюсь. А у тебя нѣтъ денегъ, ты и не наслаждайся!“ — „Хорошо, братъ! Если все черезъ деньги, то я возьму у тебя твои деньги, и самъ черезъ нихъ буду наслаждаться, чѣмъ мнѣ на тебя-то смотрѣть!“ Такъ уже все заведено.

Таково практическое примѣненіе „философіи“ Пазульскаго.

Пазульскій—это громкое имя на нашемъ югѣ, на юго-западѣ и въ Румыніи. Его долго еще не забудутъ. Онъ былъ атаманомъ трехъ разбойничьихъ шаекъ и дѣйствительно „творилъ чудеса“.

Его спеціальностью были грабежи. И въ особенности грабежи въ помѣщичьихъ усадьбахъ. Убійства онъ всегда „терпѣть не могъ“.

— За ненадобностью. Я беру то, что мнѣ нужно. Деньги его. А жизнь его, на что она мнѣ?

Къ убійцамъ съ цѣлью грабежа, напримѣръ, къ Полуляхову, онъ относится съ величайшимъ презрѣніемъ.

— Сволочь! Намажутъ, намажутъ, а взять ничего не возьмутъ! Что не нужно, то у людей отнимутъ, а что нужно — того достать не сумѣютъ. Дурачье! Наберутъ топоровъ, напьется еще, скотина, передъ этимъ! „Валай, Ивашка, бей по холовамъ! Кроши, Ямеля, твоя нядѣля!“ А зачѣмъ это имъ нужно? По головамъ-то!

— Да вѣдь дѣло такое, Пазульскій. Говорятъ, нельзя имъ безъ „этого“.

— Оттого, что дурачье! Потому и „нельзя“. Зачѣмъ у человѣка ненужную мнѣ вещь отнимать, жизнь, когда у него нужная мнѣ вещь есть: страхъ.

— А не напугается?

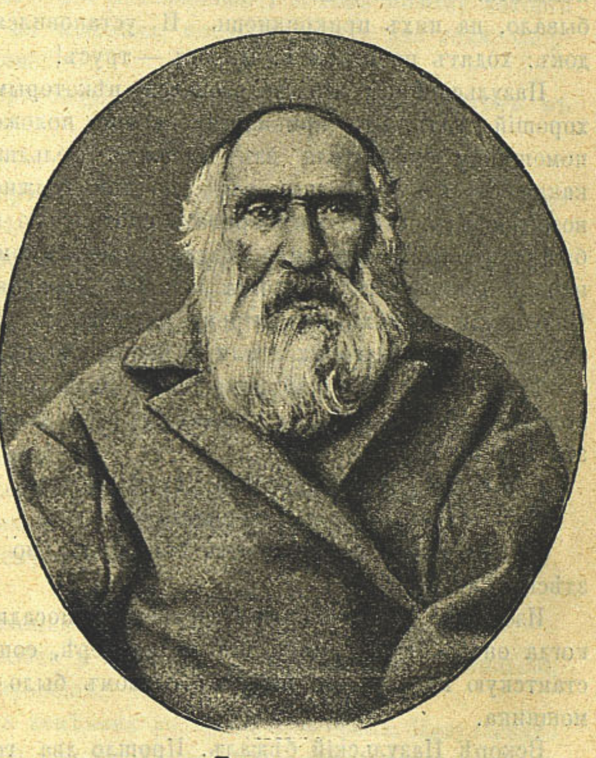
— Ну, это какъ напугать!

О своемъ „прошломъ“ Пазульскій не говоритъ. Это пахло бы хвастовствомъ. А Пазульскій не изъ тѣхъ людей, которые хвастаются.

Свѣдѣнія объ его прошломъ мнѣ пришлось собирать уже на югѣ Россіи. Это были дѣйствительно большія „предпріятія“. Намѣтивъ богатаго помѣщика, Пазульскій подсылалъ къ нему кого-нибудь изъ своихъ. Тотъ нанимался въ работники, жилъ, высматривалъ, выглядывалъ. И когда Пазульскій съ шайкой являлся на „дѣло“, онъ былъ освѣдомленъ обо всемъ: о складѣ жизни, привычкахъ, расположеніи дома. Онъ билъ безъ промаха: выбиралъ самый удобный часъ, когда ему никто помѣшать не могъ.

Всѣ роли бывали распредѣлены, всякій зналъ свое дѣло. Одни вязали спящую дворню, другіе караулили. Самъ Пазульскій брался за хозяевъ, никогда не довѣрялъ ихъ никому изъ шайки: боялся, быть-можетъ, что потеряютъ терпѣніе, не выдержатъ и убьютъ.

Онъ любилъ при этомъ страшную обстановку: револьверъ, кинжалъ, маски. Отчасти, вѣроятно, потому, что такъ страха больше нагонишь, отчасти, быть-можетъ, потому, что въ этомъ бандитѣ есть любовь къ романтическому, и онъ умѣетъ изо всего извлекать наслажденіе.



Типы каторжанъ.

— Надо все такъ сдѣлать, чтобы и вспомнить потомъ пріятно было! — какъ-то вскользь замѣтилъ онъ.

Его „слава“ была такъ велика, что, говорятъ, при одномъ имени „Пазульскій“ люди сами отдавали деньги. Появились на югѣ даже лже-Пазульскіе.

— Но вѣдь случалось убивать? — спросилъ я какъ-то Пазульскаго въ минуту болѣе откровенной бесѣды.

Онъ поморщился:

— Случалось. Что жъ! Если самъ ужъ человѣкъ лѣзетъ! Его урезониваешь, а онъ лѣзетъ! Ну, и... Да это дрянь такая, что и вспоминать нечего. Не всегда все дѣлаешь, что хочешь. Во всякомъ дѣлѣ непріятности есть. Что вспоминать! Это только корова жвачку пережовываетъ, отрыгнетъ да и жуетъ. А человѣку это противно! Не будемъ объ этомъ!

Среди воровского и грабительнаго міра „атаманъ“ Пазульскій, конечно, имѣлъ огромное имя, и, когда онъ попалъ въ Херсонскую тюрьму, нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ командовалъ тюрьмой,

какъ командуетъ ею на Сахалинѣ. Смотритель тюрьмы былъ человѣкъ новый, молодой, неопытный. Но онъ былъ человѣкъ добрый, и къ „знаменитости“, попавшей въ его тюрьму, отнесся очень мягко, внимательно и человѣчно. За это онъ понравился Пазульскому.

— Жаль мнѣ его стало. Вижу, человѣкъ вновѣ, чертей этихъ, арестантовъ, не знаетъ, держать ихъ не умѣетъ. И началъ я ему помогать. Совѣты давалъ, какъ ихъ въ подчиненіи держать, самъ, бывало, на нихъ прикрикнешь. И установился въ тюрьмѣ порядокъ: ходятъ по стрункѣ. Народъ — трусъ!

Пазульскій за это пользовался нѣкоторыми льготами, имѣлъ хорошій столъ. Это привилегированное положеніе не понравилось помощнику смотрителя изъ бывшихъ фельдшеровъ (удивительно, какая страсть у фельдшеровъ къ этой должности). „Помощникъ“ возревновалъ, сталъ наговаривать смотрителю на Пазульскаго. Слабохарактерный смотритель поддался вліянію помощника. Пазульскаго начали „сокращать“, и, когда захотѣли „сравнять съ арестантами“, Пазульскій поднялъ всю тюрьму и устроилъ „бунтъ“. Но бунтъ не удался, Пазульскаго схватили и поволокли подъ ворота.

Тутъ разсвирѣпѣвшій помощникъ далъ себѣ волю. Приказалъ колотить Пазульскаго на глазахъ у всей тюрьмы, смотрѣвшей на это изъ оконъ.

Это было для Пазульскаго „хуже смерти“.

Онъ только сказалъ „помощнику“:

— Вы зашли въ ресторанъ пообѣдать, но не спросили, какая здѣсь цѣна.

Избитаго дополусмерти Пазульскаго посадили въ карцеръ, и, когда онъ, „битый“, отсидѣвъ въ карцерѣ, сошелъ въ общую арестантскую камеру, его первымъ словомъ было обѣщаніе убить помощника.

Вскорѣ Пазульскій бѣжалъ. Прошло два года. Его снова поймали гдѣ-то въ Крыму и препроводили въ Херсонскую тюрьму. Смотритель былъ тотъ же. Помощникъ тоже. Помощникъ уже давно забылъ про все и даже встрѣтилъ Пазульскаго по-пріятельски:

— А! Пазульскій! Привелъ Богъ опять увидѣться!

Пазульскій отвѣтилъ:

— Привелъ Богъ. Это вѣрно.

Однажды во время обхода камеры Пазульскій обратился къ помощнику-фельдшеру, шедшему за смотрителемъ.

— Будьте такъ добры, посмотрите мнѣ горло, у меня что-то горло болитъ.

Они подошли къ окну, чтобы лучше видѣть. Тогда Пазульскій быстро охватилъ его одной рукой за талію, прижалъ, а другой „провелъ ножомъ по горлу“. Въ рукавѣ приготовленъ былъ, даже не пикнулъ! Бросилъ его на полъ и говорю: „Расплатился!“

Разсказывая это, Пазульскій вздохнулъ съ такимъ видомъ облегченія, словно онъ до сихъ поръ еще испытываетъ чувство какого-то удовлетворенія.

Убійство начальника — „за это веревка“, и вотъ почему каторга со страхомъ смотритъ на человѣка, который черезъ два года сдержалъ „разъ данное слово“.

Пазульскій былъ приговоренъ къ повѣшенію. Онъ сидѣлъ въ тюрьмѣ и ждалъ.

— Страшно?

— Томительно. Скорѣй бы! — думаешь. Ну, чего тянутъ? Повѣсили бы—и къ сторонѣ.

Какъ и большинство, какъ почти всѣ „настоящіе преступники“, онъ, хотя и въ Бога не вѣритъ, но суевѣренъ.

— Снился мнѣ сонъ: столбъ высокій, высокій. „Къ чему бы, думаю? Значитъ, меня завтра повѣсятъ!“ Такъ и вышло. Приносятъ вечеромъ чистое бѣлье, значитъ, утромъ казнь!

Пазульскій отказался отъ духовника и на эшафотѣ всѣхъ поразилъ. Онъ оттолкнулъ палача.

— Не хотѣлъ, чтобы палачъ руками дотрогивался, противно было. Взбѣжалъ на западню и самъ на себя набросилъ петлю.

Пришлось кричать ему:

— Стой! Стой!

Ему прочли помилованіе.

— Тутъ ужъ замутилось у меня передъ глазами, все поплыло, уплыло, — говоритъ Пазульскій.

Смертная казнь была замѣнена каторгой безъ срока. Пазульскаго отправили въ Сибирь; на одномъ изъ этаповъ онъ „смѣнился“ съ какимъ-то маловажнымъ арестантомъ, проигравшимся въ карты. Тотъ пошелъ подъ именемъ Пазульскаго, а Пазульскій бѣжалъ и вернулся на югъ.

Но „подвиги“ Пазульскаго, его „казнь“ слишкомъ нашумѣли на югѣ. Его узнали, поймали, обвинили.

— Всякая собака меня знала! Немудрено. Эта извѣстность-то меня и погубила!

Пазульскій былъ приговоренъ въ Одессѣ къ 12 годамъ „испытуемости“, 100 плетямъ и 3 годамъ прикованія къ тачкѣ.

Такъ онъ попалъ на Сахалинъ.

Онъ сидитъ въ самомъ страшномъ номерѣ Александровской кандальной тюрьмы. На табличкѣ съ фамиліями, висящей около двери этого номера, значится все:

— Безъ срока... Безъ срока... Безъ срока...

Тутъ собрана „головка“ кандальной каторги.

И Пазульскій держитъ этихъ людей въ полной зависимости и нравственной, какъ человѣкъ, лишенный страха, и матеріальной: онъ занимается ростовщичествомъ.

Страшный этотъ старикъ. Онъ сидитъ въ своемъ темномъ углу, словно огромный паукъ, который держитъ въ своей паутинѣ 19 бьющихся, жалобно пищащихъ мухъ.

— Вотъ, — сказалъ онъ мнѣ какъ-то, показывая на маленькія углубленія: вдавленныя мѣста въ деревѣ на его мѣстѣ, на нарахъ.— Знаете что это?

— Что?

— Это я пролежалъ!

Плебей.

Если Пазульскій — аристократъ каторги, то Антоновъ, по прозвищу Балдоха, презрѣннѣйшій изъ ея плебеевъ.

Вся кандальная относится къ нему съ обиднымъ пренебреженіемъ.

И не то, чтобы онъ сдѣлалъ что-нибудь, съ точки зрѣнія каторги, предосудительное, а такъ, просто:

— Что это за человѣкъ! Ни Богу свѣча ни чорту кочерга! Одно слово — Балдоха!

Спеціальность Балдохи было — душить.

Онъ передушилъ на своемъ вѣку...

— Постой! Сколько? — спрашиваетъ самъ себя Балдоха, загибаетъ корявые пальцы и всегда сбивается въ счетѣ.

— Душъ одиннадцать!

И никогда не видалъ денегъ больше 10 рублей.

Антонову-Балдохѣ 54 года, на видъ подъ 40, по уму немного.

Фигура у него удивительно нескладная, лицо корявое и видъ нелѣпый.

Онъ родился въ Москвѣ, на Хитровкѣ. Ни отца ни матери не зналъ. Выросъ въ ночлежномъ домѣ.

Высшая радость жизни для него — портерная.

— А что, Балдоха, здорово бы теперь тебѣ въ Москву?

— На Грачевку бы! Въ портерную! — улыбается во все лицо Балдоха. — Ахъ, городъ хорошій! Сколько тамъ портерныхъ!

Когда онъ хочетъ разсказать что-нибудь необыкновенно величественное изъ своей прошлой жизни, онъ говоритъ:

— И спросилъ я себѣ, братцы вы мои, пива полдюжины!

Говоритъ онъ на своемъ особомъ языкѣ: смѣси Хитровки, каторги, языка нищихъ и языка арестантовъ.

Человѣкъ для него — „пассажиръ". Онъ не проситъ, а „по пассажиру стрѣляетъ". Не душитъ, а „баки заколачиваетъ". Маленькій воровскій ломикъ — у него „гитара". Часы или „луковица", или „подсолнухъ", глядя по тому, серебряные или золотые.

— Звѣздануть пассажира гитарой по становой жилѣ да подсолнухъ слямзить. Куда какъ хорошо!

— Дозвольте васъ, ваше высокое благородіе, подстрѣлить! — говоритъ онъ, прося гривенникъ.

Онъ, случалось, „бралъ" и „подсолнухи" и брильянты, но онъ всю жизнь свою проходилъ въ опоркахъ: „взявъ" хорошую вещь, шелъ къ покупщику краденаго, и ему давали за вещь, стоящую сотни рублей:



Арестантскіе типы.

— Рупь, много два!

Онъ сейчасъ же пропивалъ, и на утро просыпался опять голодный, холодный, раздѣтый.

Онъ не то, чтобы былъ пьяницей. Но онъ не привыкъ къ тому, чтобы у него была какая-нибудь собственность, и когда товарищи „для работы" справляли ему чуйку синяго сукна, сапоги съ наборомъ, картузъ, онъ сейчасъ же, по окончаніи „дѣла", сбывалъ это и возвращался въ „первобытное состояніе".

Московскіе старожилы помнятъ еще знаменитую, свирѣпствовавшую когда-то въ Замоскворѣчьѣ шайку „замоскворѣцкихъ башибузуковъ“, какъ ихъ прозвали.

Шайка держала москвичей въ страхѣ и трепетѣ. Съ прохожихъ по вечерамъ, въ глухихъ переулкахъ, срывали шапки, отрывали воротники у шубъ, стаскивали часы. Обыкновенно прохожаго въ глухой мѣстности настигалъ лихачъ, съ лихача соскакивали двое, грабили прохожаго, вскакивали въ сани, лихачъ ударялъ по лошади, и поминай, какъ звали.

Кромѣ этихъ наглыхъ, открытыхъ грабежей, безпрестанно случались убійства.

Душили богатыхъ, одинокихъ людей, исключительно старообрядцевъ.

— Почему старовѣровъ? — спросилъ я у Балдохи, героя всѣхъ этихъ похожденій.

— Столовѣровъ-то? Потому „подводчикъ“-портерщикъ — столовѣръ былъ. Онъ своихъ всѣхъ и зналъ.

Въ шайкѣ этихъ „баши-бузуковъ“ Балдоха былъ спеціалистомъ-душителемъ.

По большей части онъ нанимался сдѣльно: задушитъ, — платье справитъ и десять рублей.

— Почему же это такъ? Ремесло это твое, что ли?

— Извѣстно, рукомесло.

— Что же ты учился ему, что ли?

— Извѣстно, учился. Безъ науки ничего нельзя.

— Гдѣ же ты учился?

— А по портернымъ. Сидитъ какой выпившій около стѣнки. Сейчасъ его за машинку и объ стѣну головой.

— Насмерть?

— Зачѣмъ насмерть! Я не во-всю. А такъ только, чтобы пассажира взять, чтобы и не пикнулъ. Не успѣлъ, то-есть.

— А другіе-то, что же, безъ тебя этого сдѣлать не умѣли, что ли?

— Умѣли. Да съ другими страшно. А со мной ничего. Говорю: пикнуть не успѣетъ. Вы, можетъ, слышали, въ Орлѣ такое дѣло было, брильянтщика обобрали и мастера задушили. Мое было дѣло. Меня въ Орелъ нарочно возили. На всякій случай былъ взятъ. Думали днемъ сдѣлать дѣло съ „преступленіемъ“, а вышло вечеромъ. Забрались это въ магазинъ они, а я за дверью стою, за задней, караулю. Только идетъ вдругъ мастеръ. Онъ при магазинѣ жилъ. И вѣдь какъ! Перегородка, а за перегородкой другая квартира, а тамъ бѣлошвейки сидятъ, пѣсни играютъ. Все отъ слова до слова

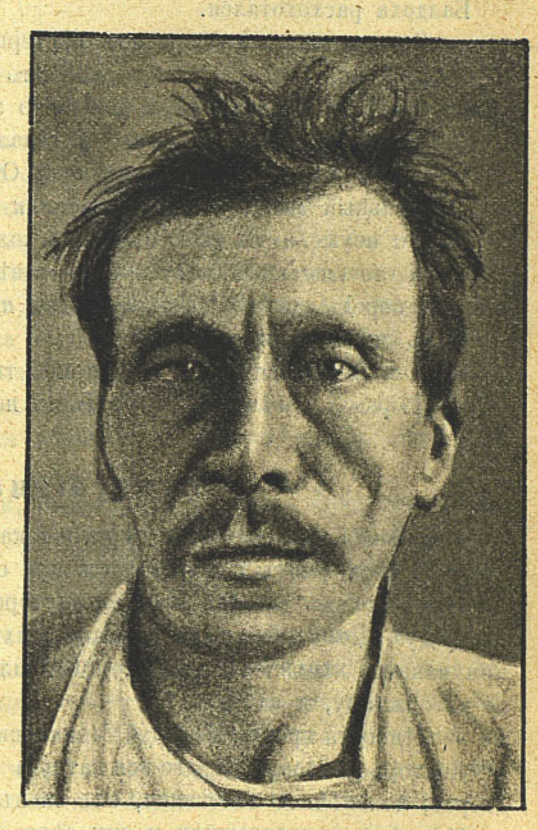
слышно. Дохнетъ, — услышатъ. Тутъ нужна рука! Отперъ это онъ дверь, отворилъ только, я его за машинку взялъ и наземь положилъ. Хоть бы дохнулъ! Я его на полъ сложилъ, а за перегородкой пѣсни играютъ. Такъ ничего и не слыхали!

Говоря о своемъ „умѣньѣ", Балдоха удивительно воодушевляется, и однажды, показывая мнѣ, какъ это надо продѣлывать, какъ-то моментально подставилъ мнѣ сзади ногу, одной рукой обхватилъ за талію, а другую поднесъ къ горлу.

Я не успѣлъ, дѣйствительно, мигнуть, какъ очутился, совершенно безпомощный, у него на рукахъ.

Балдоха поблѣднѣлъ, какъ полотно, весь затрясся, поставилъ меня на ноги и отскочилъ.

— Ваше высокоблагородіе!.. Простите!.. Ей Богу, я васъ не хотѣлъ... Такъ, въ разговорѣ...



Арестантскіе типы.

Онъ хотѣлъ броситься въ ноги. Мнѣ долго пришлось его успокоивать.

Онъ положительно „любитъ свое дѣло". Да, впрочемъ, это вѣдь единственное дѣло, которое онъ и знаетъ. Единственный его рессурсъ. Когда его уже очень изведетъ каторга, — у него есть только одно средство обороняться:

— Возьму за машинку, однова не дохнешь.

Кромѣ этого „своего дѣла", Балдоха знаетъ еще грамоту. Онъ выучился въ исправительномъ пріютѣ.

— Она-то меня и сгубила!

„Баши-бузуки" были открыты, благодаря Балдохѣ.

Съ товарищемъ онъ явился къ одному старому одинокому старообрядцу-лѣснику будто бы покупать дрова.

Среди разговора Балдоха задушилъ старика, обыскали трупъ, переломали все въ квартирѣ, — ничего не нашли.

На слѣдующій день, читая въ портерной газету, онъ прочелъ и про это убійство:

— „Деньги, — что-то около 30 тысячъ, — были спрятаны за голенищами у покойнаго и остались нетронуты".

Балдоха расхохотался.

— Чего хохочешь?—спросилъ портерщикъ.

— Да какъ же! Столовѣра какіе-то вчерась въ Сокольникахъ убили, вездѣ денегъ шарили, а деньги-то за голенищемъ у его были!

„Убійство въ Сокольникахъ" надѣлало страшнаго шума въ Москвѣ. Полиція была поставлена на ноги. Отъ портерщика узнали про подозрительный смѣхъ Балдохи, забрали его, уличили.

— Но неужели ты такъ спокойно ходилъ на такія дѣла?

— А то еще какъ же? Такъ-то, извѣстно, оно нескладно. Такъ я всегда передъ „дѣломъ" стаканъ водки пилъ. Для полировки крови.

Какъ сноситъ онъ каторгу?

Какъ-то я спросилъ его что-то про тюрьму.

— Тюрьма? Ничаво тюрьма! Чисто ночлежный на Хитровкѣ.

Отцеубійца.

Маленькая, чрезвычайно опрятная каморка. У окна, въ очкахъ, старикъ портняжитъ и мурлыкаетъ про себя что-то „духовное".

При нашемъ входѣ,—мы съ докторомъ Лобасомъ обходили въ посту Дуэ и дома „вольныхъ", не живущихъ въ тюрьмѣ, каторжанъ,— при нашемъ входѣ онъ всталъ, поклонился чрезвычайно учтиво, не по-каторжному, и сказалъ:

— Милости прошу, Николай Степановичъ! Милости прошу, сударь!

Доктора Лобаса, котораго вся каторга прямо-таки обожала за его доброе, человѣчное отношеніе, онъ зналъ.

Мы сѣли и предложили и ему сѣсть.

— Нѣтъ, покорнѣйше благодарствую. Не извольте безпокоиться.

— Да садись, старикъ

— Нѣтъ ужъ, не извольте безпокоиться. Благодарствую.

Старикъ онъ былъ необыкновенно благообразный, славный и симпатичный. Говорилъ тихо, необычайно какъ-то кротко, улыбался улыбкой немножко грустной, немножко виноватой.

— Поселенецъ, что ли?

— Никакъ нѣтъ-съ. Въ поселенцы я выйти не могу. Я безсрочный. Меня по-настоящему и изъ испытуемой не должны выпускать.

Такое наказаніе полагается только за одно преступленіе.

— Да за что же ты?

— За родителя. Отцеубійство совершилъ.

— А давно на каторгѣ?

— Пятнадцатый годъ.

— Да сколько жъ тебѣ лѣтъ?

— Шестьдесятъ одинъ.

— Такъ что, когда ты это сдѣлалъ, тебѣ было...

— Да ужъ подъ пятьдесятъ было.

— Отцу сколько было?

— Родителю за семьдесятъ.

Почти пятидесятилѣтній старикъ, убивающій семидесятилѣтняго отца. Что за необыкновенная стариковская трагедія?

— Какъ же такъ? За что же?

Старикъ потупился, помолчалъ, вздохнулъ и тихо сказалъ:

— И говорить-то срамъ. Да передъ вами, Николай Степановичъ, молчать не стану. Издалека это пошло,—еще съ молодыхъ годовъ. Вонъ откуда. Озорникъ былъ родитель мой. Грѣхъ мой великій, а не каюсь. Какъ хотите, такъ меня и судите!

И онъ говорилъ это такъ степенно, кротко: что убилъ отца и не кается.

— Издавна, судари мои, началось, еще какъ меня поженили. Крестьянствовали мы, жили безъ бѣдности, работниковъ даже имѣли. Женился я по сердцу. И Марья за меня по сердцу шла. Марьей покойницу звали, царство ей небесное, вѣчный покой. Домъ, говорю, богатый, зажили—лучше не надо. Марью въ домѣ всѣ взлюбили. Оно бы мнѣ тогда вниманье обратить надоть. Родитель больно къ Марьѣ добръ былъ. Въ городъ поѣдетъ,—всѣмъ гостинецъ, а Марьѣ особливо. Нехорошо это у насъ по крестьянству, когда свекоръ къ молодой снохѣ доберъ больно. Не полагается. Да нешто я что зналъ! Смотрѣлъ себѣ да радовался, что Марья такъ къ дому пришлась, что любятъ. Только и мнѣ въ глаза кидаться начало. Ужъ больно родитель доберъ. Ужъ такъ доберъ, такъ доберъ! А старикъ онъ былъ строгій, ндравственный. Всѣхъ во какъ держалъ, пикнуть при немъ не смѣли... Лежу я разъ въ ригѣ, усталъ, отдохнуть днемъ легъ,— только и слышу Марьинъ голосъ: „Нешто, батюшка, это возможно?“ Мнѣ черезъ скважину-то, щель въ стѣнѣ была, видать. Выбѣгаетъ на луговину Марья, а за ней родитель. Марья отъ него, а онъ за ней. Смѣется. „Анъ,—говоритъ,—поймаю! Анъ,—говоритъ,—поймаю!“ Только Марья отъ него убѣжала, а онъ, песъ, стоитъ такъ, смотритъ ей вослѣдъ, посмѣивается. „Такъ вотъ оно что!“ думаю. Тутъ

мнѣ въ голову вступило, себя не помню. Пришелъ домой, Марью въ клѣть вызвалъ да за вожжи. „Ты, что жъ это,—говорю,—шкура? Съ родителемъ играешь?“ А она въ ноги да въ слезы. „Онъ,—говоритъ,— Лешенька, ничего. Онъ такъ“. Сказать, то-есть, совѣстилась, съ чѣмъ къ ней пристаетъ. Возилъ я ее вожжами, возилъ. Къ родителю пошелъ. „Такъ, молъ, и такъ, батюшка. Выдѣли насъ. Сами собой жить будемъ. Потому какъ я нынче, въ ригѣ лежамши, надумалъ“... Нарочно ему про ригу-то говорю. Насупился старикъ. „Мало чего,— говоритъ,—ты тамъ, по ригамъ валямшись, щенокъ, надумаешь. Домъ—полная чаша. Стану я изъ-за тебя этаку благодать рушить! Ишь, чего выдумалъ! Вонъ пошелъ съ глазъ моихъ, подлецъ!“ И пошло тутъ и пошло. Придетъ Марья изъ поля,—синякъ на синякѣ. „Это кто тебя?“ спрашиваю. „Батюшка“, разливается и плачетъ. Я къ родителю: „Нельзя такъ, батюшка!“ Онъ меня за волосья. Потому, говорю, хоть и большіе были, а все какъ дѣти махонькія передъ ними ходили. Онъ меня за волосья. „Ты,—говоритъ,—еще меня учить надумалъ! Всѣ,—говоритъ,—вы лежебоки! И Марья твоя такая же. Добромъ да лаской съ вами ничего не подѣлаешь,— такъ я жъ вамъ себя покажу. Будете у меня работать!“ А напрямки-то сказать ему,—что, молъ, отецъ, дѣлаешь,—языкъ не поворачивается,—срамота, чужіе люди здѣсь, работники. И пошла тутъ жизнь. Что каторга! Ничего, судари мои, каторга не значитъ. Били же мы Марью, покойницу. Страдалица была, мученица! И родитель бьетъ: зачѣмъ отъ него бѣгаетъ. И я съ горя бью,—все мнѣ кажется, что она, то-есть, виновата, сама къ нему ластится. И этакъ-то двадцать годовъ! Безсрочная!

Старикъ отвернулся, утеръ слезы. Голосъ его дрожалъ и звенѣлъ.

— За Марью Господь Богъ меня и наказалъ. За Марью я и несу свой крестъ и заслужилъ. И мучаюсь, какъ она, мученица, мучилась. До самой смерти, покойница, мнѣ не признавалась. Стыдно было. „Это,— говоритъ,—Лешенька, ты такъ только думаешь. Ты, Лешенька,—говоритъ,—не думай, не мучь себя. Батюшка, онъ строгій, онъ только за работу взыскиваетъ. Ты не думай“. А какое тамъ „не думай“. У самой слезы въ три ручья. Бью, себя не помню, а она хоть бы крикнула, нешто невинные такъ терпятъ? Слезами давится, и свое только твердитъ: „Лешенька, не мучай себя, не думай!“ Зимой въ избѣ ночь лежишь,—не спитъ родитель, слышу, какъ не спитъ, ворочается, сопитъ. Сна на него нѣту. И я не сплю. И Марья не спитъ, дрожитъ вся. Извините,—встанетъ, куда пойдетъ, слышу, и родитель съ полатей тихонько лѣзетъ. Чисто за горло меня схватитъ. „Куда,—говорю,—батюшка?“—„А тебѣ,—говоритъ,—что? Ишь,

полунощники, не спятъ, шляются! Еще избу зажгутъ. Пойтить, поглядѣть!“—„И я, молъ, батюшка, съ вами!“—„Лежи ужъ!“ говоритъ. Одначе иду. Колоколъ у насъ въ село везли. Такъ онъ дома остался, подсоблять не пошелъ: „Идите,—говоритъ,—вы подсобляйте, а у меня поясница что-то болитъ“. Пошли, всѣ глядятъ, посмѣиваются. Потому дѣло ясное...

— Почему же дѣло ясное?

— Примѣта есть по крестьянству у насъ. Какъ снохачъ помогать возьмется,—колоколъ съ мѣста не сдвинешь. Пришелъ я съ помочи домой. „Что жъ, батюшка,—спрашиваю,—колоколъ везти не пошли? Насъ только срамите!“ Тутъ я только одинъ разъ ему про это и сказалъ. Темнѣй ночи сталъ старикъ: „Ты,—говоритъ,—мнѣ глупостей говорить не смѣй. А то возьму орясину да орясиной! Сказано, поясницу ломитъ“. А какая тамъ поясница! Просто боялся, чтобъ народъ отъ веревки не отогналъ: „Ѳедулычъ, молъ, отойди, не твое совсѣмъ дѣло“. Потому, какъ мы навозъ свой отъ людей ни хоронили, да нешто отъ людей что ухоронишь?—всѣ про наши дѣла знали. Срамота. А у меня ужъ сынокъ Николушка подрастаетъ. Все понимаетъ. И вѣдь что за старикъ былъ! Вѣдь ужъ, почитай, старуха Марья-то стала,—такъ мы ее уходили. Краше въ гробъ кладутъ,—ходитъ. А онъ все къ ней. Такъ, покеда совсѣмъ въ гробъ не забили, грѣхъ-то и шелъ.

Старикъ едва сдерживался отъ слезъ. Долго молчалъ, пока собрался съ силами продолжать.

— Могутный былъ старикъ. Смѣялся когда: „Мнѣ бы, говоритъ, опять жениться, и то впору“. Померла Марья, повдовствовалъ я, и пришла пора Николушку женить. Невѣсту ему взяли изъ хорошаго дома. Скромная была дѣвушка, хорошая. И что жъ бы вы думаете, онъ задумалъ? Не песъ?

Старикъ даже плюнулъ съ омерзѣніемъ. Руки у него дрожали, голова ходуномъ ходила:

— Не песъ? Смотрю въ городъ поѣхалъ, гостинцевъ всѣмъ навезъ, а Настѣ отдѣльно: „Это,—говоритъ,—тебѣ, умница. Почитай дѣдушку!“ Смотрю—плачетъ Настя. „Съ чего?“ спрашиваю. „Такъ!“ говоритъ. А сама разливается. Смотрю, куда Настя, туда и онъ плетется. Вижу я, онъ и насчетъ Насти свое удумалъ. Страхъ и ужасъ, судари мои, меня взялъ. Голова кругомъ пошла. „Что же это,—думаю,—я всю жизнь промучился, теперь Николушкѣ моему также мучиться? Когда жъ этому конецъ будетъ?“ Вижу, дальше да больше подбирается къ Настюшкѣ. Тутъ я Николушкѣ и открылся: все ему и разсказалъ, что съ его матерью было. Трясся Николушка, плакалъ.

„Слухомъ-то,—говоритъ,—я про нашъ домъ это слыхалъ. А только не вѣрилъ“.—„Теперь,—говорю,—нечего ужъ объ этомъ тужить. Надо за Настюшкой слѣдить!“ Думали, думали: что дѣлать? Хотѣли дѣлиться. Куда тебѣ! „Ишь,—говоритъ,—что надумали! Я тебя, дармоѣда,—это на Николушку-то,—кормилъ, поилъ, а ты этаку ко мнѣ благодарность? этаку работницу изъ дома уводить? Это я,—говоритъ,—знаю, чьи все штуки! Это онъ тебя, старый хрѣнъ,—это на меня-то,—учитъ. Все хочется по своей волюшкѣ, своимъ умомъ пожить. Смотри,—говоритъ,—старикъ, не пришлось бы въ кусочки подъ старость лѣтъ за твои штуки пойти, ежели не угомонишься! А на раздѣлъ нѣтъ моего благословенія. Покеда не помру,—дома не нарушу!“ Видимъ, одно остается,—слѣдить, чтобы чего не случилось, не попустить. И пошли мы за нимъ вездѣ слѣдомъ. Жнитво было. Настюшка жала такъ отдѣльно, полосочку въ яру. Небольшой этакій яръ былъ, ложбиночка. Тамъ она и жала. Прихожу это я домой, „гдѣ батюшка?“ спрашиваю. „Ушелъ!“ говорятъ. Такъ у меня и екнуло. Я къ Николушкѣ: „А ну-ка, молъ, Николушка, пройдемъ къ ярику. Не ладно что-то, родитель изъ дому ушелъ“. Побѣгли мы къ ярику. Прибѣгаемъ, а онъ Настюшку-то боретъ. Волосья у нея растрепаны, рубаха,—въ одной рубахѣ у насъ жнутъ, жарко—рубаха разодрана. Отбивается Настюшка. А онъ ее цапаетъ. Вырвалась отъ него, бѣжать бросилась, а онъ схватилъ, тутъ, на межѣ, валялась коряжина, да за ней съ коряжиной. „Добромъ,—говоритъ,—лучше!“ Тутъ мы и выбѣгли. „Стой“, кричимъ. Увидалъ онъ насъ, затрясся, озлился. „Вы,—кричитъ,—черти, тутъ что?“ Свѣту я не взвидѣлъ: Настюшка стоитъ въ драной рубахѣ,—срамота! Подхожу: „Не дѣло,—говорю,—старикъ, надумалъ, не дѣло!“ А онъ на меня: „А,—говоритъ,—опять ты, старый чортъ, меня учить? Всю жизнь училъ, и теперь учить будешь? Вонъ,—говоритъ,—изъ моего дома! Пусть Николка съ Настасьей остаются. А ты съ глазъ моихъ долой! Довольно мнѣ тебя кормить, дармоѣда!“—„Ну, ужъ нѣтъ,—говорю,—старикъ, будетъ! Это тебѣ не Марья!“ А самъ все къ нему ближе да ближе. Еще пуще взбѣсился: „Что ты,—кричитъ,—мнѣ Марьей своей въ глаза все тычешь? Велика невидаль! Потаскуха была твоя Марья. Со всей деревней путалась! Вонъ!“—кричитъ. Да коряжкой-то на меня и замахнулся. Не помню ужъ я, какъ случилось. Выхватилъ коряжину у него изъ рукъ да по головѣ его. Онъ и присѣлъ. А я на него да за глотку. Помню только, что трясся весь. И ужъ такъ-то онъ мнѣ былъ противенъ, такъ гадокъ. „Пришелъ,—говорю,—старикъ, твой часъ!“—„Алеша,—говоритъ,—не буду!“—„Раньше,—говорю,—старикъ, объ этомъ бы подумать“. Да и стиснулъ ему

глотку... Стиснулъ—и держу. Держу и самъ ничего не вижу, не понимаю. Ужъ тогда очнулся, Николушка меня за руку трясетъ: „Тятинька,—говоритъ,—вы дѣдушку задушили“.—„Туда ему и дорога!—говорю.—Грѣшникъ“. Такъ-то, господа, дѣло все было...

— Ну, а присяжнымъ, старикъ, ты все это разсказалъ?

— Нѣтъ, зачѣмъ же-съ. Да я и не въ сознаніи судился.

— Почему же не сознался, не разсказалъ всего?

— Да какъ вамъ сказать? Первое, что, молъ, свидѣтелей не было. „Не я, да не я“. А второе—боялся Николушку съ Настей запутать. Люди молодые, имъ жить, а мое дѣло стариковское. А потомъ... что жъ этакій срамъ-то на люди выносить...

— Ну, а сынъ твой никакого участія въ этомъ не принималъ?

— Въ этомъ, что я сдѣлалъ? Нѣтъ-съ. Видѣть—видѣлъ, а убивалъ я одинъ. Мнѣ таить нечего. Теперь ужъ все одно. Сказалъ бы, если бъ это было. Все равно. Они ужъ померли. Вскорѣ, какъ меня засудили, Николушка померъ, а за нимъ и Настасья... Всѣ свое отмаялись и померли, одинъ только я остался и маюсь!..—улыбнулся старикъ своей грустной и виноватой улыбкой.—Маюсь да за Марьину душу молюсь. Можетъ, хоть тамъ ей хорошо будетъ. А здѣсь что!.. Безотвѣтная была—мученица...

Шкандыба.

Вѣчному каторжнику Шкандыбѣ 64 года. Это рослый, крѣпкій, доровый старикъ.

Шкандыба—сахалинская знаменитость. Его всѣ знаютъ.

Шкандыба отбылъ 24 года „чистой каторги“ и ни разу не притронулся ни къ какой работѣ.

— Вотъ те и приговоръ къ каторжнымъ *работамъ!*—похохатываетъ онъ.

Его драли мѣсяцами каждый день, чтобы заставить работать. Ни за что!

Сколько плетей, сколько розогъ получилъ этотъ человѣкъ!

Когда онъ, по моей просьбѣ, раздѣлся,—нельзя было безъ содроганія смотрѣть на этотъ сплошной шрамъ. Все тѣло его словно выжжено каленымъ желѣзомъ.

— Я весь человѣкъ поротый!—говоритъ самъ про себя Шкандыба.—Булавки, братъ, въ непоротое мѣсто не запустишь: вездѣ порото. Вы извольте посмотрѣть, я суконочкой потру. Гдѣ потереть прикажете?

Потретъ суконкой тамъ, гдѣ укажутъ, и на тѣлѣ выступаютъ крестъ-накрестъ полосы—слѣды розогъ.

— Человѣкъ клѣтчатый! Кожа съ рисункомъ. Я кругомъ драный. Съ обѣихъ сторонъ. Чисто вотъ пятачокъ фальшивый, что у насъ для орлянки дѣлаютъ. Съ обѣихъ сторонъ орелъ. Какъ ни брось, все орелъ будетъ! И съ одной стороны орелъ и съ другой—орелъ. Такъ вотъ и я.

— Какъ же такъ съ обѣихъ сторонъ драный?

— А такъ-съ. Господинъ смотритель на меня ужъ очень осерчалъ: зачѣмъ работать не хочу. „Такъ я жъ тебя!“ говоритъ. Дралъ, дралъ, не по чемъ драть стало. „Перевернуть,—говоритъ,— его, подлеца, на лицевую сторону“. Чудно! По животу сѣкли, по грудямъ сѣкли, по ногамъ. Такого даже и дранья-то никто не выдумывалъ. Уморушка! Шпанка, такъ та со смѣху дохла, когда я этакъ-то на кобылѣ лежалъ. Необыкновенно!

— А работать все-таки не пошелъ?

— Нашли дурака!

Шкандыба по профессіи мясникъ. Въ первый разъ былъ приговоренъ на 12 лѣтъ за ограбленіе церкви и убійство. Затѣмъ бѣжалъ попался, и, въ концѣ-концовъ, „достукался до вѣчной каторги“.

Сначала его отправили на Кару, на золотые пріиски. Это были страшныя времена. Въ „разрѣзѣ“, гдѣ работали каторжане, всегда наготовѣ стояла кобыла. При каждомъ разрѣзѣ былъ свой палачъ, дежурившій весь день.

Шкандыбу привели на работу. Онъ рѣшительно отказался.

— Что это? Землю копать? Не стану!

— Какъ не станешь?

— А такъ. Земля меня не трогала, и я ее трогать не буду.

Шкандыбѣ въ первый день дали 25 плетей.

Во второй—50.

Въ третій—100 и чуть живого отнесли въ лазаретъ.

Выздоровѣлъ, привели,—опять то же:

— Земля меня не трогала, и я ее трогать не буду.

Опять принялись драть,—опять отправили въ лазаретъ.

Наконецъ устали,—прямо-таки, устали,—биться со Шкандыбой и отправили его на Сахалинъ.

На Сахалинѣ Шкандыба прямо заявилъ.

— Работать не буду. И не заставляйте лучше.

— Ну, такъ драть будемъ!

— Съ полнымъ моимъ удовольствіемъ. Ваше полное право. А работать вы меня заставить не можете.

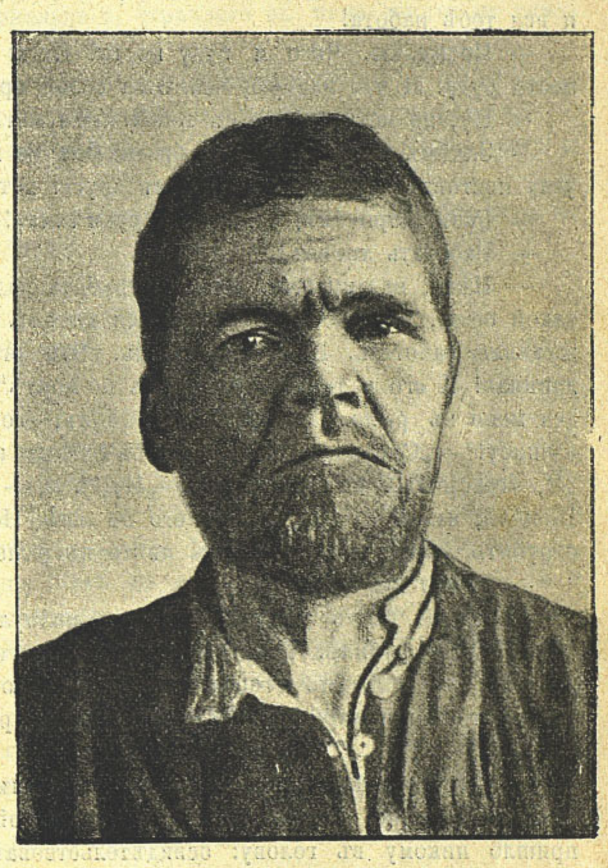
Шкандыбу переводили изъ тюрьмы въ тюрьму, отъ смотрителя къ смотрителю, всякій раньше хвалился:

— Ну, у меня не то запоетъ!

И всякій потомъ опускалъ руки.

Одинъ изъ самыхъ „ретивыхъ“ смотрителей К. разсказывалъ мнѣ.

— Да вы понятія имѣть не можете, что это за человѣкъ. Взялся я за него. Каждый день 30 розогъ.— Да вѣдь какихъ! Порція. Прихожу утромъ на раскомандировку. Кобыла стоитъ, палачъ, розги. Вмѣсто „здравствуйте!“—первый вопросъ: „Шкандыба, на работу идешь?“—„Никакъ нѣтъ!“ — „Драть!“ Идетъ и ложится. До чего вѣдь, подлецъ, дошелъ. Только прихожу, еще спросить не успѣю, а онъ ужъ къ кобылѣ идетъ и ложится. Плюнулъ!



Арестантскіе типы. Убійца.

Другой смотритель, тоже „ретивый“, которому давали Шкандыбу на укрощеніе, говорилъ мнѣ:

— Одно время думали,—можетъ, онъ какой особенный, къ боли нечувствительный. Доктору давали изслѣдовать. „Нѣтъ,—говоритъ,—ничего, чувствительный“. Драть, значитъ, можно.

„Спектакли“, которые ежедневно по утрамъ Шкандыба давалъ каторгѣ, составляли развлеченіе для тюрьмы. Глядя на него, и другіе „храбрились“, „молодечествовали“ и смѣлѣй ложились на кобылу.

Кромѣ того, каторга „дерзила“:

— Что вы, на самомъ дѣлѣ, ко мнѣ пристаете съ работой? Вы, вонъ, подите, Шкандыбу заставьте работать! Небось, не заставите!

Шкандыба давалъ „заразительный примѣръ“.

Его просили ужъ работать хоть „для прилика“:

— Шкандыба, чортъ, хоть метлу возьми, дворъ подмети! Вотъ и вся тебѣ работа!

— Не желаю. Чего я буду мести? Не я насорилъ, — не я и мести буду. Я что насорю,—самъ за собой приберу.

— Ну, не мети, чортъ съ тобой! Хотя метлу-то въ руки возьми!

— Зачѣмъ мнѣ ее въ руки брать? Она не маленькая. И одна въ углу постоитъ. Ей не скучно: тамъ другія метлы есть.

— Разъ, впрочемъ, топоръ въ руки взялъ!—смѣется Шкандыба.

— Работать хотѣлъ?

— Нѣтъ, надзирателю голову отрубить надо было. Надзиратель такой былъ, Чижиковъ. Выслужиться хотѣлъ. „Я, — говоритъ,—его заставлю работать. Не безпокойтесь. Что его драть, — процедура длинная! Я его и такъ, и кулакомъ по мордѣ“. Разъ меня въ рыло, два меня въ рыло. Походя бьетъ. „Духъ,—говоритъ, — я изъ тебя вышибу!“—„Смотри,—говорю,—чтобъ тебѣ кто въ рыло не заѣхалъ!“— „Я,—говоритъ,—не опасаюсь!“—„Ну, а я, — говорю, — опасаюсь!“ Пошелъ, взялъ топоръ, хлясть его по шеѣ. Напрочь хотѣлъ башку отрубить,—вчистую. Тогда ужъ никто въ рыло его не смажетъ.

— И что же, насмерть?

— Жалко, живъ остался. Наискось махнулъ. А еще мясникомъ былъ, туши рубилъ. Разъ—и готово. А тутъ не сумѣлъ этакого пустого дѣла сдѣлать. Топоръ сорвался, стало-быть!

За это Шкандыбу приковали къ стѣнѣ и приговорили къ вѣчной каторгѣ.

— Сижу у стѣны прикованный: „Что, молъ, взяли, работаю?“

Замѣчательно. Все дѣлали со Шкандыбой. Только одного не пришло никому въ голову: освидѣтельствовать состояніе его умственныхъ способностей.

А странностей у Шкандыбы, и помимо упорнаго нежеланія работать, много.

То онъ начинаетъ вдругъ пѣть во все горло. То разговариваетъ, разговариваетъ,—вскочитъ и убѣжитъ, какъ полоумный.

— Юродствуетъ!

— Сумасшедшимъ прикидывается, чтобы не драли!

— Нагличаетъ: „Вотъ, молъ, всѣ работаютъ, а я пѣсни орать буду“.

Такъ рѣшало тюремное сахалинское начальство, а когда на Сахалинѣ появились дѣйствительно гуманные врачи, готовые взять подъ свою защиту больного, борьба со Шкандыбой была уже кончена: на него „плюнули“ и зачислили богадѣльщикомъ, чтобы хоть какъ-нибудь оформить его „неработаніе“.

А, впрочемъ, Богъ его знаетъ, можно ли признать Шкандыбу сумасшедшимъ. Ненормальнаго, страннаго въ немъ много, но сумасшедшій ли онъ?

Въ одну изъ бесѣдъ я спросилъ Шкандыбу:

— Скажи на милость, чего жъ ты отказывался отъ работы?

— А потому, что несправедливо. Справедливости нѣтъ,—вотъ и отказывался.

— Ну, какъ же несправедливо. Вѣдь ты самъ говоришь: церковь ограбилъ, человѣка убилъ?

— Вѣрно!

— Присудили тебя къ каторгѣ

— Справедливо. Не грабь, не убивай.

— Ну, и работай!

— А работать не буду. Несправедливо.

— Да какъ же несправедливо?

— А такъ! Вонъ Ландсбергъ двухъ человѣкъ зарѣзалъ, а его заставляли работать? Нѣтъ, небось! Надъ нами же командиромъ былъ. Баринъ! Онъ инженеръ, или тамъ, сиперъ какой-то, что ли, дороги строить умѣетъ. Онъ не работаетъ, онъ командуетъ. А я работай! За что же, выходитъ, долженъ работать? За то, что человѣка убилъ? Нѣтъ! За то, что я дорогъ строить не умѣю. Такъ развѣ я въ этомъ виноватъ? Виноватъ, что меня не учили? Нѣтъ, братъ, каторга, такъ каторга,—для всѣхъ равна! А это нешто справедливость? Приведутъ арестантовъ: грамотный — въ канцеляріи сиди, писаремъ, своего же брата грабь. А неграмотный — въ гору, уголь копай. За что жъ онъ страдаетъ? За то, что неграмотный! Нешто его въ этомъ вина? Справедливо?

— Потому ты и не работалъ?

— Такъ точно!

— Ну, а если бы „справедливость“ была и всѣхъ бы одинаково заставляли работать, ты бы работалъ?

— А почему жъ бы и нѣтъ? Знамо, работалъ бы. Какъ же не работать? Главное, справедливость. Я потому и Чижикову голову снести хотѣлъ. За несправедливость! Бей, гдѣ положено. Драть, по закону положено, — дери! Меня каждый день драли, — я слова не сказалъ: справедливо. Потому—законъ. А по мордѣ бить въ законѣ

не показано, — и не смѣй. Ты незаконничаешь, и я незаконничать буду. Ты меня въ рыло,—я тебя топоромъ по шеѣ. А что справедливо, — я развѣ прекословлю? Сдѣлай твое одолженіе. Что хошь, только, чтобъ справедливо!

Такъ и отбылъ Шкандыба свои 24 года „чистой каторги“, не подчиняясь тому, чего не считалъ справедливымъ.

Наемные убійцы.

Они не разлучны. Гдѣ маленькій, тщедушный, вертлявый Миловановъ Карпъ, тутъ, глядишь, плетется и угрюмый, молчаливый Чернышовъ Анисимъ.

Они другъ на дружку страшно злы.

Анисимъ золъ на Карпа, какъ на доносчика:

— Черезъ его языкъ и въ каторгу попали.

Карпъ упрекалъ Анисима въ подлости:

— Языкомъ-то, братъ, вертѣть, дядя Анисимъ, нечего. Ты языкомъ-то, чисто хвостомъ, вертишь,—и туды и сюды. „Знать, молъ, ничего не знаю!“ Ишь, тоже, святой какой выискался. Нѣтъ, ты, братъ, по чистой совѣсти говори! Подлить-то нечего!

А держатся они всегда вмѣстѣ, рядомъ спятъ и изъ одного котелка хлебаютъ:

— Вмѣстѣ суждены. Другъ отъ дружки отставать нечего.

Я познакомился съ ними на островѣ; они пришли съ вновь прибывшей партіей каторжанъ.

Ихъ ввели въ комнату, гдѣ происходилъ осмотръ, и надзиратель приказалъ:

— Раздѣвайся!

Испугались оба страшно.

— Чередъ, братъ, пришелъ, дядя Анисимъ! Раздѣвайся!.. Совсѣмъ, что ль, раздѣваться-то надоть?

— Раздѣвайся, разувайся начисто.

Они въ уголышкѣ торопливо раздѣлись.

— Иди къ столу!

Длинный, какъ жердь, худой, какъ скелетъ, Чернышовъ Анисимъ зашагалъ къ столу съ самымъ несчастнымъ видомъ. Лицо сморщилось, — вотъ-вотъ навзрыдъ заплачетъ. Миловановъ Карпъ стоялъ передъ столомъ въ конецъ растерянный. Нижняя челюсть у него отвисла, въ глазахъ былъ страхъ и ужасъ. Ноги дрожали и ходуномъ ходили. Дрожащими руками онъ почесывался.

— Куды ложиться-то?—спросилъ Миловановъ.

— Зачѣмъ ложиться?

— А драть?

— За что жъ тебя драть?

— А такъ, молъ... Драть... По положенію...

Всѣ расхохотались. Миловановъ смотрѣлъ съ недоумѣніемъ.

— Нѣтъ, братъ, тебя драть не будутъ. Пока еще не за что. Вотъ сдѣлаешь что, тогда выпорютъ!

— Покорнѣйше васъ благодарю!

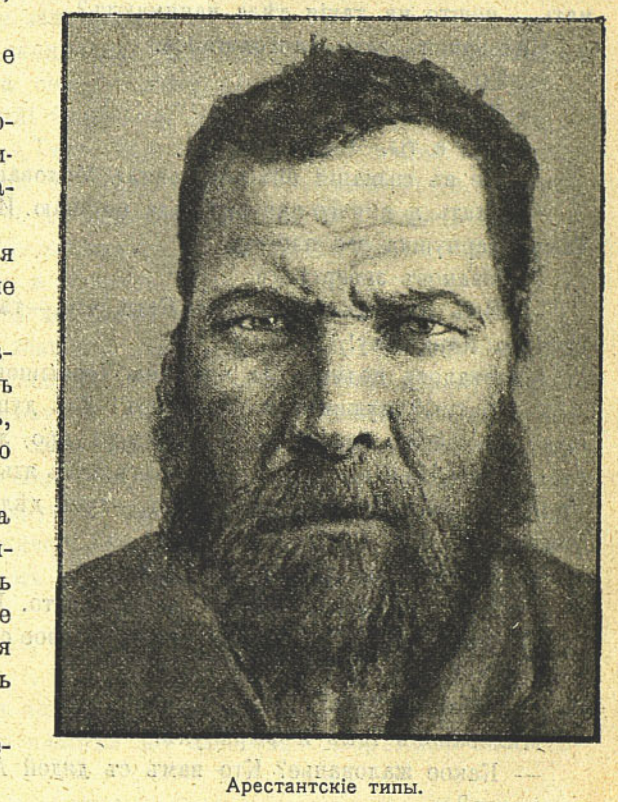
Всѣ опять расхохотались. Оживщій Миловановъ и самъ засмѣялся.

— Слышь, дядя Анисимъ, драть-то не будутъ? Слышишь?

— Слышу!—отвѣчалъ Анисимъ такимъ равнодушнымъ тономъ, словно его нисколько это не интересовало.

Радость сдѣлала Милованова болтливымъ. Онъ пришелъ въ пріятное нервное возбужденіе, смѣялся и готовъ былъ болтать теперь безъ-умолку.

— За что суждены-то?



Арестантскіе типы.

— По подозрѣнію въ убійствѣ! — отчеканилъ Миловановъ — обычный каторжный отвѣтъ. — Хозяина, стало-быть, убили!

— Съ грабежомъ?

— Нѣ! Зачѣмъ съ грабежомъ! Богъ миловалъ! Ничего не грабили. Такъ убили.

— За что же убили?

— За что убиваютъ? Извѣстно, за деньги! Такое уже положеніе чтобъ за деньги!

— Хозяйка насъ запутала!—мрачно пояснилъ Анисимъ.

— Такъ точно. Денегъ дала!—подтвердилъ и Карпъ.

— Наняли васъ, значитъ?

Карпъ посмотрѣлъ удивленно.

— Чего жъ насъ нанимать было? Мы и такъ въ работникахъ жили!

— А какъ же, говоришь, деньги?

— Благодарить — благодарила. Это ужъ какъ водится. А нанимать... нешто на такія дѣла нанимаютъ?

Миловановъ даже расхохотался.

— Ты и убивалъ?

— Я самый!

— Ну, а ты, Чернышовъ?

— Не въ сознаніи онъ!—вставилъ Миловановъ.

— Знать я ничего про эти дѣла не знаю. И слухомъ не слыхалъ! Такъ, Карпушка все плететъ!

Миловановъ завертѣлся.

— Ишь ты, сдѣлай милость. Какъ что,—такъ ты. А въ отвѣтъ, сейчасъ Карпушку!

Миловановъ подмигнулъ намъ на Чернышова.

— Хитрый мужикъ! Куда хитеръ! Двѣ души при себѣ имѣетъ. Одну про себя бережетъ. А другу-то про людей, на, поди: чистехонька! „Не я да не я!“ Нѣтъ, братъ, тутъ языкомъ-то мести нечего. Ужъ разъ какъ въ каторгу попали,—тутъ дѣло ясное! Стало-быть, убили!

— Да какъ же дѣло-то вышло?

— Да какъ вышло! Очинно даже просто. Говорю—черезъ бабу!

— Въ работникахъ жили!—вставилъ свое слово Анисимъ, словно все объяснилъ.

— За жалованье?

Миловановъ такъ и фыркнулъ:

— Какое жалованье? Кто намъ съ дядей Анисимомъ жалованье положитъ?

И, дѣйствительно, парочка была убогая, на рѣдкость. Оба тщедушные, жалкіе, слабосильные до послѣдней степени, такіе, про которыхъ говорится: „Плевкомъ перешибешь“. Головы у обоихъ на рѣдкость маленькія—словно пучки какіе-то торчатъ. Лица глупыя, возбуждающія жалость. И какъ ихъ Богъ, такихъ, „не въ пору вмѣстѣ свелъ“.

— Такъ, за ради Христа, жили. Я-то шесть годовъ у хозяина выжилъ, а дядя Анисимъ черезъ два года пришелъ. Вѣрно говорю, дядя Анисимъ?

— Четыре года объ вешнемъ Николѣ было. Это вѣрно!—подтвердилъ Чернышовъ.

— Мельникъ хозяинъ-то былъ. Мельница своя была. Пришелъ я это къ мельницѣ, да и сѣлъ. И сижу.

— Да ты куда жъ шелъ?

— А такъ, никуды не шелъ. Куды мнѣ итти? Шолъ, и шелъ, и сѣлъ.

— Да ты чѣмъ же занимался?

— Да ничѣмъ не занимался. Такъ. Иду, иду,—гдѣ въ работники возьмутъ, за хлѣбъ за соль, — живу. Прогонятъ, — дальше пойду. Человѣкъ слабосильный! Сижу это. Мельникъ и увидалъ. „Чего,— говоритъ,—сидишь?"—„Такъ, молъ, не будетъ ли милость, не возьмете ли въ работники за Христа ради? Настоящимъ-то, то-есть, работникомъ куды мнѣ! А такъ, по дому, что поковырять могу".— „Живи!" говоритъ. Смилостивился. Я и зачалъ жить. А потомъ и дядю Анисима встрѣлъ и привелъ.

— Знакомы вы, что ли, были?

— Нѣтъ, зачѣмъ знакомы! Такъ. Шелъ по дорогѣ, смотрю, идетъ слабосильный человѣкъ, дохлый. „Куды, молъ, дядя?"—„Никуды, молъ. Безъ пристанища".—„Идемъ къ нашему хозяину. Мужикъ добрый. Можетъ, жить оставитъ!" Чисто дворняжка,—расхохотался самъ надъ собой Миловановъ,—возьми одну дворняжку, она тѣ сейчасъ и другую приведетъ! Хозяинъ и дядю Анисима взялъ: „пущай живетъ, по мельницѣ тамъ что ковыряется". Такъ мы оба и живемъ и ковыряемся! Когда одежину подарятъ, когда что.

— Дурно обращался, можетъ, съ вами хозяинъ! Злы на него были?

— Зачѣмъ?—даже испугался Миловановъ.—Для насъ онъ былъ, какъ ангелъ, дуракомъ никогда не назоветъ! Добрѣющій былъ хозяинъ!

— Мужикъ былъ хорошій!—мрачно подтвердилъ и Чернышовъ.

— Не надо лучше былъ человѣкъ. Это вѣрно!

— А убили! Какъ же такъ?

— Опять-таки, говорю, черезъ хозяйку. Хозяйка така попалась. Жена хозяинова. И такая-то баба! Такая-то баба! Все въ шерстяныхъ платьяхъ ходила. Платокъ—не платокъ, рафинадъ-баба, просто мое почтенье. Вѣрно, дядя Анисимъ?

— Баба какъ баба,—философски замѣтилъ Чернышовъ.

— Другой такой бабы, свѣтъ обойди, не найтить! Така баба! Вотъ она въ каторгу придетъ, сами увидите. Сейчасъ это все

узломъ завяжетъ и развяжетъ. Чисто лиса. По снѣгу бѣжитъ и хвостомъ за собой слѣдъ заметаетъ. Сейчасъ на глазахъ тебѣ накрутитъ, навертитъ, и сейчасъ чисто! Прямо сказать надо баба—староста. Король-баба. Съ бариномъ, съ помѣщикомъ путалась. И того закрутила. По скусу она ему пришлась, все ее въ куфарки звалъ. Ну, ей и лестно. Какъ, бывало, мужъ отойдетъ, сейчасъ къ барину. Становой еще къ нему прiѣдетъ, потому баринъ. Сладкiя водки пьютъ, орѣхами щелкаютъ. Страсть! Сколько разъ насъ съ дядей Анисимомъ къ барину посылала: „Дома, молъ, ай нѣтъ? Мужъ въ городъ ѣдетъ". Вѣрно показываю, дядя Анисимъ?

— Сколько разовъ до барина ходилъ. Это вѣрно!—поддерживалъ дядя Анисимъ.

— То-то и оно-то!

— А мужъ не зналъ?

— Гдѣ ему! Говорю, король-баба была. Зналъ бы онъ, такъ не оставилъ. Онъ бы ей показалъ барство!—засмѣялся Миловановъ.— Мужикъ былъ твердый. Вѣрно говорю, дядя Анисимъ? Что жъ ты молчишь?

— Онъ бы ее поучилъ!

— Онъ бы ее такъ поучилъ! Этого-то она и боялась. Ей и боязно. Опять же и въ куфарки къ барину пойти лестно. Она и егозитъ, она и егозитъ. Что ужъ дѣлать-то, не знаетъ. И надумала!

— Постой, постой! А вы-то, какъ же? Хозяинъ, говорите, благодѣтель былъ, а вы отъ жены къ барину бѣгали? Никогда хозяину ничего не говорили?

Миловановъ посмотрѣлъ съ удивленiемъ:

— Нешто между мужемъ и женой встревать можно? Ихнее дѣло хозяйское, наше дѣло работницкое. Сказали — иди. Чай, тоже къ дому-то привыкли. Собака, и та къ человѣку привыкаетъ!.. Вотъ она, хозяйка-то, и надумала. Позвала насъ съ дядей Анисимомъ въ горницу, за столъ посадила. Таково вѣжливо, по-хорошему: „Вы бы, — говоритъ, — дяденька Карпъ, еще откушали! Вы бы, дескать, дяденька Анисимъ, еще скушали". Ахъ, хитрая баба! Ахъ, хитрая! Пирогомъ угостила, водки по стаканчику поднесла, и полштофъ не убрала, на столъ поставила, честь честью. „У меня,— говоритъ,—къ вамъ, дяденька Анисимъ и дяденька Карпъ, дѣло есть. Безпремѣнно хозяина моего надо убить!" У меня глаза на лобъ и вылѣзли. „Какъ, молъ, убить? Почто?"—„А по то,—говоритъ,—что узнаетъ онъ про барина, и мнѣ живой не быть, и васъ со двора по шеѣ. Сдохнете съ голода!"—„Это, молъ, вѣрно!"—

„Вы ужъ,—говоритъ,—въ моемъ дѣлѣ помогите, а я васъ не оставлю“. И по поясочку намъ подноситъ. „А по рубахѣ,—говоритъ,—за мной. Какъ вы мнѣ все по-хорошему сдѣлаете, и баринъ васъ не забудетъ“. Такъ и льститъ, хвостомъ и мететъ. „А не согласны, молъ, такъ я такого мужу про васъ наговорю, палкой со двора сгонитъ“. Баба льстивая, извѣстно, — можетъ. „А окромя того,—говоритъ,—какъ я къ барину вхожа и съ господиномъ становымъ завсегда въ кумпаніи, то можно васъ и насчетъ пачпортовъ пощупать. Каки-таки у васъ пачпорта просрочны, и на какомъ основаніи имѣете вы полное право жить?“ Ишь, куда подпустила, ишь! Тоже вшей-то кормить въ острогѣ никому неохота. Баба, знаемъ, могутная, со становымъ завсегда одна кумпанья, засудитъ! Что захочетъ, то съ тобой и сдѣлаетъ. Пошли это мы съ дядей Анисимомъ, мерекаемъ. „Какъ, молъ, дядя Анисимъ. Ишь, какое дѣло!“ — „Тебѣ, молъ, виднѣе, дядя Карпъ, какъ и что“.



Арестантскіе типы.

— Ничего я про эти дѣла не знаю!—упрямо, словно дятелъ въ то же мѣсто стукнулъ, отозвался Чернышовъ.

„Не знаю!“ А ружье-то кто приносилъ? Ты же приносилъ!—огрызнулся Миловановъ.—Потужили мы съ дядей Анисимомъ, потужили, хозяина жаль. Ну, да вѣдь изъ такого-то дома уходить нехотца. Куда мы пойдемъ, такіе-то? Кто насъ возьметъ? Да и къ дому привыкли, уходить жаль. Собака, говорю, и та привыкаетъ. Потужили, потужили, къ хозяйкѣ приходимъ: „Ладно, молъ, сдѣлаемъ! Ты ужъ потомъ, какъ знаешь!“—„Это ужъ,—говоритъ,—не

ваша забота. Вы только застрѣлите, а потомъ на кого другого подумаютъ. Я ужъ сдѣлаю!“ Извѣстно, баринъ у ей, человѣкъ-деньга, опять же становой постоянно одна кумпанья. Что хотятъ, то и сдѣлаютъ. И рѣшились.

— Такъ вы бы хозяину-то лучше сказали, какое дѣло затѣвается. Вѣдь „ангелъ былъ человѣкъ“.

— Говорилъ!—махнулъ рукой Миловановъ.—Ничего не вышло. И вниманія не взялъ. Мнѣ хозяина-то было жалко. Удосужился, говорю: „Ты, молъ, хозяинъ, поглядывай!“—„А чего,—говоритъ,—мнѣ поглядывать?“—„А такъ, молъ, не вышло бы чего!“—„А чего?“ говоритъ. „А того, молъ, поглядывать надоть!“—„Шелъ бы ты,—говоритъ,—дядя Карпъ, мѣшки изъ сарая носить, ничѣмъ неизвѣстно что болтать, право!“ Такъ и вниманья не взялъ. Я свое сдѣлалъ, что полагается, я сказалъ, а ужъ тамъ его было дѣло, какъ раздумать. А напрямки-то намъ тоже говорить не полагается. Мужнино—женино дѣло. Это ужъ самъ разбери. Наше дѣло сказать. Такъ черезъ себя и погибъ человѣкъ! Пошелъ это после полденъ: „Я, — говоритъ, — въ сторожку заснуть пойду“. Въ лѣсу это сторожка была. „Дома, — говоритъ, — отъ мухъ безпокойно“. Я дядю Анисима и подтолкнулъ: „Да и намъ, молъ, зѣвать не приходится!“ Пошелъ это дядя Анисимъ въ горницу, принесъ ружьишко.

— Ничего я про это дѣло не знаю!

— Не приносилъ, скажешь, ружья? Ахъ, хитрая душа — человѣкъ! Ахъ, хитрая! Экъ, языкомъ-то вертитъ! И туды и сюды, куды хочешь, повернетъ! Ахъ ты, прости, Господи! — покачалъ Миловановъ головой въ высшей степени укоризненно.—Пошли мы съ дядей Анисимомъ къ сторожкѣ. Подобрались это тихохонько. Боязно. А ну, какъ встанетъ, да насъ лупить примется. „Посмотри,—говорю,—дядя Анисимъ, въ дверочку!“—„Нѣтъ,—говоритъ,—ужъ ты, дядюшка Карпъ, смотри!“ Совсѣмъ плохой мужикъ дядя Анисимъ. Такъ оплошалъ. Бѣчь хотѣлъ. „Ну, ужъ это нѣтъ,—говорю,—братъ! Ужъ вмѣстѣ шли, и будь при этомъ!“ Дверка-то такъ пріотворена, глянулъ въ сторожку, дрыхнетъ хозяинъ, и таково дрыхнетъ, храпитъ, слюна вожжой,—поѣлъ человѣкъ,—мухи по всей рожѣ такъ и ползаютъ, а онъ хоть бы что! „Въ самый,—думаю,—разъ“. Нацѣлился такъ на него ружьемъ-то, а руки-то у меня ходенемъ. Чисто курей升 кралъ! И ружье-то прыгаетъ и прыгаетъ. „Не ладно, — думаю, — еще мимо дашь, только разбудишь. Ка-акъ встанетъ онъ да пойдетъ насъ же волтузить“. Сильный былъ человѣкъ, что мы, такіе-то, супротивъ него сдѣлаемъ. Яблонька

такъ росла, прислонился я къ яблонькѣ. „Дай, отдышусь!“ думаю. А дядя Анисимъ и вовсе наземь присѣлъ, стоять не можетъ. Отдышался, наставился, прямо въ голову, приложился этакъ... пу-у-у!

И голый Миловановъ принялъ такую позу, былъ такъ жалокъ, такъ смѣшонъ въ эту минуту, что всѣ не смогли, расхохотались. Да и онъ самъ расхохотался надъ собой.

— Пу-у-у! Хозяинъ-то и завизжалъ по-свинячьи и началъ крутиться, чисто вьюнъ. А самъ-то визжитъ. Принялся я вдругорядь ружьишко заряжать. Дядя Анисимъ меня за руку, а самъ бѣлый: „Не стрѣляй,—говоритъ,—ради Господа Бога! Убѣжимъ! Страшно!“ говоритъ. „Нѣтъ ужъ, молъ, начато! Ужъ безъ того не уйду, не убивши“. Зарядилъ опять, нацѣлился, разъ! Тутъ ужъ хозяинъ и крутиться пересталъ. Только лежитъ—ойкаетъ. Поойкалъ, поойкалъ и кончился. Мы съ дядей Анисимомъ драла, да въ поле, да рожью цѣликомъ, вбѣжали на межу,—да ружье,—такъ поправѣй межи-то деревцо было,—подъ деревцомъ ямочку выкопали, ружье-то и зарыли.

— Полѣвѣй межи дерево было!—замѣтилъ дядя Анисимъ.

— Анъ, правѣе!

— Лѣвѣй, говорю!

— Анъ, поправѣе. Вотъ межа, а вотъ деревцо, какъ столъ, а вотъ отступя шага два...

И они вступили между собой въ безконечный споръ: гдѣ было деревцо, правѣй межи или лѣвѣй. Оба знали и помнили каждый кустикъ. Немного знали эти люди, но ужъ то, что знали, знали досконально.

Букашка такъ знаетъ листъ, на которомъ она выросла и живетъ.

Узенькій кругозоръ у людей,—вершка полтора въ діаметрѣ,—но зато ужъ въ этомъ кружкѣ они всякую пылинку наизусть знаютъ и мало-мало за цѣлую гору считаютъ.

— Спрятали ружье въ ямочкѣ,—продолжалъ Миловановъ, когда кончился его побѣдой споръ о деревцѣ,—домой приходимъ. „Принимай, молъ, насъ, честная вдова!“ Услыхала это хозяйка, ровно холстина сдѣлалась, на скамейку такъ и сѣла. „Развѣ вы,—говоритъ,—его ужъ порѣшили!“—„Такъ, молъ, точно. Прикончили“. Залилась слезами. „Ахъ,—говоритъ,—зачѣмъ вы это сдѣлали?“—„Ну, ужъ, молъ, теперь не воротишь. Теперь ты насъ уважать должна!“—„Пожалуйте,—говоритъ,—къ столу. Садитесь“. Полштофчикъ намъ поставила, изъ печки, что отъ обѣда осталось, достала. Сидимъ, водку пьемъ.

— Да ты, что жъ, до водки, что ль, охочь?

— Зачѣмъ? Нѣтъ! А только такъ ужъ положено. Съ окончаніемъ дѣла. Плачетъ хозяйка-то. Извѣстно, жаль, мужъ. „Ты бы, молъ, присѣла“. Поднесли ей водочки. „Ты, молъ, тоже съ нами выпей. Что жъ мы одни-то? Для кумпаньи“. Дала она намъ денегъ, три рубля бумажками, а на три четвертака мѣдью. И пошли мы спать, потому намаялись. А утромъ-то насъ и взяли.

— Какъ же случилось?

— Изъ мужиковъ кто-то шелъ, въ сторожку заглянулъ, а тамъ мертвое тѣло. Онъ содомъ и поднялъ. Кто мертвое тѣло? Мельникъ. Сейчасъ на насъ подозрѣніе и сдѣлали.

— Ну, и что жъ вы?

— Дядя Анисимъ не въ сознаньи. А я вижу, стало-быть, что все стало извѣстно, и разсказалъ. Такъ и такъ, молъ. Чего жъ тутъ молчать? Извѣстно, другого кого бы взяли, молчалъ бы. А разъ меня самого взяли, стало-быть, все одно—молчи не молчи—подозрѣніе. Хозяйка-то больно вертѣлась. Къ барину. Да нешто барину такая паскуда нужна, изъ острога-то. Баринъ себѣ другую возьметъ, бабъ много. Становому сулила три года въ куфаркахъ служить безъ жалованья. Да нѣтъ, братъ, ничего не подѣлаешь. Ужъ больно, какъ я все разсказалъ, стало извѣстно. Такъ стало извѣстно, каждое слово всякъ знаетъ. Насъ и осудили. Какъ же! Всѣхъ вмѣстѣ судили. И хозяйку на одну скамейку посадили. А баринъ-то за нее другой заступался. Тоже, видать, она ему обѣщалась въ куфарки пойтить безъ жалованья. Все на меня пальцемъ тыкалъ: „Вретъ,—говоритъ,—все! Не вѣрьте ему, господа предсѣдатели!“ А я-то встаю да перекрестился: „Какъ,—говорю,—передъ Истиннымъ!“ Мнѣ и повѣрили. Да насъ всѣхъ и въ каторгу.

Черезъ нѣсколько дней захожу въ тюрьму, въ группѣ арестантовъ хохотъ. Что такое?

Миловановъ разсказываетъ, какъ онъ за 3 руб. 75 коп. своего „не хозяина, а ангела“ убивалъ. И разсказываетъ всякій разъ во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ, посмѣиваясь тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о вещахъ, по его мнѣнію, забавныхъ, какъ хозяинъ „визжалъ по-свинячьему“, разсказываетъ просто, спокойно, словно все это такъ и слѣдуетъ.

— Какъ же это такъ, Миловановъ?—началъ я, въ видѣ опыта, какъ-то стыдить его.

Миловановъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ:

— Да вѣдь мы, ваше высокоблагородіе, люди слабосильные! Ежели бъ я сильный человѣкъ былъ, извѣстно бъ ушелъ. Потому

я вездѣ могу. А что жъ слабосильный сдѣлать можетъ. Его куда ткнуть, онъ туда и идетъ. Слабосильный, одно слово!

— Нашли тоже съ кѣмъ, ваше высокоблагородіе, разговаривать: Нешто онъ что понимаетъ? У него и ума-то и всего иного прочаго въ умаленьи! Нешто ему обмозговать, на какое дѣло идетъ! — презрительно замѣтилъ про Милованова одинъ каторжанинъ, самъ убившій одну семью въ 6 душъ, другую—въ 5. Такъ, не человѣчишко даже, а четверть человѣка какая-то!

Самоубійца.

— Опять бумагъ не переписалъ, мерзавецъ? Опять? — кричалъ въ канцеляріи Рыковской тюрьмы смотритель К. на писаря-бродягу Иванова.

Онъ любилъ показать при мнѣ свою строгость и умѣніе „держать арестантовъ".

— На кобылѣ не лежалъ, гадъ? Разложу! Ты, братъ, меня знаешь! Не знаешь, у другихъ спроси. Ты у меня на кобылѣ жизнь проклянешь, мерзавецъ! Взялъ негодяя въ канцелярію, а онъ... Въ кандальную запру, на парашу, въ грязи сгніешь, гадина!

Бродяга Ивановъ, безусый, безбородый юноша, сидѣлъ съ блѣднымъ лицомъ и синими дрожащими губами и писалъ.

— Нельзя иначе съ этими мерзавцами!—пояснилъ мнѣ К., когда мы шли изъ канцеляріи.—Я ихъ держать умѣю! Они меня знаютъ, мои правила. Не скажу слова, а ужъ сказалъ, вѣрно, будетъ сдѣлано.

Вечеромъ я пилъ въ семьѣ К. чай, какъ вдругъ прибѣжалъ надзиратель:

— Самоубивство!

— Какъ? Что? Гдѣ?

— Въ канцеляріи самоубивство. Писарь Ивановъ, бродяга, застрѣлился.

Мы съ К. побѣжали въ канцелярію. Иванова ужъ не было.

— Въ лазаретъ потащили!

Рядомъ съ канцеляріей, въ маленькой надзирательской, пахло порохомъ, на лавкѣ и на полу было немножко крови. На столѣ лежалъ револьверъ.

— Чей револьверъ?

— Мой!—съ виноватымъ видомъ выступилъ одинъ изъ надзирателей.

— Подъ судъ тебя, мерзавца, отдать! Подъ судъ!—затопалъ ногами К.—Въ послѣдственное тебя сейчасъ посадить велю!

— Виноватъ, не доглядѣлъ!..

— Надзиратель, мерзавецъ! Револьверы по столамъ у него валяются!

— Только на минутку отлучился, а онъ въ каморку зашелъ, да и бацъ.

— Всѣхъ подъ судъ упеку, подлецы!

— Записку вотъ оставилъ!—доложилъ одинъ изъ писарей.

На восьмушкѣ бумаги карандашомъ было написано:

— „Прошу въ моей смерти никого не винить, стрѣляюсь по собственному желанію.

1) „Во всемъ разочарованъ.

2) „Меня не понимаютъ.

3) „Прошу написать такой-то (указанъ подробный адресъ въ Ревелѣ), что умираю, любя одну только ее.

4) „Тѣла моего не вскрывать, а если хотите, подвергните кремаціи. Пожалуйста!

5) „Прошу отслужить молебенъ Господу Богу, Котораго не признаю разумомъ, но вѣрю всей душой.

„Бродяга Ивановъ“.

— Мерзавецъ!—заключилъ К.—Пишите протоколъ.

— Живъ, можетъ-быть, останется!—объявилъ пришедшій докторъ.—Пуля не задѣла сердца. А здорово!

— Не мерзавецъ? — возмущался К. — А? Этакую штуку удрать! У надзирателя револьверъ взять!.. Ты, тетеря, ежели ты мнѣ еще будешь револьверы разбрасывать... Въ оба смотри! Вѣдь народъ кругомъ. Пишите протоколъ, что тайно похитивъ револьверъ...

Онъ принялся диктовать протоколъ.

Писаря въ канцеляріи были смущены, ходили какъ потерянные, надзиратели ругались:

— Чуть въ бѣду изъ-за васъ, изъ-за чертей, не попали!

Смотритель, когда докторъ ему сказалъ, что Ивановъ поправляется, крикнулъ:

— Знать про мерзавца не хочу

И безпрестанно повторялъ:

— Скажите, пожалуйста, какія нѣжности! Стрѣляться, мерзавецъ!

Докторъ говорилъ мнѣ, что писаря каждый день ходятъ справляться въ лазаретъ объ Ивановѣ:

— Мальчикъ-то,—говорятъ,—ужъ очень хорошій.

Я увидѣлъ Иванова, когда онъ ужъ поправлялся. Докторъ предложилъ мнѣ:

— Зайдемъ!

— А я его обезпокою?

— Нѣтъ, ничего. Онъ будетъ радъ. Я ему говорилъ, что вы о немъ справляетесь. Онъ спросилъ: „Неужели?“ Ему это было пріятно. Зайдемъ.

Ивановъ лежалъ, исхудалый, желтый, какъ воскъ, съ бѣлыми губами, съ глубоко провалившимися, окруженными черной каймой глазами.

Я взялъ его худую, еле теплую, маленькую руку.

— Здравствуйте, Ивановъ! Ну, какъ? Поправляетесь?

— Благодарю васъ!—тихимъ голосомъ заговорилъ онъ, пожимая мнѣ руку.—Очень благодарю васъ, что зашли!..

Я сѣлъ около.

— Вы, значитъ, меня не презираете? — спросилъ вдругъ Ивановъ.

— Какъ? За что? Господь съ вами!

— А тогда... въ канцеляріи... смотритель... „Подлецъ“... „Мерзавецъ“... „Гадъ“... Про кобылу говорилъ... Господи, при постороннемъ-то!

Ивановъ заволновался.

— Не волнуйтесь вы, не волнуйтесь... Ну, за что жъ я васъ буду презирать? Скорѣе его.

— Его?

Ивановъ посмотрѣлъ на меня удивленно и недовѣрчиво.

— Ну, конечно же, его! Онъ ругался надъ беззащитнымъ.

— Его же? Его?—у Иванова было радостное лицо, на глазахъ слезы.—А я вѣдь... я... я не то думалъ... я ужъ думалъ, что ужъ— что жъ я... Такъ ужъ меня... что жъ я теперь... самыми послѣдними словами... на кобылу!.. Какой же я человѣкъ.

Онъ заплакалъ.

— Ивановъ, перестаньте. Вредно вамъ! — уговаривали мы съ докторомъ. — Не огорчайтесь пустяками!

— Вѣдь нѣтъ... ничего... это такъ... это не отъ горя...

Онъ плакалъ и бормоталъ:

— А я... я... хотя и мало учился... а книжки читалъ... самъ читалъ... я человѣкъ все-таки образованный.

Бѣдняга, онъ и „кремацію“ ввернулъ въ предсмертную записку, вѣроятно, чтобы показать, что онъ человѣкъ образованный.

И лежалъ передо мной мальчикъ, самолюбивый, плакавшій мальчикъ, а онъ въ каторгѣ.

— У мерзавца были? — встрѣтился со мной у лазарета К. — Вотъ поправится, я въ кандальную его за эти фокусы!

Оголтѣлые.

— Ну, не подлецы? Не подлецы? А? Ну, что съ этимъ народомъ дѣлать? Ну, что съ нимъ дѣлать? — взволнованно говорилъ старикъ-смотритель поселеній въ Рыковскомъ.

— Да что случилось?

— Понимаете, опять двухъ человѣкъ убили. Хотите, идемъ вмѣстѣ на слѣдствіе.

Дорогой онъ разсказалъ подробности.

Два поселенца — „половинщики“, жившіе вмѣстѣ „для совмѣстнаго домообзаводства“, т.-е. въ одной хатѣ, убили двоихъ зашедшихъ къ нимъ переночевать бродягъ.

Убили, вѣроятно, ночью, когда тѣ спали. А на утро разрубили трупы на части, затопили печку и хотѣли сжечь трупы.

— Хотя бы прятались, канальи! — возмущался смотритель поселеній. — А то двери настежь, окна настежь, словно самое обыкновенное дѣло дѣлаютъ. Вѣдь вотъ до чего оголтѣлость дошла! Дѣвчонка ихъ и накрыла. Сосѣдская дѣвчонка. Зашла зачѣмъ-то къ нимъ въ хату. Смотритъ, вся хата въ кровищѣ, а около печки какое-то мѣсиво лежитъ, и они тутъ сидятъ, около печки, жгутъ. Не черти? Ну, заорала благимъ матомъ, сосѣди собрались! Тутъ ихъ за занятіемъ и накрыли. И не запирались, говорятъ.

Въ мертвецкой, посрединѣ на столѣ, лежала груда мяса. Руки, ступни, мякоть, изъ которой торчали раздробленныя кости. И пахло отъ этой груды свѣжей говядиной.

Этотъ говяжій запахъ, наполнявшій мертвецкую, словно мясную лавку, былъ страшнѣе всего.

Между кусками выглядывало замазанное кровью лицо съ раскрытымъ ртомъ.

— Другая голова вотъ здѣсь! — пояснилъ надзиратель, брезгливо указывая на какую-то мочалку, густо вымазанную въ крови.

Голова лежала лицомъ внизъ, это былъ затылокъ.

Въ дверь съ ужасомъ и любопытствомъ смотрѣли на груду мяса ребятишки.

— Ахъ, подлецы! Ахъ, подлецы! — качалъ головой смотритель поселеній. — Пишите протоколъ! Идемъ на допросъ.

Въ то время слѣдователей на Сахалинѣ не было, и слѣдствіе пребезграмотно вели гг. служащіе.

Передъ канцеляріей смотрителя поселеній стояла толпа любопытныхъ. Въ канцеляріи стояли два поселенца среднихъ лѣтъ, со связанными назадъ руками, съ тупыми, равнодушными лицами. Оба были съ ногъ до головы вымазаны въ крови.

— Ваше высокоблагородіе, явите начальническую милость, отпустите домой! — взмолились они.

Смотритель поселеній только дико посмотрѣлъ на нихъ.

— Какъ домой?..

— Знамо, домой! Вѣдь что же это такое? Руки скрутили, сюда привели, домъ роспертъ. Вѣдь тоже, чай, домообзаводство есть. Немного хочь, а есть. Старались, — теперь разворуютъ. Дозвольте домой.

— Да вы ополоумѣли, что ли, черти?

— Ничего не ополоумѣли, дѣло говоримъ! Чего тамъ!

— Молчать! Развязать имъ руки, вывести на дворъ, пусть хари-то хоть вымоютъ. Глядѣть страшно. Вымазались, дьяволы!

— Вымажешься!

Черезъ нѣсколько минутъ ихъ ввели обратно, умытыхъ: хотя на лицахъ и рукахъ-то не было крови.

— Пиши протоколъ допроса!—распорядился писарю смотритель поселеній.

— Чего тамъ допросъ? Какой допросъ? Пиши просто: убили. Все одно, не отвертишься, вертѣться нечего. Тамъ домъ разворуютъ, а они допросъ!

— Съ грабежомъ убійство?

— Съ грабежомъ! — презрительно фыркнулъ одинъ изъ поселенцевъ. — Тоже грабежъ! 40 копеекъ взяли.

— Сколько при нихъ найдено денегъ?

— Сорокъ четыре копейки! — отвѣчалъ надзиратель.

— Изъ-за 40 копеекъ загубили двѣ души? — всплеснулъ руками смотритель поселеній.

— А кто жъ ихъ зналъ, души-то эти самыя, сколько при нихъ денегъ! Пришли двое незнакомыхъ людей, невѣдомо отколь. „Пусти переночевать", просятся. По семиткѣ заплатили. „А на постоялый намъ, говорятъ, не расчетъ". Думали, фартовый какой народъ, и пришили. А стали шарить, только 40 копеекъ и нашарили. Вотъ и весь грабежъ. Отпусти, слышь, домой. Яви начальническую милость. Что жъ, изъ-за сорока копеекъ дому, что ль, погибать? Все немного, а глядишь, на десятокъ рублей наберется! Растащатъ вѣдь!

— Отвести ихъ пока въ одиночку!

— Изъ-за сорока-то копеекъ въ одиночку. Тфу ты! Господи!

Поселенцы, видимо, „озоровали“.

— Хучь четыре копейки-то отдайте! За ночлегъ вѣдь плачено!

— На казенный паекъ попали! — посмѣивались въ толпѣ другіе поселенцы.

— А то что жъ! Съ голоду, что ль, на волѣ пухнуть? — отвѣчалъ одинъ изъ убійцъ.

Другой шелъ слѣдомъ за нимъ и ругался:

— Ну, порядки!

— Ну-съ, идемъ на мѣсто совершенія преступленія.

У избы, гдѣ было совершено убійство, стояли сторожа изъ поселенцевъ. Но вытащено было, дѣйствительно, все. Въ избѣ ни ложки ни плошки. Все вычищено.

— Охъ, достанется вамъ! — погрозился на сторожей смотритель поселеній.

— Дозвольте объяснить, за что, ваше высокоблагородіе? Помилте, нешто можетъ что у поселенца существовать? Голь, да и только. Опять же, какъ спервоначалу народъ сбѣжался, сторожей еще приставлено не было; извѣстно, чужое добро, всякъ норовитъ, что стащить!

Избенка была маленькая, конечно, безъ всякихъ службъ, покривившаяся, покосившаяся, наскоро сколоченная, какъ наскоро „для проформы“ сколачиваются на Сахалинѣ обязательныя „домообзаводства“.

Воняло, полъ былъ липкій, сырой, на скамьяхъ были зеленыя пятна. Всюду не высохшая еще кровь.

Въ углу маленькая печурка, около которой еще стояла лужа крови. Устье — крохотное.

— Вѣдь это имъ до вечера пришлось бы жечь! — сказалъ начальникъ поселеній, заглядывая въ печку.

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе, одну руку только обжечь успѣли. Такъ обуглилась еще только! — подтвердилъ надзиратель. — Безпремѣнно бы весь день жгли.

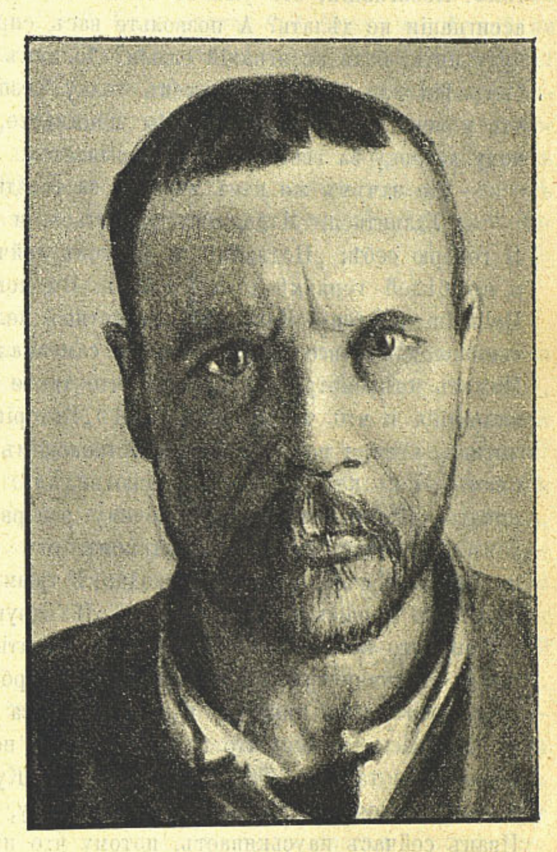
— Не оголтѣлость, я васъ спрашиваю? Не оголтѣлость? — въ ужасѣ взывалъ смотритель поселеній.—Пиши протоколъ осмотра!

Интеллигентъ.

— Позвольте-съ! Позвольте-съ! Господинъ, позвольте-съ, — догналъ меня въ Дербинскомъ пьяный человѣкъ, оборванный, грязный до невѣроятія, съ синякомъ подъ глазомъ, разбитой и опухшей

губой. Шаговъ на пять отъ него разило перегаромъ. Онъ заградилъ мнѣ дорогу.

— Господинъ-писатель, позвольте-съ. Потому какъ вы теперь матеріаловъ ищете и біографіи ссыльно-каторжныхъ пишете, такъ вѣдь мою біографію, плакать надо, ежели слушать. Вы нравственныя обязательства, дозвольте васъ спросить, признаэте? Очень пріятно! Но разъ вы признаете нравственныя обязательства, вы обязаны меня удостоить бесѣдой и все прочее. Вѣдь это-съ человѣческій документъ, такъ сказать, передъ вами. Землемѣръ. Мы вѣдь тоже что-нибудь понимаемъ. Парлэ ву франсэ? Вуй? И я. Я еще, можетъ-быть, когда вы клопомъ были, въ народъ ходилъ-съ. И вдругъ ссыльно-каторжный! Позвольте, какимъ манеромъ? И всякій меня выпороть можетъ. Справедливо-съ?



Арестантскіе типы.

— Да вы за что же сюда-то попали?

— Вотъ въ этомъ-то и дѣло. Это вы и должны прочувствовать. „Не убій“, говорятъ. А что я долженъ дѣлать, если я свою жену, любимую, любимую, — онъ заколотилъ себя кулакомъ въ грудь, и изъ глазъ его полились пьяныя слезы, — любимую, понимаете ли, жену съ любовникомъ на мѣстѣ самаго преступленія засталъ. По французскому закону, — „туэ-ля!“ — и кончено дѣло. Позвольте-съ, это на театрѣ представляютъ, великій сердцевѣдъ Шекспиръ и Отелло, венеціанскій мавръ, и вся публика рукоплещетъ, а меня въ каторгу. Въ каторгу? Гдѣ же справедли-

вость, я васъ спрашиваю? И вдругъ меня сейчасъ на кобылу: зачѣмъ фальшивыя ассигнаціи дѣлаешь?

— Позвольте, да васъ за что же сюда сослали: за убійство жены или за фальшивыя ассигнаціи?

— Въ этомъ-то все и дѣло. Жена сначала, а ассигнаціи потомъ. Ассигнаціи, это ужъ съ отчаянія. Позвольте-съ! Какъ же мнѣ ассигнаціи не дѣлать? А позвольте васъ спросить, съ чего я водку буду пить, безъ ассигнацій ежели? Долженъ я водку пить при такой біографіи или нѣтъ? Я долженъ водку безпремѣнно пить, потому что у меня рука срывается. Вы понимаете, срывается! Сейчасъ я хочу веревку за гвоздь, и рука срывается.

— Да зачѣмъ же вамъ веревку за гвоздь?

— Удавиться. Я долженъ удавиться, и у меня рука срывается. Я говорю себѣ: „Подлецъ!" и долженъ сейчасъ водку пить. Потому я въ бѣлой горячкѣ долженъ быть. Вы понимаете бѣлую горячку? Delirium tremens! Какъ интеллигентный человѣкъ! Потому сейчасъ самоанализъ и все прочее. У меня самоанализъ, а меня на кобылу. Можетъ мнѣ смотритель сказать, что такое Бокль, и что такое цивилизація и что такое Англія? Я „Исторію цивилизаціи Англіи" читалъ, а меня на кобылу. Я Достоевскимъ хотѣлъ быть! Достоевскимъ! Я въ каторгѣ свою миссію видѣлъ. Да-съ! Я записки хотѣлъ писать. И все разорвано. А почему разорвано? Отъ смиренія духомъ. Я сейчасъ себя посланникомъ отъ ея величества госпожи цивилизаціи счелъ, и въ пароходномъ трюмѣ безграмотному народу безплатно прошенія сталъ писать. И вдругъ меня убить хотятъ! Потому что какой-то бродяга Иванъ, обратникъ, имъ сейчасъ прошенія къ министру финансовъ и къ петербургскому митрополиту о пересмотрѣ дѣла пишетъ, а по рублю за прошеніе беретъ, а я отказываюсь, потому что глупо. Глупо и невѣжественно. „Ахъ, говорятъ, ты такъ-то. Ты народъ губить? Куда слѣдуетъ, прошенія писать не хочешь? Иванъ къ митрополиту, а ты не желаешь?" И Иванъ сейчасъ науськиваетъ, потому что практику отбиваю. „Бей его! Бей на-смерть! Онъ нарочно, куда слѣдуетъ, прошеній не пишетъ. Съ начальствомъ заодно. Онъ себѣ въ бумаги вписываетъ, и какъ водку пьемъ и какъ въ карты играемъ, чтобы потомъ начальству все открыть". И вдругъ мнѣ ночью накрываютъ темную и хотятъ убить и записки мои рвутъ, и потомъ начальству говорятъ всѣмъ трюмомъ: „Онъ воруетъ". А пароходный капитанъ: „Я тебя выпорю!" говоритъ. Позвольте-съ! Вы можете знать, о чемъ я думаю? Я сейчасъ здѣсь, въ тюрьмѣ, сижу, мнѣ темную дѣлаютъ, а мой оскорбитель на судъ въ перстняхъ является, и невѣста въ

публикѣ. И его сейчасъ дамы лорнирують. И онъ благороднаго рыцаря играетъ. „Ничего, говоритъ, подобнаго!“ Развѣ возможно въ своихъ связяхъ съ порядочной женщиной признаваться? Бла-ародно! И вся публика говоритъ: „Бла-ародно!“ Позвольте-съ. И онъ сейчасъ свой очагъ имѣетъ, и жену, и неприкосновеннымъ очагъ считаетъ. Свой-то, свой. А мой осквернилъ? И ничего? Его не въ каторгу, а меня въ каторгу? Справедливо-съ? Году покойницѣ не вышло, и у него невѣста. Годъ бы, подлецъ, подождалъ! Плачу-съ! Плачу — и не стыжусь! И опять ложный доносъ напишу и стыдиться не буду. И опять! Что г. смотритель поселеній вамъ жаловался, что я ложный доносъ на него написалъ? Вѣрно! И опять напишу, потому что 20 копеекъ. Желаете, вамъ ложный доносъ напишу? На кого желаете? 20 копеекъ — и доносъ! И дерите! Дерите! Желаете драть, — дерите!

Онъ началъ разстегиваться.

— Постойте, постойте, Богъ съ вами! Опомнитесь!

— Не желаете? Не надо. А можетъ-быть, господинъ свободнаго состоянія, желаете? Такъ дерите! Не желаете? Упрашивать не буду, потому что лишенный всѣхъ правъ состоянія. Да вы образованія меня лишить можете? Духа моего интеллигентнаго лишить можете? Развѣ онъ меня поретъ? Всѣхъ поретъ, кто во мнѣ заключается. Съ Боклемъ, и со Спенсеромъ, и съ Шекспиромъ на кобылу ложусь, и съ Боклемъ, и со Спенсеромъ, и съ Шекспиромъ меня смотритель поретъ! Съ Боклемъ! И вдругъ предписаніе: „Переслать его съ попутнымъ быкомъ въ селенье Дербинское“. И я съ быкомъ. Какъ я долженъ съ быкомъ разговаривать? Какъ съ товарищемъ? Онъ, значитъ, скотъ, и я, значитъ, скотъ! Лишить правъ можете, но вѣдь не до такой же степени! Съ быкомъ. И на кобылу и розгами, розгами. Встала бы покойница, посмотрѣла бы. Ахъ, какъ бы ручками всплеснула! Въ перчаточкахъ! „Ахъ, кель-оррэръ, дерутъ его, какъ Сидорову козу. Ахъ, какъ просто!“ Это у нея любимое слово было: „Просто“.—„Ахъ,—скажетъ,—это платье. Это просто какъ-то“. Мужу измѣнять,—а его дерутъ, дерутъ! А? Какому мужу? Ко дню ангела браслетъ подарилъ.

Онъ вдругъ заоралъ благимъ матомъ:

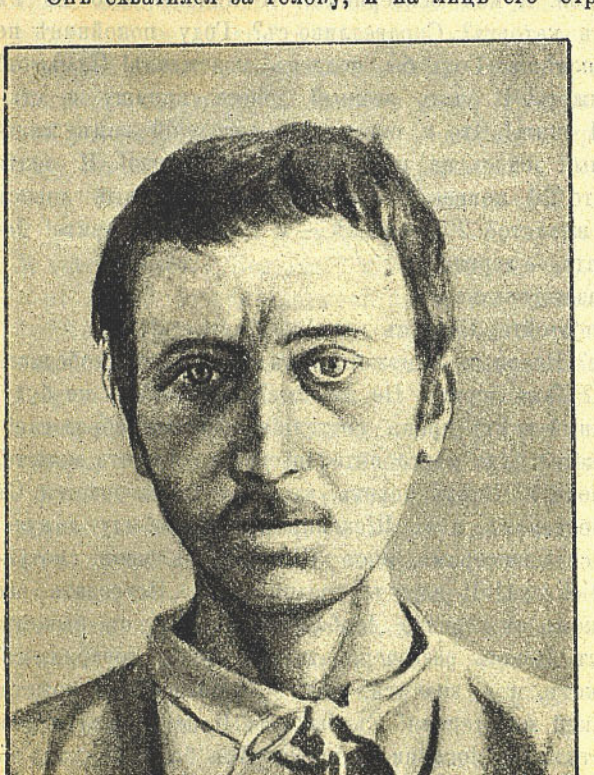
— Сафиры! Брильянты! Голконда! Горѣлъ!

И заплакалъ.

— На службѣ завтракать бросилъ. Курить пересталъ. Годъ копилъ цѣлый. Копейку къ копейкѣ. Все по частямъ въ магазинъ носилъ: „Не продавайте!“ Дома зимой въ кителѣ ходилъ, чтобы сюртукъ не носился. По той же причинѣ въ комнатахъ снималъ

сапоги и ходилъ въ туфляхъ. Казначею задолжалъ. И принесъ! Въ самый день ангела. Раньше всталъ и на цыпочкахъ. И на ночномъ столикѣ. Раскрылъ и поставилъ. И штору отдернулъ, чтобы лучъ солнца. Игра! Сижу, жду: что будетъ? Не дышу. И начала жмуриться, и глаза открыла, и вдругъ крикъ: „А-а!“

Онъ схватился за голову, и на лицѣ его отразилась мука жесточайшая.



Арестантскіе типы.

— И въ этомъ же браслетѣ засталъ! И всѣ кругомъ столько лѣтъ смѣялись, только я одинъ, дуралей, серьезный былъ. Ха-ха-ха! Такъ вотъ же вамъ! Я одинъ хохотать буду, а вы всѣ кругомъ будете въ ужасѣ. И вдругъ долженъ писать прошеніе за безграмотствомъ поселенца такого-то; прошу выдать для нужды домообзаводства изъ казны корову и бабу. А! Корову и бабу. Бабу и корову. А я сотворилъ себѣ кумиръ. Что есть женщина? Генрихъ Гейне сказалъ: „Богъ создалъ ее въ минуту вдохновенья!“ Жрать не надо, — чулочки ей шелковые, чтобы любовнику пріятнѣе ноги цѣловать было. Женщинѣ вѣдь непремѣнно ноги цѣловать надо! На колѣняхъ передъ ней! На полу! На землѣ передъ ней! Во прахъ! А тутъ корова и баба. Дайте мнѣ 20 копеекъ... Что такое? Рубль? Благородно. Понимаю. Истинно. Все, значитъ, какъ есть, понялъ: въ каторгу—и рубль ему и совѣсть чиста. Руку! Какъ интеллигентъ интеллигенту говорю: „Спасибо“. Просто и кратко! „Спасибо“.

Поэты-убійцы.

I.

Пащенко, — это его бродяжеское имя, — былъ ужасомъ всего Сахалина.

Когда Пащенко убили, этому обрадовалась прежде всего каторга.

За Пащенко числилось 32 убійства.

Онъ многократно бѣгалъ, и когда его нужно было „уличать“, сообщая изъ Одессы на Сахалинъ примѣты Пащенко, писавшіе начальники тюремъ и надзиратели добавляли:

— Только не говорите Пащенкѣ, что свѣдѣнія сообщили мы.

Придетъ и убьетъ.

Таково было страшное обаяніе его имени.

Среди всѣхъ кандальниковъ Александровской тюрьмы Пащенко нашелъ себѣ только одного „человѣка по душѣ“, такого же „тачечника“, т.-е. приговореннаго къ прикованью къ тачкѣ, какъ и онъ, Широколобова.

Широколобовъ—второй ужасъ всего Сахалина и Восточной Сибири. Кандальные сторонились отъ него, какъ отъ „звѣря“.

Широколобовъ былъ сосланъ изъ Восточной Сибири за многократныя убійства.

Широколобовъ — сынъ каторжныхъ родителей, сосланныхъ за убійства и поженившихся на каторгѣ. На портретѣ передъ вами (см. т. I, стр. 181) тупое и дѣйствительно звѣрское лицо.

Онъ попался на убійствѣ вдовы-дьяконицы. Желая узнать, гдѣ спрятаны деньги, Широколобовъ пыталъ свою жертву. Отрѣзалъ ей уши, носъ, медленно, по кусочкамъ, рѣзалъ груди. Широколобова привезли на Сахалинъ на пароходѣ „Байкалъ“ прикованнымъ желѣзнымъ обручемъ, за поясъ, къ мачтѣ.

Это былъ единственный человѣкъ, съ которымъ нашелъ возможнымъ подружиться въ тюрьмѣ Пащенко. Вмѣстѣ они и отковались отъ тачекъ и совершили побѣгъ, разломавъ въ тюрьмѣ печку.

Они ушли въ ближайшій рудникъ и скрылись тамъ. Каторжане и поселенцы должны были таскать имъ туда пищу.

Должны были, потому что иначе Пащенко и Широколобовъ вышли бы и натворили ужасовъ.

Но ихъ мѣстопребываніе было открыто.

На деревѣ, около входа въ одну изъ штоленъ, почему-то болталась тряпка. Это показалось страннымъ начальству. Не примѣта ли?

Была устроена облава, но предупрежденные Пащенко и Широколобовъ ушли и перебрались въ дальнiй Владимирскiй рудникъ.

Тамъ они скрывались точно такъ же.

Однажды, передъ вечеромъ, надзиратель изъ бывшихъ каторжанъ, кавказецъ Кононбековъ, вышелъ съ ружьемъ, какъ онъ говоритъ: „поохотиться, нѣтъ ли бѣглыхъ“.

Идя по горѣ, онъ услыхалъ внизу въ кустахъ шорохъ. Это Пащенко и Широколобовъ вышли изъ горы.

Кононбекъ приложился, выстрѣлилъ на шорохъ. Въ кустахъ раздался крикъ. Какая-то тѣнь мелькнула изъ кустовъ.

Кононбековъ бросился въ кусты. Тамъ лежалъ при послѣднемъ издыханiи Пащенко. Пуля угодила ему въ темя и пробила голову. Пащенко „подергался“, какъ говоритъ Кононбековъ, и умеръ. Широколобовъ бѣжалъ.

Все, что было найдено при Пащенко, это его „бродяжеская записная книжка“, лежавшая въ карманѣ и теперь залитая его кровью.

Потомъ эта книжка была передана мнѣ.

Пащенко былъ высокiй, статный, красивый мужикъ, лѣтъ 45, съ большой окладистой бородой, спокойнымъ, холоднымъ, „строгимъ“ взглядомъ сѣрыхъ глазъ.

Все, что осталось отъ этого страшнаго человѣка,—книжка.

Въ нее безграмотными каракулями Пащенко вписывалъ то, что ему было нужно, что его интересовало, къ чему лежала его душа,—все самое для него необходимое.

Въ ней заключается бродяжескiй календарь съ 25 августа, когда Пащенко ушелъ. Пащенко зачеркивалъ проходившiе дни. Послѣднимъ зачеркнуто 30 сентября. 1 октября онъ былъ убитъ.

Затѣмъ идетъ:

— „Маршрутъ. Отъ Срѣтенска Шилкино—97 верстъ, Усть-Кара—115“ и т. д.

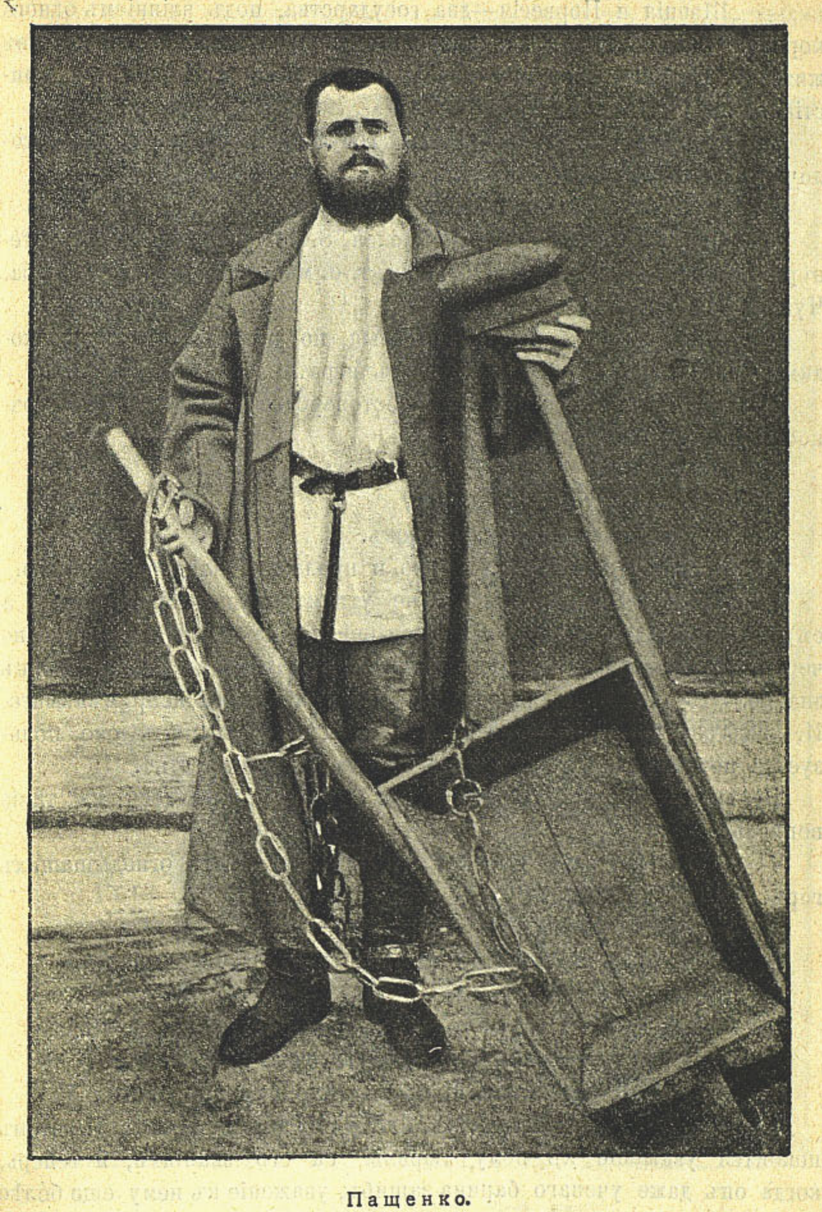
Затѣмъ идетъ нѣсколько какихъ-то адресовъ:

— „Иванъ Васильевичъ Черкашевъ, на Новомъ базарѣ, лавочка; Никита Яковлевичъ Турецкiй, уголъ Гусьевской и Зейской, собственный домъ“ и т. д.

Люди ли, у которыхъ можно остановиться, или намѣченныя мѣста, гдѣ можно „поработать“.

Затѣмъ идутъ, на первый взглядъ, странныя, но въ тюрьмѣ очень необходимыя свѣдѣнiя:

— „Посредствомъ гипнотизма можно повелѣвать чужимъ умомъ, т.-е. мозгомъ“.



Пащенко.

— „Затменье солнца 28 іюля 1896 года“.

Списокъ всѣхъ министерствъ.

— „Въ Россіи монастырей 497: мужскихъ 269, женскихъ 228“.

— „Швеція и Норвегія—два государства, подъ вліяніемъ одного короля. Занимаетъ „Скандинавскій“ полуостровъ. 5 милліоновъ жителей. Столица Швеціи — городъ Стокгольмъ и Норвегіи—„Христіанія“.

Также описаны всѣ европейскія государства, какой городъ столичный, и гдѣ сколько жителей.

Далѣе идутъ свѣдѣнія о „китайской вѣрѣ“.

— „Фво, китайскій богъ, рождался 8.000 разъ по-ихнему суевѣрію. Акангъ-Беллъ—богъ меньшій, т.-е. малый богъ, низшаго неба. Чушь“.

Свѣдѣнія, казалось бы, безполезныя, но нужныя, прямо необходимыя для человѣка, который хочетъ играть „роль“ въ тюрьмѣ.

Тюрьма, какъ и все русское простонародье, очень цѣнитъ „точное знаніе“.

Именно точное.

— Сколько въ Бельгіи народу?

— Пять съ половиной милліоновъ.

Именно „съ половиной“. Это-то и придаетъ солидность знанію.

Народъ — мечтатель, народъ не утилитаристъ, народъ нашъ, а съ нимъ и тюрьма, съ особымъ почтеніемъ относятся къ знанію не чего-нибудь житейскаго, повседневнаго, необходимаго, а именно къ знанію чего-нибудь совершенно ненужнаго, къ жизни непримѣнимаго. И, кажется, чѣмъ безполезнѣе знаніе, тѣмъ большимъ оно пользуется почтеніемъ. Это-то и есть настоящая „мудрость“.

Вращаясь среди каторжанъ, вы часто нарываетесь на такіе вопросы:

— А сколько, ваше высокоблагородіе, на свѣтѣ огнедышащихъ горъ, то-есть волкановъ?

— Да тебѣ-то зачѣмъ?

— Такъ, знать желательно. Потому, какъ вы ученый.

— Ей-Богу, не знаю.

— Огнедышащихъ горъ, то-есть волкановъ, на свѣтѣ 48.

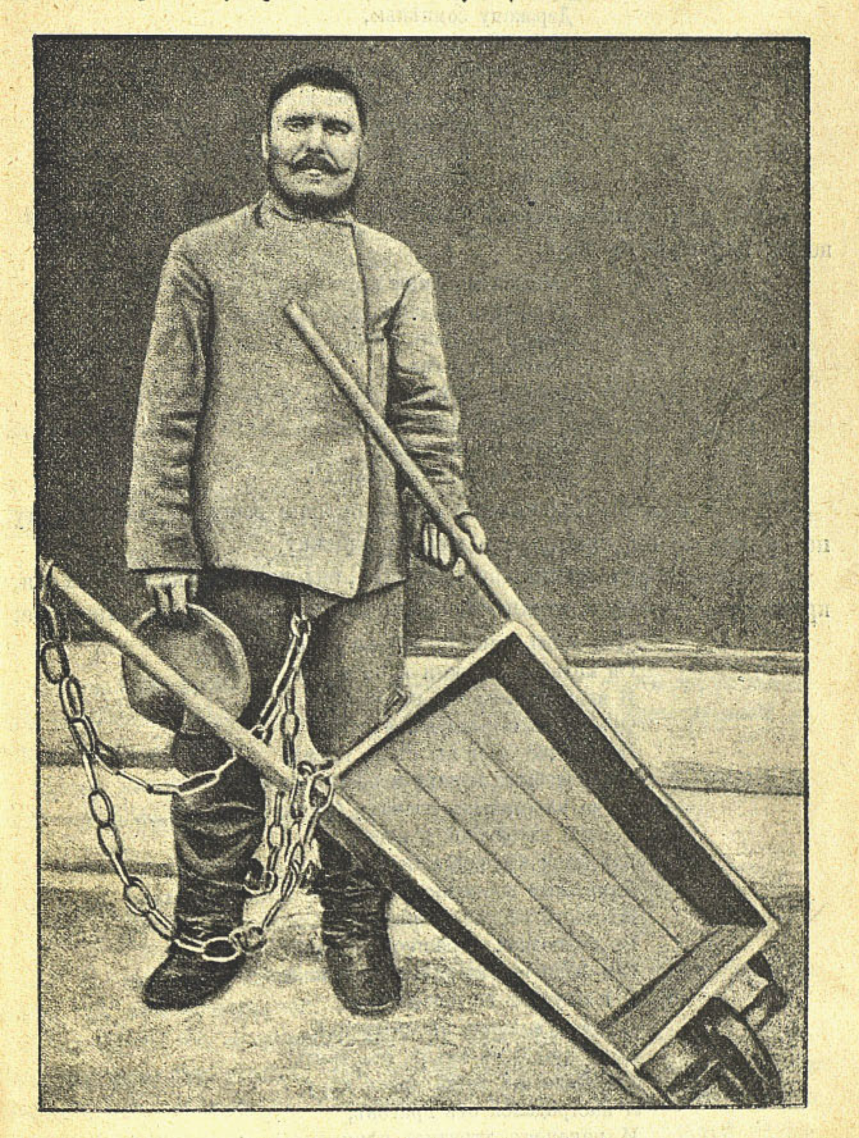
Потомъ, одинъ на одинъ, вы можете сказать ему:

— Все-то ты, братецъ мой, врешь. Кто ихъ всѣ считалъ?

Но при тюрьмѣ остерегитесь. Дайте ему торжествовать. На этомъ покоится уваженіе къ нему тюрьмы, на его знаніяхъ, и теперь, когда онъ даже ученаго барина зашибъ, уваженіе къ нему еще болѣе выростаетъ. Не бросайте же его подъ ноги этимъ людямъ, которые, какъ и всѣ, терпятъ, но не любятъ чужого превосходства.

Среди всѣхъ этихъ необходимыхъ, чтобы играть въ тюрьмѣ роль, свѣдѣній разбросаны стихи.

По словамъ каторжанъ, покойный Пащенко очень любилъ стишки, и тѣ, которые ему приходились по душѣ, записывалъ.



Широколобовъ Ѳедоръ (безъ срока).

Что же это была за поэтическая душа, которая жила въ человѣкѣ, совершившемъ 32 убійства?

Убійца любилъ только жалостные стихи. Полные грусти и жалобъ.

Жалобъ на судьбу, на несовершенства человѣческой природы:

„Подсѣку жъ я крылья
Дерзкому сомнѣнью,
Прокляну усилья
Къ тайнамъ провидѣнья...
Умъ нашъ не шагаетъ
Міра за границу,
Наобумъ мѣшаетъ
Съ былью небылицу“.

Этотъ фаустовскій мотивъ смѣняется жалобою на несправедли вость, царящую въ мірѣ:

„Мелкія причины
Тѣшились людями,
Карлы — властелины
Двигали мірами.
Райскія долины
Кровью обливались,
Неба властелины
Въ бездну низвергались“.

Полные жалобъ Кольцовскіе стихи больше всего приходятся ему по сердцу, и онъ списываетъ ихъ въ книжку.

Какъ всякій „настоящій преступникъ“, онъ жалуется на все и на вся, кромѣ себя,—и ему приходится особенно по душѣ такое стихотвореніе:

„Вы вновь пришли, друзья и братья,
Съ мольбой: „Прости и позабудь“,
И вновь сжимается въ объятья
Отъ ласкъ отвыкнувшая грудь.
Но гдѣ же были вы въ то время,
Когда я былъ и нагъ и босъ,
Когда на слабыхъ плечахъ бремя
Работы каторжной я несъ?
Гдѣ были вы, когда печали,
Какъ злые коршуны во тьмѣ,
На части сердце разрывали
Въ безлюдной, страшной тишинѣ?
Гдѣ были вы, когда въ смущеньѣ
Я выступалъ на новый путь,
Когда нуждалась въ ободреньѣ,
Какъ нищій въ хлѣбѣ, эта грудь?
Гдѣ были вы, когда чрезъ мѣру
Я настрадался отъ враговъ,
И, наконецъ, утратилъ вѣру
Въ святую братскую любовь?“

Это стихотвореніе такъ понравилось Пащенкѣ, что онъ и самъ подъ нимъ подписался: поставилъ букву „Ф.“—иниціалъ своей настоящей, не бродяжеской, фамиліи.

И только одно бодрое стихотвореніе, дышащее презрѣньемъ къ людямъ, быть-можетъ, за это-то презрѣніе и понравилось Пащенкѣ:

„Не бойся жизненныхъ угрозъ.
Не надрывай напрасно груди,
Не проливай напрасно слезъ,
Ихъ осмѣютъ надменно люди.
Не бойся нуждъ, не бойся бѣдъ,
Не бойся тяжкой, скорбной доли,
Сноси людское зло и вредъ,
Не преклоняй своей ты воли,
Навстрѣчу разныхъ неудачъ,—
Борись съ судьбой во что бъ ни стало.
Не падай духомъ и не плачь,
Въ уныньѣ толку, другъ мой, мало“...

Такіе стихи записаны въ маленькой, залитой кровью, записной книжкѣ человѣка, который любилъ поэзію и убилъ 32 человѣка.

Такіе стихи отвѣчали мотивамъ, звучащимъ въ его душѣ.

Такіе стихи онъ читалъ и перечитывалъ, отдыхая отъ однихъ убійствъ и готовясь къ другимъ.

Развѣ онъ не обладалъ поэтической душой?

II.

Поэтъ-убійца, П—въ—поэтъ-декадентъ. Хотя этотъ малограмотный человѣкъ, конечно, никогда и не слыхалъ о существованіи на свѣтѣ декадентовъ.

Среди массы стихотвореній, переданныхъ имъ мнѣ, часто странныхъ по формѣ, попадаются такія сравненія. Онъ пишетъ:

„Куда бѣжишь и что найдешь ты въ блѣдномъ сердцѣ,
Когда багровыя отъ крови мысли
Зелеными глазами поглядятъ?

Съ П—вымъ я познакомился на Сахалинѣ, въ сумасшедшемъ домѣ, гдѣ онъ содержится.

Онъ не то чтобы сумасшедшій въ общепринятомъ смыслѣ слова. Онъ отъ природы таковъ: онъ боленъ moral insanity. Оставаясь на свободѣ, онъ совершалъ безпрестанно массу преступленій, всегда гнусныхъ, скверныхъ, часто говорившихъ объ удивительной извращенности натуры.

П—ву лѣтъ подъ сорокъ.

Предметъ его ненависти—прокуроръ, который обвинялъ его въ первый разъ.

Онъ не можетъ хладнокровно вспомнить объ этомъ прокурорѣ, не можетъ ему простить выраженія:

— Ломброзовскій типъ.

А между тѣмъ П—въ могъ бы служить прямо украшеніемъ извѣстнаго атласа Ломброзо.

Торчащія уши—совершенно безъ мочекъ. Удивительно ярко выраженная асимметрія лица. Глаза различной величины и неровно посажены,—одинъ выше, другой ниже. Носъ, губы,—все это словно сдвинуто въ сторону. Два совершенно различныхъ профиля. Приплюснутый назадъ низкій лобъ. Страшно широкоразвитый затылокъ. Болѣе яркой картины вырожденія нельзя себѣ представить.

П—въ плодъ кровосмѣшенія. Онъ произошелъ отъ связи родныхъ между собой брата и сестры.

Отецъ и мать были горькіе пьяницы.

Первое преступленіе, за которое онъ попалъ въ каторгу,—убійство товарища во время ссоры.

На Сахалинѣ, кромѣ безчисленныхъ кражъ и преступленій на почвѣ половой психопатіи, П—въ совершилъ убійство.

Онъ влюбился въ дочь одного поселенца.

Но репутація П—ва на Сахалинѣ была страшной и отвратительной.

— П—въ идетъ!— это было страшно для поселенцевъ.

П—въ появился въ поселкѣ,—надо было ожидать гнусностей.

Поселенецъ, отецъ любимой дѣвушки, конечно, отказалъ ему.

Тогда П—въ подкараулилъ старика и убилъ его изъ засады.

Отъ вѣчныхъ побоевъ и наказаній, которымъ подвергался П—въ, его спасъ только пріѣздъ на Сахалинъ психіатра.

Психіатръ увидѣлъ въ этомъ странномъ „неисправимомъ преступникѣ“ несчастнаго вырождающагося, нравственно и умственно больного, и взялъ его туда, гдѣ этому „ломброзовскому типу“ мѣсто, въ сумасшедшій домъ.

Для Ламброзо П—въ, бывшій матросъ, былъ бы истинной находкой еще и потому, что онъ весь татуированъ.

Тутъ я позволю себѣ, кстати, указать на ошибку, которую, по моему мнѣнію, дѣлаетъ Ломброзо, говоря о склонности преступниковъ къ татуировкѣ. Это скорѣе склонность моряковъ.

Среди моряковъ, многіе изъ которыхъ бывали на Востокѣ, гдѣ искусство татуировки доведено до совершенства, дѣйствительно, есть страсть въ татуировкѣ. Я много встрѣчалъ татуированныхъ преступниковъ на Сахалинѣ, но все это были бывшіе моряки. Нѣтъ ничего удивительнаго въ ошибкѣ Ломброзо: онъ наблюдалъ преступниковъ въ итальянскихъ тюрьмахъ, а среди итальянцевъ—моряковъ больше,

чѣмъ среди какого бы то ни было народа. Если признать страсть къ татуировкѣ признакомъ „преступной натуры", тогда всѣ флоты всѣхъ странъ состоятъ почти сплошь изъ однѣхъ только преступныхъ натуръ! Вернемся, однако, къ П—ву.

Среди всѣхъ тѣхъ крупныхъ и мелкихъ преступленій и безчинствъ, которыя совершалъ П—въ, онъ съ особой страстью предавался тому же, чему предается и въ сумасшедшемъ домѣ. Писалъ стихи. Его муза—мрачная и жестокая.

И самъ П—въ занимается поэзіей мрачно. Онъ безпрестанно пишетъ стихи, а затѣмъ рветъ ихъ на мельчайшіе клочки, чтобъ никто потомъ собрать не могъ, или жжетъ.

— Почему же?

— А такъ!

— Не нравятся они вамъ, что ли?

— Одни не нравятся. Не стильно какъ-то сказано. Хочется поздоровѣй, посильнѣе, покрѣпче сказать. А другіе... Кто ихъ читать-то будетъ? Смѣяться еще будутъ. Пусть ужъ не знаютъ, что въ нихъ написано.

Самолюбивъ П—въ страшно, о стихахъ своихъ самаго „поэтическаго", т.-е. высокаго мнѣнія.

И когда я сказалъ ему, что его стихи могутъ быть и напечатаны, расцвѣлъ и засыпалъ меня стихами.

— Здѣсь не передъ кѣмъ говорить; что здѣсь? Каторга! Развѣ это люди?!—съ невѣроятнымъ презрѣніемъ говорилъ П—въ.—А тамъ люди съ понятіемъ. Поймутъ мои мысли.

— Ну, а если при этомъ напечатаютъ и про всѣ ваши дѣянія?—спросилъ его какъ-то докторъ.

— Пусть,—отвѣчалъ П—въ,—только бы стихи-то напечатали.

И этому безсознательному декаденту-поэту было бы, вѣроятно, очень пріятно, если бъ онъ прочелъ въ печати вотъ это стихотвореніе, которое онъ самъ признаетъ лучшимъ:

Убійца.

Гдѣ ты найдешь, убійца изступленный,
Покой покрова милостивый крылъ.
Когда стоишь собой приговоренный,
Что ты убилъ.
Повсюду тѣнь убитаго тобою,
Кого лишилъ ты жизни, дара силъ,
Бредетъ въ крови медлительной стопою,
Вопитъ: „убилъ!"

Зачѣмъ ты въ храмѣ ищешь утѣшенья,
Тогда какъ онъ, который жилъ,
Рукой твоей онъ потерпѣлъ крушенье,—
И ты убилъ.
Пускай весь міръ, прощая и съ привѣтомъ,
Изъ жалости тебя, убійца, осѣнитъ.
Тебя разитъ, какъ пуля рикошетомъ:
„Тобой убитъ“.
О, сынъ грѣха! Ты! Трусъ, въ крови залитой.
Да гдѣ же совѣсть? Не было, иль спитъ?
Бѣги... Куда? Всякъ путь, тебѣ закрытый,
„Убилъ!“ кричитъ.

III.

„Paklin“,—такъ, непремѣнно „по-французски“ подписывалъ стихи своимъ бродяжескимъ именемъ сс.-каторжный Паклинъ.

„Paklin“ любитъ немножко порисоваться и самолюбивъ страшно.

— Я изъ-за своего самолюбія-то ск лько вытерпѣлъ!—говоритъ и имѣетъ право сказать онъ.

Паклинъ былъ присланъ въ Корсаковскъ тогда, когда тамъ былъ начальникъ тюрьмы, не признававшій непоротыхъ арестантовъ.

— Я ночей не спалъ, дрожалъ при мысли одной: а вдругъ меня выпоретъ!—говоритъ Паклинъ.—Случись это,—не сдобровать бы ни мнѣ ни ему. По этой кожѣ плеть не ходила, и, можетъ, походитъ только одинъ разъ.

Онъ волнуется, онъ дрожитъ при одной мысли, все лицо его покрывается красными пятнами, глаза становятся злыми.

Чтобъ избѣгнуть возможности порки, Паклинъ добровольно вызвался относить тягчайшую изъ работъ, отъ которой какъ отъ чумы бѣгутъ каторжане: предложилъ пойти сторожемъ на заливъ Терпѣнія.

Богъ знаетъ, для чего существуютъ эти сторожевые посты въ глухой тайгѣ, на берегу холоднаго, бурнаго залива. Тайгу или море сторожатъ?

Жизнь на такомъ сторожевомъ посту, это — одиночное заключеніе.

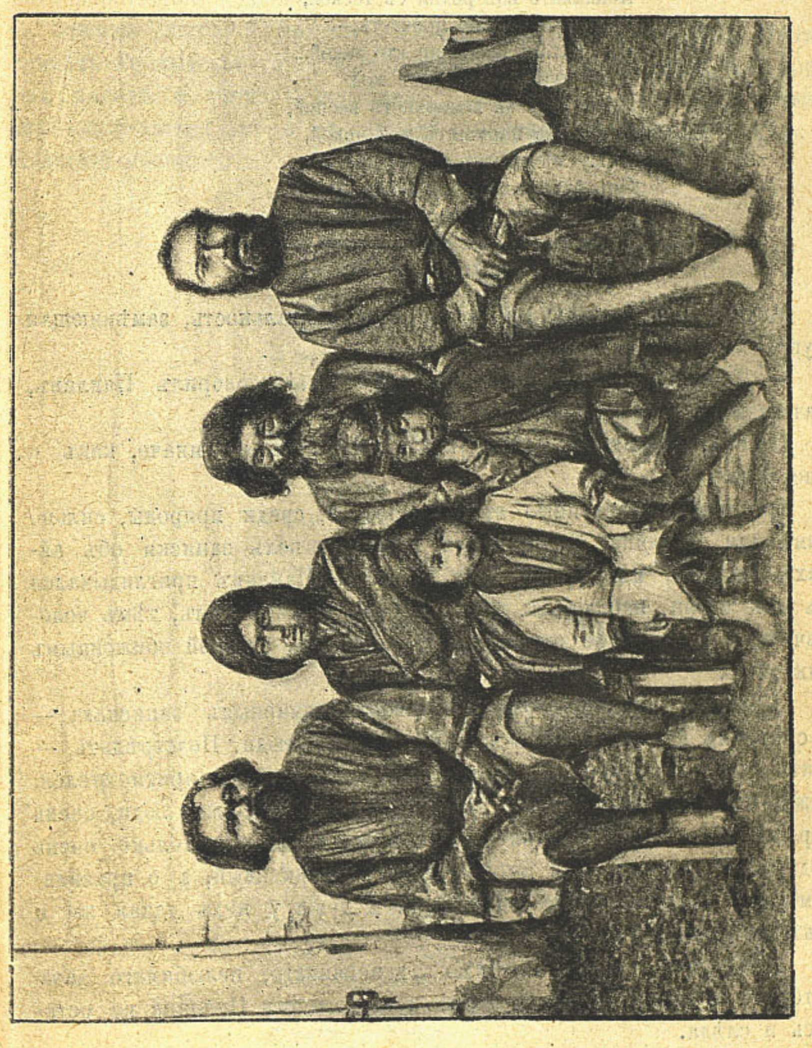
Даже бѣглые не заходятъ туда. Иногда только забредутъ айны, вымирающіе дикари, аборигены Сахалина, зимой одѣтые въ соболя, лѣтомъ—въ платье, сшитое изъ рыбьей кожи.

Отъ этой „каторги“ отказываются всѣ каторжане: лучше ужъ пусть порютъ въ тюрьмѣ.

Три года выжилъ Паклинъ въ этомъ добровольномъ одиночномъ заключеніи среди тайги, пока не смѣстили смотрителя тюрьмы.

Тогда онъ вернулся въ постъ къ людямъ, такъ и оставшись не поротымъ.

О преступленіи Паклипа я уже говорилъ (см. часть первую „Паклинъ“).



Инородцы Сахалина. Группа аинцевъ.

Теперь познакомимся съ его произведеніями.

— „Лежу на утесѣ“ около маяка, въ шестидесяти шагахъ отъ кладбища, и смотрю на гладь широкаго моря. Все тихо, и грустно въ груди и душа моя томной думой полна...

„Придутъ и здѣсь меня оставятъ,—
Враги мои, друзья мои!—
Крестъ надо мною не поставятъ,
Зароютъ здѣсь отъ васъ вдали.
Никто ко мнѣ ужъ не придетъ
Поплакать изъ родни съ тоской,
На памятникѣ не прочтетъ,—
Ни сколько жилъ, ни кто такой...
И на курганъ забытый мой
Лишь соловей вспорхнетъ весной,
Лишь онъ нарушитъ мой покой,
Онъ,—восхищенъ весны красой,
Онъ будетъ пѣть, но не разрушитъ
Тѣхъ сновъ, могилы чѣмъ полны,
И пѣснь его ужъ не нарушитъ
Моей могильной тишины...“

И тамъ и здѣсь звучитъ та же сентиментальность, замѣняющая чувство у жестокихъ натуръ.

— Такой я въ тѣ поры негодяй былъ!—говорилъ Паклинъ, разсказывая о прошломъ.

О себѣ, тогдашнемъ себѣ, онъ отзывается не иначе, какъ о „негодяѣ“.

Три года, проведенные въ одиночествѣ, среди природы, сильно измѣнили Паклина. Въ эти три года онъ велъ записки объ айнахъ, которые иногда заходили къ нему. Паклинъ приглядывался къ ихъ жизни, наблюдалъ, и чѣмъ больше наблюдалъ, тѣмъ человѣчнѣе и человѣчнѣе относился къ бѣднымъ, судьбой обиженнымъ дикарямъ.

„Прежде, — пишетъ онъ въ своихъ наивныхъ запискахъ,— я смотрѣлъ на этихъ айновъ, какъ всѣ: не люди. Подстрѣлить, — взять у него соболей, да и все. Но какъ больше присмотрѣлся, вижу, что это вздоръ и невѣжество. Айны такіе же люди, очень хорошо между собою живутъ. Честные и добрые, только очень бѣдные. И у нихъ есть Богъ, только неправильный, а о правильномъ имъ вѣдь никто не объяснялъ. А душа у нихъ такая же и такъ же молиться хочетъ“.

Теперь отъ прежняго гордаго, заносчиваго, нелюбимаго даже каторгой за презрительный нравъ и за гордость Паклина не осталось и слѣда.

— Теперь я тише воды, ниже травы. Обидятъ—стерплю!—улыбаясь говорилъ Паклинъ, и на его отталкивающемъ лицѣ играетъ милая, добрая улыбка, — другой разъ и не стерпѣлъ бы, да вспомнишь про жену и про дѣтей,—ну, и покоришься.

Въ Корсаковскѣ, — какъ я уже говорилъ, — Паклинъ получилъ въ „сожительницы“ молодую, хорошенькую дѣвушку, „скопческую богородицу“, сосланную на Сахалинъ. Она народила ему дѣтей. Паклинъ превратился въ нѣжнаго, любящаго мужа и отца, отличнаго работящаго хозяина.

Заживъ „людской жизнью“, по его выраженію, Паклинъ сталъ вникать въ людскія горести и нужды, и въ его стихахъ, которые онъ писалъ и пишетъ постоянно, зазвучали иныя ноты. Рѣже стало попадаться „я“, и въ стихахъ зазвучали, такъ сказать, „гражданскіе мотивы“.

„Есть кусочекъ земли
Между синихъ морей,
Обитаемъ звѣрьми
И пріютъ дикарей.
Надъ нимъ свѣтитъ луна,
Солнце грѣетъ тепло,
И морская волна
Лижетъ берегъ его.
Не было, какъ сейчасъ,
Изъ Руси никого,
Называютъ у насъ
Сахалиномъ его.
Были видны однѣ
Лишь вершины хребтовъ,
А теперь поглядишь,
Сколько селъ и портовъ!
И теперь, каждый годъ,
Лишь настанетъ весна,
„Ярославль“ пароходъ
Уже тянетъ сюда
Осужденныхъ навѣкъ,
Негодящій народъ.
Сотенъ семь человѣкъ
Привезетъ пароходъ.
Проворчитъ капитанъ,
Не уронитъ слезу:
„Ждите, осенью вамъ
Я сестеръ привезу“.
Обливаясь слезьми,
Остается народъ.
Ужъ на берегъ свезли,
И ушелъ пароходъ.
А на пристани къ намъ
Ужъ конвой приступилъ.
Толстобрюхій „Адамъ“ [1])

[1]) Тюремная кличка кого-то изъ служащихъ.

Окружной прикатилъ,
А за нимъ пѣшкурой
И смотритель идетъ.
Говоритъ окружной:
— Принимайте народъ!
— Гдѣ же писарь? Скорѣй
Перекличку!—Сейчасъ!
— Ерофеевъ Андрей,
Черемушниковъ Власъ,
Разуваевъ Еремъ!
Раздѣваевъ Ѳедотъ,
Растегаевъ Пахомъ!
По порядку идетъ.
Вотъ подходитъ одинъ,
Говоритъ: Эге, братъ!
Ты, какъ видно, „Иванъ",
У тебя волчій взглядъ!
Ты бродяга?—„Кто я?"
— Говори, негодяй!
— Кто-де я? [1])—Вишь, свинья!
Эй, палачъ, разгибай!
Запорю! Водку пьешь?
— „Никакъ нѣтъ, я не пью."
— Здѣсь бродяжить пойдешь,
Въ кандалы закую.
Мнѣ покоренъ здѣсь всякъ,
До небесъ высоко...
Въ мигъ узнаешь маякъ...[2])
До царя далеко!
Безъ вины дать бы сто [3]),
Наказать бы я могъ!
Для меня вы ничто,
Я вамъ царь, я вамъ Богъ.

— Ради Бога,—просилъ меня Цаклинъ,—напечатайте мои стихи. Пусть дойдетъ до людей стонъ заживо похороненнаго человѣка.

Таковъ „Paklin".

IV.

Съ бродягой Луговскимъ я познакомился при очень трагическихъ обстоятельствахъ.

Онъ сидѣлъ въ одиночкѣ въ кандальномъ отдѣленіи Онорской тюрьмы и думалъ:

---

[1]) Обычная манера бродягъ не отвѣчать на вопросъ о званіи.

[2]) Около маяка въ посту Корсаковскомъ кладбище.

[3]) Начальникъ округа имѣетъ право дать безъ суда и слѣдствія, по единоличному распоряженію, до 100 розогъ и до 30 плетей.

„Повѣсятъ или не повѣсятъ?“

Наканунѣ онъ, писарь тюремной канцеляріи, въ пьяномъ видѣ убѣжалъ, захвативъ револьверъ и „давши клятву передъ товарищами“ застрѣлить бывшаго смотрителя тюрьмы, пріѣхавшаго въ Оноръ за вещами.

Всю ночь въ смотрительской квартирѣ, гдѣ остановился и бывшій смотритель, не спали, ожидая выстрѣла въ окно. На утро Луговского поймали.

Шелъ споръ. Бывшій смотритель, раздраженный, разозленный, кричалъ:

— Вамъ хорошо говорить,—не васъ хотѣли убить. А у меня жена, дѣти. Вы этого не смѣете такъ оставить! Я губернатору донесу. Каторга и такъ распущена. Пусть его судятъ за то, что хотѣлъ меня убить. Надо дать каторгѣ примѣръ!

За такія дѣянія на Сахалинѣ смертная казнь.

Новый начальникъ, болѣе мягкій, уговаривалъ его не начинать дѣла:

— Это было просто пьяное бахвальство. Высидитъ за это въ карцерѣ,—да и все!

Эти споры тянулись двое сутокъ.

Луговской зналъ о нихъ, и, когда я заходилъ къ нему утѣшить и ободрить, онъ со слезами на глазахъ и со смертной тоской въ голосѣ говорилъ:

— Одинъ бы конецъ! Только скорѣй бы! Скорѣй съ этого свѣта!

Преступленіе, за которое Луговской попалъ въ каторгу, это то же преступленіе, за покушеніе на которое мы такъ аплодируемъ Валентину въ „Фаустѣ“ [1]).

Онъ убилъ обольстителя своей сестры.

Попавъ за это въ среду профессіональныхъ убійцъ, грабителей, людей-звѣрей, Луговской, по его словамъ, „испугался“ и бѣжалъ...

Подъ бродяжеской фамиліей Луговского его поймали, „водворили на заводскія работы“, т.-е. вновь въ каторгу. И вотъ началось безпрерывное паденіе. У Луговского отличный почеркъ, — каторга сначала заставляла его поддѣлывать разные необходимые ей документы, затѣмъ онъ началъ самъ этимъ заниматься.

— До чего доходилъ! За рубль, за полтинникъ нанимался! — рыдалъ, вспоминая прошлое, Луговской. — Да что за полтинникъ! За шапку старую, рваную нанялся документъ поддѣлать, — до того весь пропился!

---

[1]) См. I ч., очеркъ „Интеллигентные люди на каторгѣ“.

Онъ пилъ, за вино готовъ былъ на все.

— А что оставалось дѣлать? Такимъ я въ каторгу пришелъ?

Онъ попадался. Его пороли розгами и плетьми.

И вотъ теперь этотъ „Валентинъ“ валялся передо мной на нарахъ, бился, рыдалъ, распухшій, образъ человѣческій потерявшій отъ пьянства.

Бился и рыдалъ:

— Хоть бы поскорѣй съ этого свѣта! Довольно. Ничего на немъ, кромѣ мученій, нѣтъ.

Побѣдилъ въ спорѣ новый смотритель. Черезъ два дня злость, вызванная пережитымъ страхомъ, у стараго смотрителя улеглась, и онъ согласился на тотъ „поворотъ“, который, въ сущности, дѣло и имѣло: угрозы Луговского были признаны просто пьянымъ бахвальствомъ, и наказаніе за нихъ положено — недѣля карцера. „Дѣла“ рѣшено было не возбуждать.

Радостную вѣсть Луговскому принесъ я. Онъ сначала не вѣрилъ, потомъ расплакался. Ослабѣлъ какъ-то весь. Сидѣлъ на нарахъ, блаженно улыбаясь, на него напала болтливость. Онъ говорилъ много много, зарекался пить, разсказывалъ о своихъ страхахъ и, между прочимъ, сказалъ:

— А я было совсѣмъ съ землей простился. Думалъ на воздухѣ висѣть, и стихи даже написалъ.

— А вы пишете стихи, Луговской?

Онъ конфузливо улыбнулся:

— Малодушествую. Одно мое утѣшеніе.

И, разговорившись о стихахъ, указалъ мнѣ своего товарища, тоже писаря, трезваго, тихаго и милаго молодого человѣка!

— У Гриши возьмите мои стишки. У него тетрадочка. У него, — и отъ себя прячу-съ, чтобъ въ пьяномъ видѣ тетрадочку не растерзать. Въ пьяномъ видѣ я все крушить, рвать, ломать готовъ. Въ трезвомъ—я человѣкъ тихій, ничтожный, а въ пьяномъ злость на меня нападаетъ.

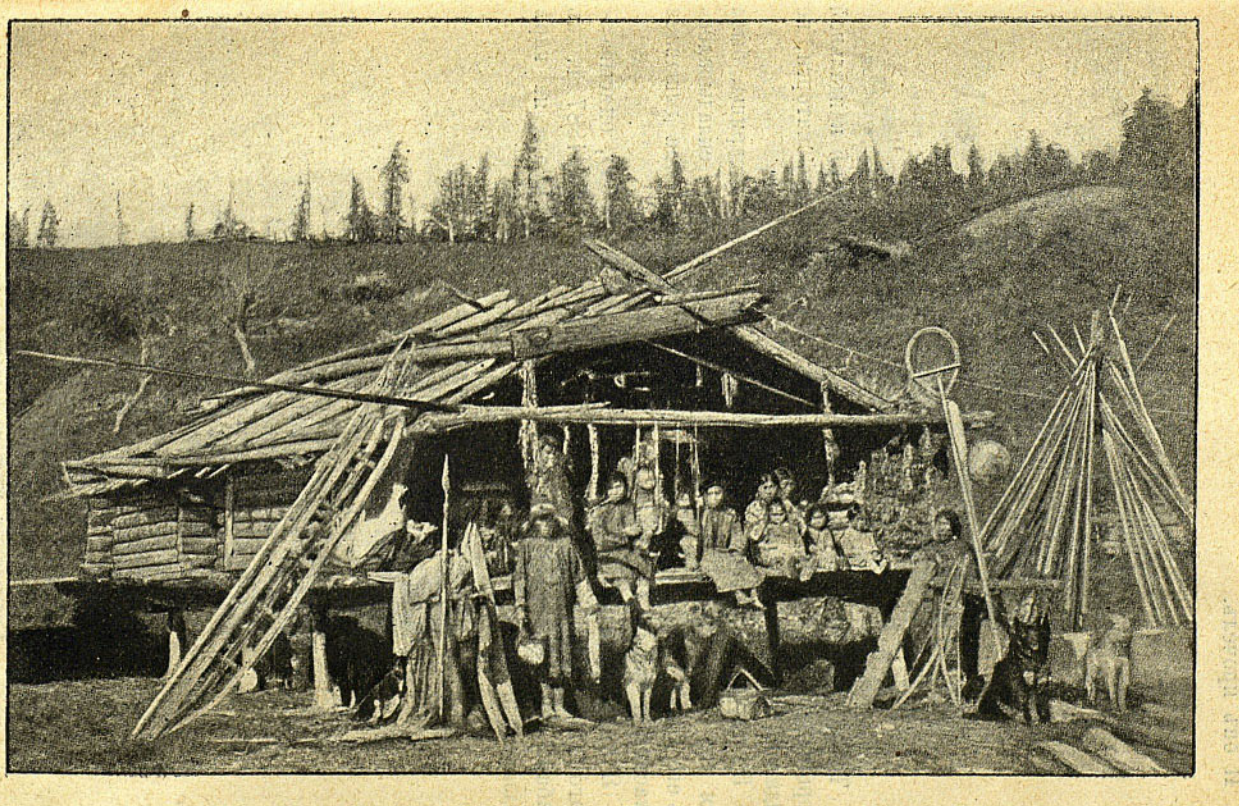
— Ну, а теперь вы какіе же стихи, Луговской, написали?

Какіе ужъ у меня стихи!—улыбнулся Луговской.— Смѣяться только будете. Я вѣдь не доучился-съ. Мнѣ бы еще учиться надо, а меня въ каторгу.

— Ну, прочтите. Зачѣмъ смѣяться?

Луговской досталъ изъ кармана лоскутокъ бумаги, на которомъ онъ огрызкомъ карандаша написалъ стихи:

— Утромъ проснулся. О своихъ, которые тамъ остались, о прежнемъ вспомнилъ, ну, написалось...



Инородцы о. Сахалина. Гиляцкая юрта. Вверху живутъ люди, внизу—собаки.

И онъ прочелъ.

„Пришла пора, друзья, проститься
Мнѣ съ свѣтомъ солнечныхъ лучей
И съ смертью рано помириться,
Какъ съ моремъ мирится ручей.
Ручья конецъ въ томъ бурномъ морѣ,
И волнъ сѣдыхъ его страшась,
Журчитъ и стонетъ въ лютомъ горѣ
Онъ, съ горъ по камешкамъ струясь
А мой конецъ въ житейскомъ морѣ,
Въ глуши далеко отъ людей,
Въ странѣ суровой, на просторѣ,
Гдѣ судъ свершаютъ безъ судей...“

Такое стихотвореніе написалъ въ одиночной камерѣ кандальной тюрьмы, ожидая петли, этотъ человѣкъ, ничего, кромѣ каторги, не видавшій въ жизни и писавшій стихи.

Въ тетрадкѣ, которую я взялъ почитать у его товарища, была вся его жизнь. Все, что онъ видѣлъ и чувствовалъ, складывалось въ его головѣ въ созвучія, часто убогія по формѣ, всегда дышавшія ужасомъ и скорбью.

Я приведу отрывокъ одного „письма изъ-за гроба“, описывающаго дѣйствительное происшествіе, случившееся въ 1887 г. въ Хабаровскѣ, при казни каторжанина Легкихъ, убившаго на карѣ надзирателя—„нарядчика“.

„Но, невзирая на лишенья,
На трудность тягостныхъ работъ,
Нарядникъ злой безъ сожалѣнья
Все больше угнеталъ народъ.
Я не стерпѣлъ... Одно мгновенье...
Досужій часъ я улучилъ,
Въ минуту гнѣва, раздраженья
Того нарядчика убилъ.
И пала жертва моей мести,
Ударъ былъ вѣренъ и тяжелъ...
Пока неслися о томъ вѣсти,
Я самъ съ признаніемъ пришелъ.
И вотъ, друзья, въ каютѣ темной
Еще съ полгода я сидѣлъ,
Томясь, какъ прежде, думой черной,
На Божій свѣтъ ужъ не глядѣлъ.
Меня тамъ судьи навѣщали,
Священникъ изрѣдка бывалъ,
А что въ награду обѣщали —
Объ этомъ я заранѣ зналъ.
Замкомъ секретнымъ застучали,

Инородцы о. Сахалина. Гиляки. Зимняя почта.

Приклады стукнули объ полъ,
И страшно, страшно прозвучали
Слова, чтобъ къ исповѣди шелъ.
Священникъ встрѣлъ, благословляя
Меня какъ сына своего
И, добрымъ словомъ утѣшая,
Желалъ за гробомъ мнѣ всего...
Затѣмъ палачъ рукой проворной
На шею петлю мнѣ надѣлъ,
И этой петлею позорной
Отправить къ праотцамъ хотѣлъ.
Но тутъ судьба мнѣ „улыбнулась“
Веревка съ трескомъ порвалась,
На мигъ дыханіе вернулось,
И жизнь тихонько подкралась.
Не радъ я былъ, что грудь дышала,
Не радъ былъ видѣть бѣлый свѣтъ,
Душа моя уже витала
Далеко,—тамъ, гдѣ жизни нѣтъ.
Я жаждалъ смерти, какъ лѣкарства,
Искалъ ее, какъ будто мать,
Чтобы скорѣй свои мытарства
Ей вмѣстѣ съ жизнью передать...“

Такими картинами полна его тетрадь, какъ и его жизнь!

„Отхлопотавшій“ Луговского смотритель былъ страшно радъ за него:

— Превосходнѣйшій человѣкъ! Мягкій, тихій, кроткій. Только вотъ выпьетъ, — въ остервенѣнье приходитъ. Да ему нельзя и не пить!

VI.

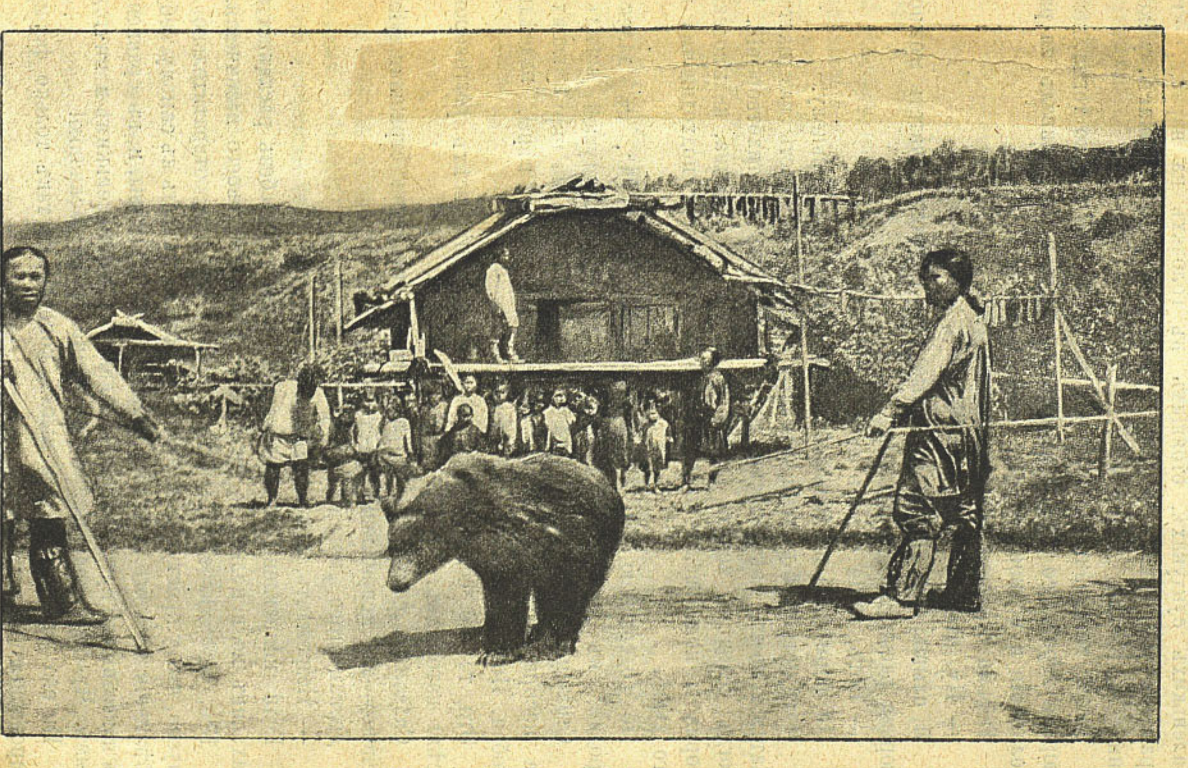
Нигдѣ не пишутъ столько стиховъ, какъ въ Россіи. Спросите объ этомъ у редакторовъ газетъ и журналовъ. Сколько они получаютъ стиховъ, написанныхъ, по большей части, безграмотно, каракулями. Нигдѣ нѣтъ столько стихослагателей-самоучекъ.

Стихослагатель-самоучка изъ простонародья относится къ своимъ стихамъ, какъ къ чему-то священному. Товарищи надъ нимъ подтруниваютъ, часто насмѣхаются, но втайнѣ все-таки имъ гордятся:

— Вотъ, молъ, какой въ нашей артели, въ нашемъ лабазѣ, въ нашей лавкѣ человѣкъ есть! Стихи писать можетъ!

Сахалинъ — капля большого моря. И капля такова же, какъ море.

На Сахалинѣ пишется страшная масса стиховъ. Сборнички этихъ стиховъ, чисто-начисто переписанные, часто съ очень фигурно разрисованной первой страницей, хранятся въ тюрьмахъ, какъ что-то



Инородцы Сахалина. Забава гиляковъ.

очень важное, очень цѣнное, у каторжанъ въ „укладочкахъ“, — въ маленькихъ сундукахъ, стоящихъ въ головахъ на нарахъ, — гдѣ хранятся чай, сахаръ, деньги, табакъ, портреты близкихъ, у кого они есть, письма „изъ дома“.

Такую тетрадочку я получалъ на просмотръ только тогда, когда тюрьма хорошо со мной знакомилась, когда я заслуживалъ ея расположеніе и полное довѣріе.

Тюрьма страшно интересовалась:

— Ну, что?

И, слыша, что „стихи отличные, хоть сейчасъ печатать можно“, тюрьма расцвѣтала и гордилась:

— Вотъ, какіе у насъ люди есть!

По формѣ это по большей части подражаніе Кольцову.

Вотъ истинный русскій народный поэтъ. Грамотность сказывается. Каторга поетъ, какъ пѣсни, массу кольцовскихъ стихотвореній. И, когда человѣкъ хочетъ вылить свои думы и чувства, кольцовская форма и кольцовскій духъ оказываются самыми подходящими къ его душѣ.

По содержанію это масса обращеній „къ ней“, къ далекой „роднѣ“, къ „друзьямъ и братьямъ“, къ своей „будущей могилѣ“.

Страшная масса жалобъ на судьбу, на людей, на окружающихъ, на несправедливость. Масса жалобъ на утрату вѣры, надежды, любви. Почти никогда—самобичеваніе.

Это то же содержаніе, что и содержаніе всѣхъ разговоровъ всѣхъ каторжанъ.

Сахалинъ „созданъ“,—и ради этого истрачена страшная уйма денегъ,—для исправленія преступниковъ.

Девизъ этого „мертваго острова“:

— Возрождать, а не убивать.

Если исправленіе и возрожденіе немыслимы безъ раскаянія то Сахалинъ не исполняетъ, не можетъ исполнять своего назначенія.

Все, что дѣлается кругомъ, такъ страшно, отвратительно и гнусно, что у преступника является только жалость къ самому себѣ, убѣжденіе въ томъ, что онъ наказанъ свыше мѣры, и, въ сравненіи съ наказаніемъ, преступленіе его кажется ему маленькимъ и ничтожнымъ. Чувство, совершенно противоположное раскаянію!

Въ его умѣ живетъ эта мысль, конечно, не такъ только формулированная:

— Велика изобрѣтательность человѣческая по части преступленій, но до сихъ поръ еще не изобрѣтено такого преступленія, которое заслуживало бы такой каторги, какъ сахалинская.

И только жалобы слышатся и въ стихахъ.

Замѣчательное дѣло. Среди невѣроятной массы сахалинскихъ стиховъ нѣтъ ни одного, написаннаго на тему о побѣгахъ. Нѣтъ ни одной каторжной пѣсни, написанной на эту тему. Старая, теперь совершенно забытая, острожная пѣсня:

„Звенитъ звонокъ. На счетъ сбирайся.
Ланцовъ задумалъ убѣжать.
Съ слезьми съ друзьями онъ простился,
Проворно печку сталъ ломать“

Эта пѣсня осталась единственной.

Я собралъ, кажется, все, что написано въ стихахъ на Сахалинѣ, и напрасно искалъ:

— Нѣтъ ли чего про побѣги?

„Побѣгъ“ — это затаенная мечта каторжника, послѣдняя надежда, единственное средство къ избавленію, для тюрьмы „самая святая вещь“, о побѣгахъ не только не пишутъ, о нихъ не говорятъ.

Самая оживленная, задушевная, откровенная бесѣда въ тюрьмѣ моментально умолкаетъ, какъ только вы упомянули о побѣгахъ.

Объ этомъ можно только молчать.

Это слишкомъ „священная“ вещь, чтобы о ней говорить даже въ стихахъ.

VII.

Сахалинская каторга создала свою особую эпическую поэзію.

Это—циклъ „Онорскихъ стихотвореній“, разбросанныхъ по всѣмъ тюрьмамъ. „Иліады“ Сахалина.

Это отголоски онорскихъ работъ, знаменитыхъ, безсмысленныхъ, безцѣльныхъ, нечеловѣческихъ по трудности, сопровождавшихся ужасами, массой смертей, людоѣдствомъ.

По большей части такія стихотворенія носятъ названіе: „Отголоски ада“.

Часто неуклюжія по формѣ, они полны страшныхъ картинъ.

Я приведу вамъ отрывки такого „отголоска“, принадлежащаго поэту многократному убійцѣ, отбывавшему каторгу на онорскихъ работахъ.

Это стихотвореніе написано лѣвой рукой: работы были такъ тяжки и смерть въ тундрѣ такъ неизбѣжна, что авторъ этого стихотворенія взялъ топоръ въ лѣвую руку, положилъ правую на пень и отрубилъ себѣ кисть руки, чтобы стать „неспособнымъ къ ра-

боте“ и быть отправленнымъ обратно въ тюрьму. Такая страшная форма „уклоненія отъ работъ“ практиковалась на онорской просѣкѣ нерѣдко.

Вотъ отрывки изъ этихъ „отголосковъ ада“. Картина при рубкѣ тайги.

„Тамъ, наповалъ убитъ вершиной,
Лежитъ, въ крови, убитый трупъ...
Съ нимъ поступаютъ, какъ съ скотиной,
Поднявши, въ сторону несутъ.
Молитвы, бросивъ, не пропѣли...
На нихъ съ упрекомъ посмотрѣлъ
Лишь воронъ, каркнувшій на ели,
На зовъ собратій полетѣлъ...“

А вотъ другой отрывокъ, описывающій людоѣдство среди каторжныхъ, случаи котораго были констатированы на онорскихъ работахъ офиціально:

„И многіе идутъ бродяжить,
Сманивъ товарищей своихъ.
А какъ усталъ, — кто съ нимъ приляжетъ,
Того ужъ вѣчный сонъ постигъ.
Убьютъ и тѣло вырѣзаютъ.
Огонь разводятъ... и шашлыкъ...
Его и имъ не поминаютъ.
И не одинъ ужъ такъ погибъ“.

Такихъ картинъ полны всѣ „отголоски ада“.

VIII.

Юморъ—одна изъ основныхъ чертъ русскаго народа.

„Не гаснетъ онъ и среди сахалинскаго житья-бытья, воспѣвая „злобы дня“.

Служащіе презираютъ каторгу.

Каторга также относится къ служащимъ.

Пищей для юмора поэтовъ-каторжанъ являются разныя „событія“ среди служащихъ.

Жизнь сахалинской „интеллигенціи“ полна вздоровъ, сплетенъ, кляузъ, жалобъ, доносовъ. Тамъ всѣ другъ съ другомъ на ножахъ, каждый готовъ другого утопить въ ложкѣ воды. И изо всякаго пустяка поднимается цѣлая исторія.

Исторія обязательно съ жалобами, кляузами, часто съ доносами, всегда съ офиціальной перепиской.

Эта переписка въ канцеляріяхъ ведется писарями изъ каторжанъ же. И, такимъ образомъ, каторга знаетъ всегда все, что дѣлается въ канцеляріяхъ, знаетъ и потѣшается.

Изъ массы юмористическихъ „злободневныхъ“ стихотвореній я приведу для примѣра одно, описывающее „исторію“, надѣлавшую страшнаго шума на Сахалинѣ.

„Исторія“ вышла изъ-за... курицы.

Курица, принадлежащая женѣ одного изъ служащихъ, пристала къ курамъ, принадлежавшимъ женѣ священника.

Жена служащаго и ея мужъ увидѣли въ этомъ „злой умыселъ“ и обратились къ содѣйствію полиціи.

Полицейскіе явились во дворъ священника и отнесли „инкриминируемую курицу“ на мѣсто постояннаго жительства.

Священникъ въ такихъ дѣйствіяхъ полиціи, конечно, усмотрѣлъ оскорбленіе для себя.

И пошли писать канцеляріи.

Жалобы, отписки, переписки посыпались цѣлой лавиной, волнуя весь служащій Сахалинъ.

Я самъ слышалъ, какъ гг. служащіе по цѣлымъ часамъ необычайно горячо обсуждали „вопросъ о курицѣ“ и ждали большихъ послѣдствій:

— Еще неизвѣстно, чѣмъ курица кончится!

Тюрьма немедленно воспѣла это въ стихахъ. Вотъ отрывки.

Супруга служащаго жалуется своему супругу:

„Ахъ, мой милый, вотъ бѣда!
Я вчера курей смотрѣла;
И та курица, что пѣла,
Помнишь, часто пѣтухомъ,
Вѣдь пропала! И грѣхомъ,
  Какъ потомъ я разузнала,
  Прямо къ батюшкѣ попала.
  И теперь ужъ у попа
  Курицъ цѣлая копа...“

Служащій „обратился къ содѣйствію полиціи“, и та поспѣшаетъ „водворить курицу на мѣсто жительства“:

„Потъ ручьемъ съ нихъ лилъ, катился,
И песокъ какъ вихорь вился
Изъ-подъ ихъ дрожащихъ ногъ...
Знать, досталось на пирогъ!!!“

Священникъ въ это время выходитъ изъ дома и...

„И лишь онъ ступилъ во дворъ,
Что же видитъ? О, позоръ!

Снявши фраки, сбросивъ сабли,
Руки вытянувъ, что грабли,
Полицейскій съ окружнымъ
Словно пляшутъ передъ нимъ!
И, нагнувшись до земли,
Ловятъ курицу они..."

Чѣмъ кончится исторія, вы знаете:

Канцеляріи пишутъ.

Служащіе волнуются и ждутъ „отъ курицы послѣдствій".

Тюрьма потѣшается, читаетъ стихотвореніе поэта-каторжника.

А въ курятникѣ, по словамъ стихотворенія, происходитъ слѣдующее:

„А въ тотъ мигъ на куросѣстѣ,
Сидя съ курицами вмѣстѣ,
Такъ бѣглянка говорила:
— И зачѣмъ меня родила
Въ бѣлый свѣтъ старуха-мать!
Не дадутъ и погулять!
И что сдѣлать я могу?
Чуть что выйдешь къ пѣтуху,
А глядишь, — тутъ за тобой
Вся полиція толпой!"

Такъ развлекаютъ каторгу.

Преступники душевно-больные.

Въ посту Александровскомъ вы часто встрѣтите на улицѣ высокаго мужчину, красавца и богатыря—настоящаго Самсона. Длинные вьющіеся волосы до плечъ. Всегда безъ шапки. На лбу перевязь изъ серебрянаго галуна. Такимъ же галуномъ обшитъ и арестантскій халатъ. Въ рукахъ высокій посохъ.

Онъ идетъ, разговаривая съ самимъ собою. Выраженіе лица благородное и вдохновенное. Съ него смѣло можно писать пророка.

Это Регеновъ, бродяга, душевно-больной.

На вопросъ:

— Кто вы такой?

Онъ отвѣчаетъ:

— Сынъ человѣческій.

— Почему же это такъ?

— Мой отецъ былъ крѣпостной. Его всѣ звали „человѣкъ" да „человѣкъ". Отецъ былъ „человѣкъ", значитъ, я сынъ человѣческій.



Группа каторжанъ, обѣдающихъ около своихъ шалашей во время лѣтнихъ работъ.

Въ тѣ дни, когда Регенову не удается удирать изъ-подъ надзора въ постъ Александровскій и приходится сидѣть въ психіатрической лѣчебницѣ, въ селѣ Михайловскомъ, онъ занимается цѣлые дни тѣмъ, что пишетъ письма „къ человѣчеству“.

Первымъ вопросомъ его при знакомствѣ со мной было:

— Вы изъ-за моря пріѣхали?

— Да.

— Скажите, да есть ли тамъ человѣчество?

— Есть!

Регеновъ съ недоумѣніемъ пожалъ плечами.

— Странно! Я думалъ, что всѣ померли. Пишу, пишу письма, чтобы водворили справедливость, — никакого отвѣта!

„Правды нѣтъ на свѣтѣ“ — это пунктъ помѣшательства Регенова.

— Оттого даже французскій король пошелъ бродяжить! — поясняетъ онъ.

— Какъ такъ?

— Такъ! Нѣтъ нигдѣ правды, онъ и сдѣлался бродягой. Сказался чужимъ именемъ и бродяжитъ.

— Да вы это навѣрное знаете?

— Чего вѣрнѣе!.. Скажите, во Франціи есть король?

— Нѣтъ.

— Ну, такъ и есть. Ушелъ бродяжить. Развѣ безъ правды жить можно?

У Регенова въ психіатрическомъ отдѣленіи отдѣльная комната. Подоконники убраны раковинами. На подоконникъ къ нему слетаются голуби, которыхъ онъ кормитъ крошками. Въ комнатѣ съ нимъ живетъ и собака, съ которой онъ иногда разговариваетъ часами:

— Безсловесное! Человѣчество говоритъ, что у тебя замѣчательный нюхъ. Отыщи, гдѣ правда. Шершъ!

На голыхъ стѣнахъ два украшенія: скрипка, изъ которой Регеновъ время отъ времени, въ минуту тоски, извлекаетъ душу раздирающіе звуки, „чтобы пробудить спящія сердца“, и на почетномъ видномъ мѣстѣ виситъ палочка съ длинною ниткой.

На вопросъ, что это, Регеновъ отвѣчаетъ:

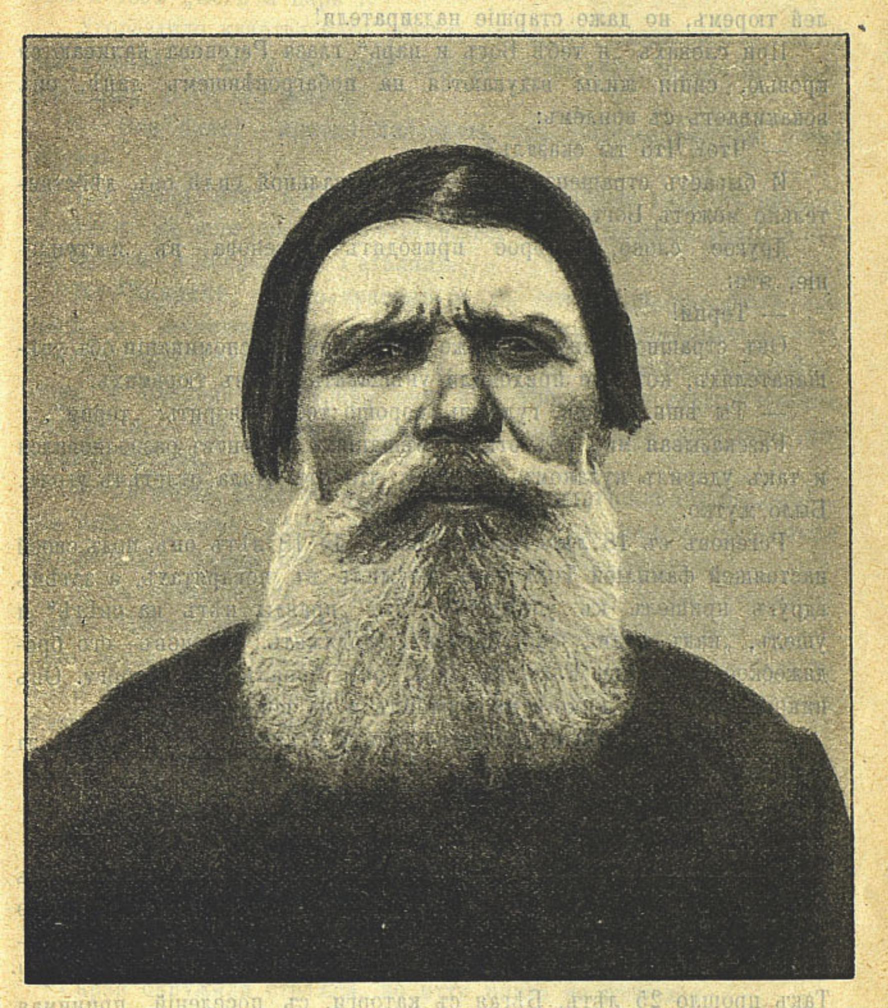
— Бичъ для человѣчества.

Регеновъ очень тихъ, кротокъ и послушенъ, съ докторомъ онъ вѣжливъ, предупредителенъ и любезенъ, но тюремное начальство ненавидитъ, считая его „вмѣстилищемъ всяческой неправды“.

Есть одна фраза, чтобъ привести этого кроткаго и добродушнаго человѣка моментально въ неистовое бѣшенство. Стоитъ сказать:

— Я тебѣ Богъ и царь!

Надо замѣтить, что для сахалинской мелкой тюремной администраціи есть одно „непростительное“ слово „законъ“, когда его



Сахалинскій крестьянинъ, изъ ссыльныхъ, судился въ 1851 г., и послѣ того 8 разъ за бродяжничество принялъ 400 плетей.

произноситъ ссыльно-каторжный. Въ устахъ каторжанина это слово приводитъ ихъ въ неистовство.

— Это не по закону!—заявляетъ каторжникъ.

— Я тебѣ дамъ законъ!—кричитъ внѣ себя мелкій сахалинскій чинуша и топаетъ ногами.—Я тебѣ покажу „законъ“!

Зато у нихъ есть любимое выраженіе:

— Я тебѣ Богъ и царь!

Я слышалъ, какъ это кричали не только помощники смотрителей тюремъ, но даже старшіе надзиратели!

При словахъ „я тебѣ Богъ и царь“ глаза Регенова наливаются кровью, синія жилы вздуваются на побагровѣвшемъ лицѣ, онъ вскакиваетъ съ воплемъ:

— Что? Что ты сказалъ?

И бываетъ страшенъ. При его колоссальной силѣ онъ дѣйствительно можетъ Богъ знаетъ чего надѣлать.

Другое слово, которое приводитъ Регенова въ изступленіе, это:

— Терпи!

Онъ страшно волнуется даже при одномъ воспоминаніи объ увѣщавателяхъ, которые приходили увѣщавать его въ тюрьмахъ.

— Ты ѣшь, пьешь, гуляешь, хорошо тебѣ говорить: „терпи“.

Разсказывая мнѣ объ этихъ увѣщаніяхъ, Регеновъ разволновался и такъ ударилъ кулакомъ по столу, что отъ стола отлетѣлъ уголъ. Было жутко.

Регеновъ съ 18 лѣтъ по тюрьмамъ. До 18 лѣтъ онъ, подъ своей настоящей фамиліей Толмачева, служилъ въ поварятахъ, а затѣмъ вдругъ пришелъ къ убѣжденію, что „правды нѣтъ на свѣтѣ“ и ушелъ, „какъ французскій король“, бродяжить. Регеновъ—его бродяжеское прозвище. Какъ бродяга, онъ попалъ въ каторгу. Онъ никого не убилъ, никого не ограбилъ и на вопросъ:

— Вотъ вы любите правду,—правду и скажите: этихъ дѣлъ за вами нѣтъ?

Отвѣчаетъ не то, что съ негодованіемъ, а съ изумленіемъ:

— Да развѣ это можно? Развѣ это „правда“?

Но при колоссальной физической силѣ, водворяя правду, онъ натворилъ Богъ знаетъ сколько буйствъ, нанесъ невѣроятное число оскорбленій, „бунтовалъ“ неисчислимое число разъ. И сколько наказаній вынесъ этотъ строптивый, дерзкій, буйный арестантъ-бунтарь! Такъ прошло 25 лѣтъ. Бѣгая съ каторги, съ поселеній, принимая за побѣги плети и розги, Регеновъ прошелъ всю Сибирь и добрался до Хабаровска. Въ Хабаровскѣ онъ сидѣлъ въ кабакѣ, когда туда вошелъ квартальный. Всѣ сняли шапки, кромѣ Регенова.

— Ты почему не снимаешь шапки?

— А зачѣмъ я здѣсь передъ тобой буду снимать шапку? Въ кабакѣ всѣ равны. Всѣ пьяницы.

— Да ты кто такой?

— Бродяга.

— Бродяга?! И смѣешь еще разговаривать? Да знаешь ли ты, что я тебѣ „Богъ и царь“?!

Угораздило квартальнаго сказать эту фразу, „ходовую“ не только на Сахалинѣ, но и во всей Сибири. Что тутъ только надѣлалъ Регеновъ, Богъ его знаетъ!

— Все билъ! — кратко поясняетъ онъ, вспоминая объ этомъ случаѣ.

Его взяли, какъ бродягу, осудили на полтора года въ каторгу и затѣмъ на поселенье за бродяжество, съ тѣлеснымъ наказаніемъ за побѣги, и сослали на Сахалинъ.

На Сахалинѣ, съ его нравомъ и съ его силой, онъ былъ сейчасъ же зачисленъ въ число опаснѣйшихъ каторжниковъ. Онъ безпрестанно бѣгалъ изъ тюрьмы, и, когда Регеновъ, Коробейниковъ и Заваринъ, — теперь они всѣ трое въ психіатрическомъ отдѣленіи, — появлялись гдѣ-нибудь на дорогѣ, имъ навстрѣчу посылали отрядъ.

— Регеновъ, Коробейниковъ и Заваринъ идутъ изъ Рыковскаго!— эта была страшная вѣсть, и пока это тріо не ловили, чиновники остерегались ѣздить изъ Александровска въ Рыковское.

Этотъ сумасшедшій богатырь, дѣйствительно, можетъ наводить ужасъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ онъ зашелъ въ зданіе карантина, когда тамъ была только что пригнанная партія ссыльно-каторжныхъ женщинъ, ожидавшая, пока ихъ разберутъ въ сожительницы поселенцы. Регенову приглянулась одна изъ каторжанокъ, да и ей, видимо, понравился силачъ-красавецъ.

Регеновъ рѣшилъ „начать жить по правдѣ“.

— Уне есть человѣку едину быти.

Выгналъ всѣхъ бабъ изъ карантиннаго сарая, выкидалъ всѣ ихъ вещи, оставилъ только понравившуюся ему каторжанку и объявилъ:

— Кто хоть близко подойдетъ къ карантину — убью.

Сарай окружили стражей, но итти никто не рѣшался.

И Регеновъ живой бы не дался и у нападающихъ были бы человѣческія жертвы.

Рѣшили взять его измором. Нѣсколько дней длилась осада, пока каторжанка, изнемогшая отъ голода, сама не сбѣжала, воспользовавшись сномъ своего сумасшедшаго друга.

Тогда Регеновъ переколотилъ въ „карантинѣ“ всѣ окна, переломалъ всѣ скамьи и нары и ушелъ, разочарованный и разогорченный. О женщинахъ съ тѣхъ поръ онъ не желаетъ даже слышать:

— Развѣ онѣ могутъ по правдѣ жить? Имъ бы только жрать!

Въ самый день моего отъѣзда съ Сахалина ко мнѣ, въ посту Александровскомъ, явился Регеновъ:

— Пришелъ проститься. Увидите человѣчество, скажите...

— Да вы спрашивались, Регеновъ, у доктора?

— Нѣтъ.

— Какъ же вы такъ? Опять поймаютъ!

— Нѣтъ!

Регеновъ добродушно улыбнулся.

— Не безпокойтесь. Я на этотъ случай всѣ телефонные столбы выворотилъ.

Селенье Михайловское соединено съ постомъ Александровскимъ телефономъ.

— Шелъ по дорогѣ да столбы и выворачивалъ, чтобъ не могли сказать, что я ушелъ. Всѣ до одного, и проволоки даже, перервалъ.

Увы! Любитель правды не солгалъ: это была правда.

При такихъ дѣяніяхъ Регенову приходилось плохо на Сахалинѣ. И такъ длилось до 1897 г., когда на Сахалинъ впервые былъ командированъ „не полагающійся по штату" психіатръ, и впервые же было устроено и психіатрическое отдѣленіе. Психіатръ, едва посмотрѣвъ на „неисправимаго" арестанта-бунтаря, сказалъ:

— Господа! Да вѣдь это сумасшедшій.

И посадилъ его въ свое отдѣленіе, которое быстро наполнилось: въ одномъ 1897 г., въ одномъ посту Александровскомъ, среди каторжанъ оказалось 73 сумасшедшихъ.

Въ психіатрическомъ отдѣленіи Регеновъ быстро успокоился, сталъ кротокъ и послушенъ и только иногда буйствуетъ, входя въ соприкосновеніе съ тюремною администраціей.

— Ужъ его всячески стараюсь отдалить отъ всякихъ соприкосновеній и столкновеній! — говорилъ мнѣ психіатръ. — Многіе и до сихъ поръ не хотятъ понять, что онъ сумасшедшій. А ему бы 25 л. тому назадъ слѣдовало здѣсь сидѣть.

Когда я послѣ бесѣды объ увѣщаніяхъ выходилъ изъ комнаты Регенова, ко мнѣ подошелъ небольшого роста подслѣповатый человѣкъ.

Близорукость вообще развиваетъ подозрительность. Плохо видя, что кругомъ дѣлается, близорукіе всегда держатся немного „насторожѣ". Но этотъ ужъ былъ сама подозрительность, даже по внѣшности.

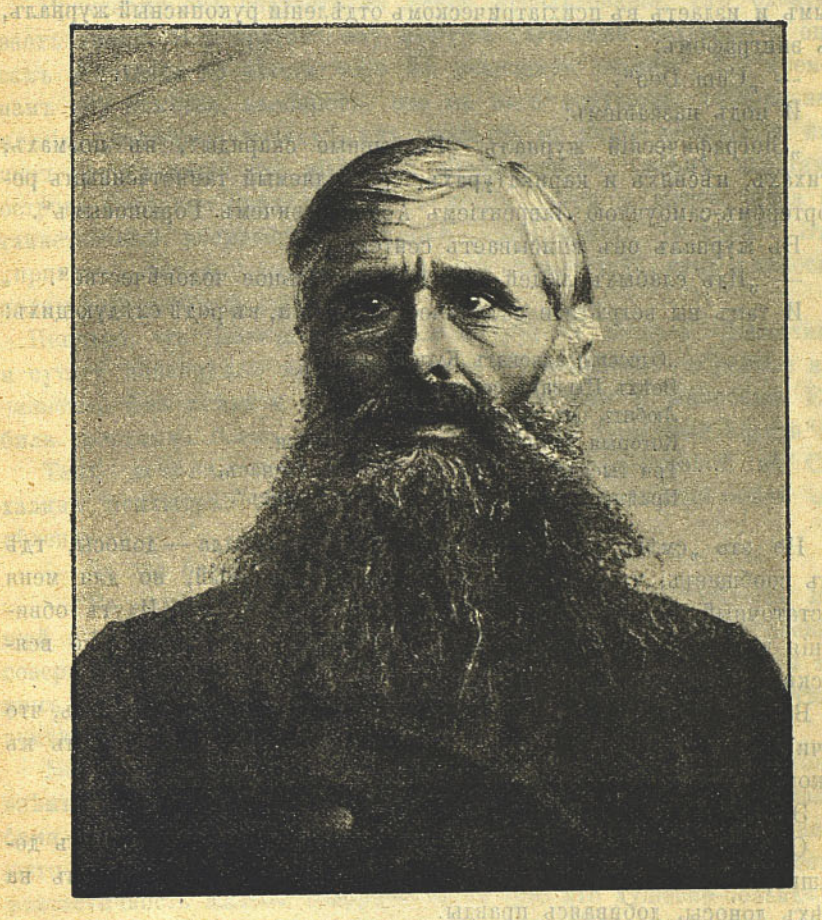
Онъ потихоньку сунулъ мнѣ въ руку бумажку, пробормотавъ:

— Прочтите и дайте законный ходъ!

И отошелъ.

— Помягшевъ!—тихо сказалъ мнѣ докторъ,—вѣроятно, доносъ на меня!

Такъ и оказалось. Принимая меня за „завѣдующаго всѣми медицинскими частями“, Помягшевъ обвинялъ всѣхъ докторовъ острова



Типы Сахалина. Сахалинскій крестьянинъ, изъ ссыльныхъ, судился въ 1864 г.

Сахалина „въ повальномъ и систематическомъ отравленіи больныхъ ради корыстныхъ выгодъ“.

Каждый разъ, какъ мнѣ приходилось бывать въ больницѣ, Помягшевъ крался за мной и высматривалъ откуда-нибудь изъ-за угла, какъ я бесѣдую съ докторомъ. А черезъ нѣсколько дней попалъ доносъ доктору уже на меня. Бумага адресована „г. сахалинскому

генералъ-губернатору", и въ ней сообщалось, что „я, завѣдующій всѣми медицинскими частями, изъ корыстныхъ видовъ сошелся съ докторами въ цѣляхъ дурного питанія арестантовъ и присвоенія себѣ причитающихся имъ денегъ".

Помягшевъ титулуетъ себя таинственнымъ репортеромъ Горюновымъ и издаетъ въ психіатрическомъ отдѣленіи рукописный журналъ, съ эпиграфомъ:

— „Cum Deo".

И подъ названіемъ:

„Біографическій журналъ „Разрывные снаряды", въ поэмахъ, стихахъ, пѣсняхъ и карикатурахъ, составляемый таинственнымъ репортеромъ-самоучкою Лаврентіемъ Аѳанасьевичемъ Горюновымъ".

Въ журналъ онъ вписываетъ сентенціи:

— „Изъ слабыхъ людей составилось сильное человѣчество".

И тамъ вы встрѣтите сатирическіе стишки, въ родѣ слѣдующихъ:

„Одесскій адвокатъ Куперникъ
Всѣхъ Плевакъ соперникъ,
Любитъ онъ крупныя дѣлишки,
Которыя учиняютъ грязные людишки.
Три тысячи въ часъ, три тысячи въ часъ,
Крайне жалѣя, что мало такихъ у насъ".

Но это „смѣсь", — главное содержаніе журнала — доносы, гдѣ онъ сообщаетъ, что, „имѣя тончайшій и незвучный, но для меня достаточный слухъ, такого-то числа услыхалъ то-то". Идутъ обвиненія докторовъ, администраціи, надзирателей, арестантовъ во всяческихъ „преступленіяхъ и неправдахъ".

Весь день, съ утра до ночи, Помягшевъ проводитъ въ томъ, что сочиняетъ доносы и жалобы, въ которыхъ проситъ „вчинить къ такому-то искъ и сослать въ каторгу".

Это и привело Помягшева на Сахалинъ.

Онъ—мѣщанинъ одного изъ поволжскихъ городовъ, имѣлъ домишко, заболѣлъ и началъ вчинять ко всѣмъ иски и писать на всѣхъ доносы, добиваясь правды.

Это одна изъ самыхъ назойливыхъ и нестерпимыхъ маній, очень распространенная, но мало кѣмъ въ житейскомъ кругу за болѣзнь признаваемая,—манія сутяжничества.

О такой мало кто и слышалъ!

Заболѣвъ сутяжническимъ помѣшательствомъ, Помягшевъ, конечно, просудилъ все, что у него было, по своимъ нелѣпымъ искамъ, возстановилъ доносами противъ себя все и вся и, придя въ полное отчаяніе, что „правды нѣтъ", рѣшилъ обратить на себя „вниманіе

правительства". Онъ поджогъ свой домъ, чтобы на судѣ разсказать „всю правду и гласно обнародовать всѣ свои обвиненія".

Но, конечно, когда на судѣ онъ началъ молоть разный вздоръ, не идущій къ дѣлу,—его остановили. Поджогъ былъ доказанъ,—и Помягшевъ попалъ на Сахалинъ.

Временами онъ впадаетъ въ манію преслѣдованія. Его охватываетъ ужасъ. Всѣ кругомъ ему кажутся „агентами сатаны — и онъ самъ находится во власти того же господина сатаны". По временамъ ему кажется, наоборотъ, что на него возложена спеціальная миссія, „водворить правду", онъ впадаетъ въ манію величія и пишетъ распоряженія, въ которыхъ приказываетъ „всѣмъ властямъ острова Сахалина съѣхаться въ 6 часовъ утра и ждать, пока я, таинственный репортеръ, не дамъ троекратнаго сигнала". Эти „приказы", которые онъ передаетъ „по начальству", какъ и доносы, полны отборнѣйшей ругани.

Понятно, что Помягшеву досталась трудная каторга. Доносчика и сутягу ненавидѣли арестанты и не переваривало тюремное начальство. Онъ всѣхъ и вся заваливалъ доносами и жалобами. Его била смертнымъ боемъ каторга и „исправляли тюремныя власти".

Такъ длилось тоже до 97 года, когда пріѣхавшій на Сахалинъ психіатръ, наконецъ, взялъ его въ психіатрическое отдѣленіе:

— Да это больной.

— Въ сахалинскихъ тюрьмахъ вообще не мало больныхъ маніей сутяжничества, — говорилъ мнѣ психіатръ, — преступленій, совершаемыхъ для того, чтобъ „обратить на себя вниманіе" и такимъ путемъ „добиться правды", вообще гораздо больше, чѣмъ думаютъ.

Мнѣ лично много приходилось видѣть на Сахалинѣ арестантовъ, всѣмъ надоѣдающихъ самыми нелѣпыми, неосновательными жалобами и доносами, тратящихъ послѣдніе гроши, чтобы нанять знающаго арестанта для составленія такой жалобы. Самая нелѣпость, фантастичность жалобъ говоритъ за то, что это душевно-больные.

— Вотъ не угодно ли-съ! — воскликнулъ Помягшевъ, когда мы съ докторомъ вошли въ одну изъ палатъ,—не угодно ли-съ!

Жестомъ, полнымъ негодованія, онъ указалъ на больного, который моментально закрылся одѣяломъ съ головой, лишь только мы появились.

— Не угодно ли-съ! Почему человѣкъ прячется? Что здѣсь скрыто? Какая тайна? Не надо на это обратить вниманіе? Не нужно раскрыть? Такъ здѣсь обращаютъ вниманіе на правду?!

И, подергиваясь отъ негодованія, Помягшевъ убѣжалъ, — вѣроятно, писать доносъ.

„Тайна“ лежала, притаившись, подъ одѣяломъ.

Это — Юшпаничъ, крестьянинъ Вятской губ. Поистинѣ, живая трагедія. Онъ ушелъ изъ дома на золотые пріиски, — на обратной дорогѣ его обокрали: украли деньги и паспортъ. Это такъ повліяло на несчастнаго, что онъ помѣшался. У него явился бредъ преслѣдованія. Ему казалось, что его, Юшпанича, ищутъ, чтобы убить и ограбить. Онъ рѣшилъ лучше перемѣнить фамилію и назвался вымышленнымъ именемъ. Его арестовали, какъ безпаспортнаго бродягу, и сослали. Онъ пробылъ на Сахалинѣ три года. Здѣсь, почувствовавъ довѣріе къ доктору, онъ открылъ свое настоящее имя. Пошло разслѣдованіе, — но несчастному ужъ не вернуться на родину.

Бредъ преслѣдованія продолжаетъ его мучить. При появленіи въ палатѣ новаго лица онъ спѣшитъ закрыться одѣяломъ:

— Начнутъ опять опознавать, снимать карточки. Мученіе.

Только послѣ долгихъ уговоровъ доктора онъ согласился наполовину открыть лицо.

Ему страстно хотѣлось бы вернуться на родину. Онъ тоскуетъ по своимъ. Но о своемъ „дѣлѣ“ — о признаніи его тѣмъ, кто онъ есть, говорить избѣгаетъ:

— Сколько тянется! Сколько тянется!

— Вы, можетъ-быть, хотите разсказать господину о вашемъ дѣлѣ? — спросилъ его докторъ.

— Нѣтъ! Нѣтъ! Лучше не говорить, чтобъ не растравлять.

И Юшпаничъ снова юркнулъ подъ одѣяло.

— Дѣйствительно, ужасный случай. Но кому на судѣ, не психіатру, придетъ въ голову, что этотъ бродяга, упорно нежелающій открыть свое званіе, въ сущности, страдаетъ маніей преслѣдованія! — пожалъ плечами психіатръ. — У насъ, какъ видите, слишкомъ мала больница для душевно-больныхъ. И вы встрѣтите ихъ у насъ, на Сахалинѣ, много въ тюрьмахъ и на свободѣ.

За завтракомъ у доктора я познакомился съ бывшимъ офицеромъ З—вымъ.

— Очень интересный субъектъ! — обратилъ на него мое вниманіе докторъ.

З—въ сосланъ въ каторгу за убійство своего денщика. Онъ подозрѣвалъ свою жену и денщика въ томъ, что они хотятъ его убить „при помощи гипнотизма“.

— Я уже чувствовалъ-таки! — объяснилъ онъ.

Онъ и на судѣ что-то толковалъ про гипнотизмъ и электричество, а по дорогѣ на Сахалинъ, еще на пароходѣ, сумасшествіе выяснилось окончательно.

Онъ разсылалъ офицерамъ парохода свою рукописную карточку:

— Къ своей мѣркѣ меня... „на" + всепрощеніе мое = трансцендентально вѣрно. Вашъ слуга Н. Д. З—въ.

И ежедневно подавалъ капитану парохода докладныя записки о сдѣланныхъ имъ открытіяхъ и изобрѣтеніяхъ съ просьбой выдать ему поскорѣе милліонъ.

Прежняя манія преслѣдованія смѣнились бредомъ величія.

Онъ ни одного дня не былъ въ тюрьмѣ, — его прямо съ парохода помѣстили въ больницу, — до того было ясно его помѣшательство.

Теперь онъ тихій и безопасный больной, гуляетъ на свободѣ, надоѣдаетъ сахалинскому начальству, являясь поздравлять каждое воскресенье съ праздникомъ:

— По обязанности службы.

Онъ понемногу впадаетъ въ полное слабоуміе,—своимъ прошлымъ интересуется мало и о гипнотизмѣ отзывается съ усмѣшкой.

— Это мнѣ казалось!—съ пріятнѣйшею улыбкой объяснилъ онъ мнѣ.—Я и на судѣ говорилъ, что сдѣлалъ „то" подъ вліяніемъ электрическихъ токовъ! Но это—пустяки.

Теперь онъ „изобрѣтатель машины Парадоксонъ" и страдаетъ любовнымъ бредомъ. Онъ увѣренъ, что въ него влюблены дочери и жены всѣхъ чиновниковъ, „назначаютъ ему свиданія", „дѣлаютъ при встрѣчѣ тайные условные знаки", но скрываютъ отъ другихъ свои чувства, боясь преслѣдованій.

Въ виду этого онъ пишетъ имъ всѣмъ по очереди письма:

— „Милая Аня! Въ дополненіе прежнихъ обѣщаній, прибавляю 175.000 руб. вамъ отъ меня. Примите сегодня къ себѣ возлюбленнаго мірового генія-олимпійца З — ва, меня. Немедленно помѣстите въ домѣ своемъ меня квартирантомъ. Изобрѣтатель машинъ „Парадоксонъ" Н. Д. З—въ.

„P. S. Пришлите за мной лошадь".

Этотъ „колоссальный успѣхъ у женщинъ", о которомъ онъ съ удовольствіемъ разсказываетъ, заставляетъ его внимательно слѣдить за своей наружностью и тщательно расчесывать свои рыженькіе бачки.

— По-своему этотъ „изобрѣтатель", пожалуй, даже счастливъ,— говорилъ мнѣ психіатръ,—но... дѣло-то въ томъ, что онъ началъ изобрѣтать свою машину Парадоксонъ еще до убійства!

Вотъ нѣкоторыя изъ скорбныхъ тѣней преступниковъ-душевнобольныхъ, которыя возстаютъ въ моей памяти.

Если эти строки подскажутъ читателю мысль, что врачу должно быть больше отведено мѣста на судѣ, я буду считать свою задачу исполненной.

Сахалинское Монте-Карло.

На большомъ дворѣ на травкѣ грѣются на солнышкѣ слѣпые безногіе калѣки. Кутаясь въ рванье, дрожа старческимъ, избитымъ, истерзаннымъ тѣломъ, бродятъ „клейменые"; на лѣвой щекѣ буква „К", на лбу „Т", на правой щекѣ „С".

Изъ открытыхъ форточекъ слышны удушающій, затяжной кашель, старческая ругань, сквернословіе, возгласы:

— Бардадымъ [1])!

— Шеперка [2]).

— Братское окошко [3])!

— Атанда [4]).

Это сахалинское „Монте-Карло",—какъ зовутъ гг. служащіе. Каторжная богадѣльня въ селеніи Дербинскомъ. Она населена нищими, шулерами и ростовщиками.

Начальство туда не заглядываетъ.

— Ну ихъ къ чорту!—говорилъ мнѣ смотритель, довольно интеллигентный человѣкъ.—Это остатки отъ „Мертваго дома". Пусть догниваютъ!

Священникъ пробовалъ ходить, но бросилъ.

— Невозможно-съ!—говорилъ мнѣ дербинскій батюшка, священникъ изъ бурятъ. — Ходилъ къ нимъ со святой водой, руганью встрѣчаютъ, сквернословіемъ, издѣвательствами. Тутъ священное поешь, а рядомъ на нарахъ непотребныя слова, хохотъ, каждое твое слово подхватываютъ, переиначиваютъ, кощунствуютъ, смѣются. „Ишь, — кричатъ, — долгогривый, гнуситъ сюда пришелъ, только играть мѣшаешь. Вонъ убирайся!" И ходить бросилъ. Посрамленіе-съ.

Всякая сахалинская тюрьма — игорный домъ. Но Дербинская богадѣльня славится и въ сосѣднихъ округахъ. „Поиграть въ богадѣльню" пріѣзжаютъ и приходятъ поселенцы съ дальнихъ поселеній.

Когда предвидится хорошая пожива, старики-ростовщики складываются и выставляютъ „хорошій, большой банкъ" — рублей въ

---

1) Король. 2) Шестерка. 3) Двойка. 4) Атанде.

150. въ 200. Старики-игроки, метчики, мечутъ навѣрняка. Понтирующій плутуетъ, какъ можетъ.

Въ Дербинской богадѣльнѣ случаются большіе проигрыши.

При мнѣ пріѣхавшій поиграть поселенецъ проигралъ все, что было, лошадь, телѣгу, платье съ себя, получилъ „смѣнку", какое-то рванье, и вышелъ нищимъ.

Грязь и вонь въ камерахъ, гдѣ помѣщается по 40, по 50 стариковъ, невообразимыя.

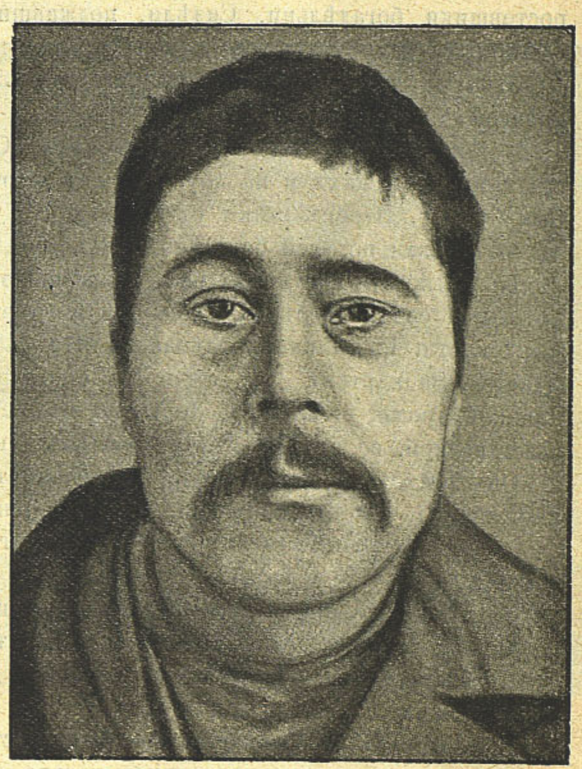
Старики жалуются:

— Мыло, что на насъ полагается, себѣ берутъ. Бѣльишка нашего не стираютъ!

Бѣлье, никогда не стиранное, расползающееся на тѣлѣ, носится до тѣхъ поръ, пока эти землистаго цвѣта истлѣвшія лохмотья не свалятся окончательно.

Нары, на которыхъ лежатъ больные, неопрятные, пропитаны грязью. Кучи лохмотьевъ кишатъ насѣкомыми.

Въ этомъ смрадномъ „номерѣ", на нарахъ у майданщика, и рѣжутся въ „стосъ".



Арестантскіе типы.

Старики стѣной стоятъ вокругъ играющихъ.

Весь „номеръ" заинтересованъ въ игрѣ.

Стремщикъ стоитъ у дверей и, если есть какая-нибудь опасность, говоритъ:

— Вода!

А когда приближается начальство:

— Шесть!

Въ Дербинской богадѣльнѣ начальство не бываетъ никогда. И стремщику, собственно говоря, дѣлать нечего. Но ужъ та ой поря-

докъ: „какъ играть — такъ къ двери ставить“, да и къ тому же „надо дать бѣдному старику что-нибудь заработать“.

Стремщикъ зналъ уже, что я не „вода“ и не „шесть“, и пропустилъ меня свободно.

— Игра?

— Страсть!

На нарахъ у майданщика, изъ татаръ, были налицо всѣ „отцы“, ростовщики богадѣльни. Сидѣли, поджавши ноги, и во всѣ глаза слѣдили за банкометомъ и за понтирующимъ.

Игра шла крупная. „Одинъ на одинъ“. Другіе съ мелкимъ „понтомъ“ и не приступались.

Металъ бродяга Иванъ Пройди-Свѣтъ. Старый каторжникъ, со шрамами на щекахъ и на лбу. Это онъ вырѣзалъ у себя „клейменыя буквы“. Игрокъ метки удивительной:

— Первая по всей богадѣльнѣ метка!

Въ обыкновенное время онъ, дряхлый довольно, когда-то, видно, богатырь, сидитъ себѣ на солнышкѣ и грѣетъ свои старыя „ломаныя“ кости. Развалина, подумаешь. Но за картами онъ перерождается. За картами онъ „строгъ“. Зорокъ поразительно. Въ рукахъ никакой дрожи, — машина. Дергаетъ неуловимо. Мечетъ твердо, съ разстановкой, со стукомъ, отчетливо кладя карту въ карту.

Онъ металъ на маленькомъ, чистенькомъ мѣстечкѣ на нарахъ майданщика. Металъ спокойно, молча, именно, какъ машина.

— Бита!.. Дана!.. — это кричали уже старики, стоявшіе стѣной вокругъ.

До денегъ не притрогивался. Деньги тащили къ себѣ или выплачивали старики „отцы“. Онъ былъ нанятъ только метать.

Поселенецъ, продувавшій уже лошадь, дергался. Лицо у него шло пятнами. То блѣднѣлъ, а то краснѣлъ съ ушами.

Выдергивалъ изъ своей колоды карту, ставилъ подъ нее кушъ и смотрѣлъ, на что онъ поставилъ только тогда, когда открывали „соники“.

Смотрѣлъ мелькомъ, сбоку, чтобы не показать карты другимъ. А кругомъ шелъ „телеграфъ“. Старики подсматривали карту и обмѣнивались условными, незамѣтными знаками. То кто-нибудь почешетъ переносицу, то глазъ, то поищется въ бородѣ. Пройди-Свѣтъ все кругомъ видѣлъ, примѣчалъ к по знакамъ узнавалъ, какая у поселенца карта.

Поселенецъ время отъ времени, какъ разозленный волкъ, оглядывался на стариковъ. И это было страшно. Поселенецъ игралъ съ ножомъ въ голенищѣ, чтобы, если придется, кого „пришить“. Ста-

рики стояли тоже съ ножами, у кого въ сапогѣ, у кого за пазухой, чтобы „въ случаѣ чего“ пустить ихъ въ дѣло. Иначе въ тюрьмѣ не играютъ.

Пройди-Свѣтъ, открывъ „соники“, останавливался и ждалъ.

— Дальше! — говорилъ поселенецъ.

Пройди-Свѣтъ металъ еще абцугъ и останавливался.

— Дальше!

Пройди-Свѣтъ не двигался.



Сс.-каторжные богадѣльщики въ сельцѣ Дербинскомъ.

— Три сбоку! — злобно говорилъ поселенецъ.

Пройди-Свѣтъ металъ до семерки.

— Не та!

Пройди-Свѣтъ металъ до восьмерки.

— Дальше!

Пройди-Свѣтъ клалъ битую шестерку.

Поселенецъ со злобой бросалъ на полъ измятую карту, переступалъ съ ноги на ногу, блѣднѣлъ, краснѣлъ, плевалъ на руку, тасовалъ свою колоду, вырывалъ изъ средины карту, рѣзалъ Пройди-Свѣту колоду и объявлялъ:

— Кушъ подъ картой!

Пройди-Свѣтъ открывалъ „соники“.

Такъ тихо, почти безмолвно, шла игра. Человѣкъ спускалъ съ себя все до нитки.

Коротенькіе перерывы дѣлались, когда поселенецъ торговался за телѣгу, за серебряные глухіе часы, за пиджакъ, картузъ, штаны и жилетку, за сапоги.

Поселенецъ ругалъ нецензурными словами „отцовъ“, отцы ругали нецензурными словами поселенца. И вещи шли почти задаромъ.

— Вѣдь въ гробъ, черти, съ собой не возьмете!

— Молчи, пока не пришили!

— На саванъ вамъ, подлецамъ! Давайте!

Ему выдавались деньги.

Пройди-Свѣтъ сидѣлъ все это время спокойный, равнодушный, словно не видя, что вокругъ него происходило. Совсѣмъ машина, которую остановили.

— Пройди-Свѣтъ, мечи!

И машина начинала работать.

— Поле! — въ послѣдній разъ крикнулъ поселенецъ.

Пройди-Свѣтъ слѣдующимъ же абцугомъ открылъ битаго туза.

— Будя! — сказали въ одинъ голосъ „отцы“.

Старики разступились.

— Вотъ сюды, сюды иди!

Поселенецъ молча прошелъ въ уголокъ, молча скинулъ съ себя все, до шерстяной вязаной рубахи и до нижней рубахи включительно.

Когда онъ снималъ сапоги, изъ праваго голенища выпалъ ножъ и словно провалился сквозь землю: его моментально подобрали.

Поселенецъ одѣлся въ „ризы“,—какую-то рвань,—нахлобучилъ на голову драный арестантскій сѣрый картузъ и молча вышелъ. На ходу онъ шатался. Идя по двору, жадно дышалъ свѣжимъ, чистымъ воздухомъ. Ноги у него заплетались, какъ у пьянаго. Выйдя изъ воротъ, онъ повернулъ куда-то и зашагалъ, врядъ ли понимая, куда онъ идетъ, зачѣмъ. Видно было только, что шатается человѣкъ все сильнѣе и сильнѣе, да какая-то встрѣчная поселенка, поравнявшись съ нимъ, съ испугомъ шарахнулась въ сторону и долго потомъ глядѣла вслѣдъ быстро шедшему, шатавшемуся на ногахъ человѣку.

А на дворѣ богадѣльни „отцы“ усаживались въ телѣгу и ѣхали сбывать лошадь.

Когда нѣтъ посторонней наживы, старики „рѣжутся“ между собой, отыгрывая другъ у друга тряпье, послѣдніе гроши.



Типы сахалинскихъ ссыльно-каторжныхъ.

Какія странныя и страшныя фигуры есть среди этихъ людей, вся жизнь которыхъ прошла среди розогъ, плетей, тюремъ, каторги, побѣговъ и погонь.

Вотъ слѣпой старикъ-бродяга... Борисъ Годуновъ.

— Почему ты Борисъ Годуновъ?

— Такъ смотритель одинъ прозвалъ. Еще въ молодыхъ годахъ. Сошлись насъ въ тюрьмѣ двое Борисовъ бродягъ. „Будь, говоритъ, ты по этому случаю Борисъ Годуновъ“. Для отлички.

— А кто былъ этотъ Борисъ Годуновъ-то, которымъ тебя назвали?

— А кто жъ его знаетъ!

За что былъ сосланъ Борисъ Годуновъ первоначально въ каторгу, онъ „никому не открывается“. Въ Сибири, уже бѣглымъ, онъ былъ знаменитъ, какъ „охотникъ на людей“: грабилъ и рѣзалъ богомолокъ.

Объ этомъ времени старикъ вспоминать любитъ и, когда вспоминаетъ, по губамъ его ползетъ широкая, чувственная улыбка.

— Много ихъ, богомолочекъ-то, по трактамъ ходитъ. Живился. Заведешься въ такой мѣстности, караулишь. Сидишь за кустомъ, поджидаешь. Идетъ богомолочка къ угодникамъ, другая бываетъ такая, что хоть бы и сейчасъ...

Старикъ смѣется.

— Выпорхнешь изъ кустовъ да за глотку. Ну, пользуешься около нея, да перомъ (ножъ), либо по дыхалу проведешь, либо въ бокъ кольнешь. Готово. Пошаришь. Съ деньжонками богомолочки-то ходятъ. Свои угодникамъ на свѣчки несетъ, изъ деревни за упокой родителей дадено. Съ деньжонками. Хлѣбца у нея въ котомочкѣ возьмешь, пожуешь, — вотъ я и сытъ.

— И гдѣ же все это, на дорогѣ?

— Зачѣмъ на дорогѣ,—въ кустахъ. Возьмешь только на дорогѣ. А потомъ за ноги, куда подальше въ тайгу оттащишь. Нельзя близко оставлять, смердить богомолка будетъ, — живо на слѣдъ нападутъ. Пойдетъ слухъ, что въ такихъ-то мѣстахъ такой завелся; ходить опасаться будутъ. Это все по веснѣ дѣлалось да по осени, когда отожнутся. Тутъ бабы къ угодникамъ и ходятъ.

— А лѣто?

— Лѣто гуляешь. Богомолкины деньги есть. А зиму спервоначала тоже гуляешь, а потомъ въ работникахъ гдѣ живешь, аль-бо поймаешься, въ тюрьмѣ бродягой сидишь. А весна — опять по кустамъ пошелъ... По карціямъ-то (карцерамъ), сидя, я и ослѣпъ,— отъ темноты да отъ вони.

И слѣпой, онъ страшный картежникъ. Занимается ростовщичествомъ и изъ „отцовъ“ одинъ изъ самыхъ безжалостныхъ. Держитъ около себя въ черномъ тѣлѣ старика и черезъ него же въ карты играетъ.

— Обманываютъ, небось, старика Годунова? — спрашивалъ я.

— Да, поди, обмани его! Онъ каждую карту наощупь узнаетъ.

Рядомъ съ нимъ гроза всей богадѣльни—Маріанъ Пищатовскій. Пищатовскому всего лѣтъ 45. Онъ приземистъ, скуластъ, широкогрудъ страшно, настоящій Геркулесъ. Казенное бѣлье ему всегда узко, и сквозь рукава обрисовываются мускулы необыкновенныхъ размѣровъ. Силенъ онъ баснословно. Тихъ и кротокъ, какъ овца. Но онъ эпилептикъ, и, когда начинается съ нимъ припадокъ, все въ ужасѣ бѣжитъ отъ него.

Благодаря своей болѣзни, онъ и въ каторгѣ.

По словамъ Пищатовскаго, всегда онъ страдалъ головокруженіемъ и „потомъ ничего не помнилъ“. Попавъ въ военную службу, онъ страшно тосковалъ по родинѣ, тутъ „съ нимъ это самое дѣлалось“. Однажды, „самъ не помнитъ какъ“, онъ избилъ унтеръ-офицера. Здѣсь, въ каторгѣ, онъ однажды бросился на конвойнаго. Конвойный ударилъ его штыкомъ въ животъ. У Пищатовскаго прямо страшный шрамъ на животѣ, и доктора понять не могутъ, какъ онъ остался живъ. Пищатовскій согнулъ ружье.

— Я въ тѣ поры,—говоритъ,—страхъ какой сильный бываю!

Въ каторгѣ Пищатовскому приходилось ужасно. Въ припадкахъ онъ все крошилъ вокругъ себя, и арестанты,—„одно противъ меня средство“, говоритъ онъ,—накидывались на Пищатовскаго скопомъ и били его, пока не станетъ какъ мертвый.

Такъ тянулась его поистинѣ „каторга“, пока Пищатовскому не помогъ трагикомическій случай.

Тюрьму, гдѣ онъ содержался, посѣтило одно изъ начальствующихъ лицъ. Когда Пищатовскій въ здравомъ умѣ и твердой памяти, онъ, какъ я уже говорилъ, тихъ и кротокъ, какъ овца. И наивенъ онъ, какъ ребенокъ. Честенъ притомъ удивительно, ни въ какихъ мошенническихъ продѣлкахъ въ тюрьмѣ участія не принимаетъ, а потому совершенно нищій. Пищатовскому и пришла въ голову наивная мысль: „Попрошу-ка я у добраго человѣка на чаекъ, на сахарокъ“.

Онъ подошелъ къ начальствующему лицу, поклонился и заявилъ:

— А вѣдь я васъ подстрѣлить хочу...

Разумѣется, тотъ отъ Пищатовскаго въ сторону:

— Въ кандалы его! Заковать!

Пищатовскій глядѣлъ, ничего не понимая:

— Чего это онъ?

Дѣло въ томъ, что „подстрѣлить“ на арестантскомъ языкѣ, значитъ—попросить милостыню.

Пищатовскій и до сихъ поръ дивится этому происшествію.

— Да онъ подумалъ, что ты его убить хочешь.

— Какъ же убить, коли я говорю: „подстрѣлить?“ Убить это называется—пришить.

Пищатовскаго заковали въ ручные и ножные кандалы и посадили въ темный карцеръ. Тутъ съ нимъ сдѣлался припадокъ, и врачи объявили:

— Да какъ же его заковывать и въ карцерѣ держать? Вѣдь онъ эпилептикъ!

Пищатовскаго отправили въ богадѣльню. О своихъ припадкахъ онъ и говорить боится:

— Еще сдѣлается!

По словамъ богадѣльщиковъ, никому спать не даетъ: по ночамъ вскакиваетъ и ругается дикимъ голосомъ.

Лицо у него доброе и несчастное. Языкъ весь искусанъ. Выраженіе лица такое, словно онъ боится, что вотъ-вотъ съ нимъ что-то страшное случится. Подпускать его близко боятся: а вдругъ!

— Онъ всѣхъ насъ тутъ перебьетъ!—говорятъ старики.

— Чисто отъ чумы, отъ меня всѣ бѣгутъ!—жаловался чуть не со слезами Маріанъ.—А вѣдь я смирный. Развѣ я кому что дѣлаю? Я смирный.

Это всеобщее отчужденіе, видимо, страшно тяготитъ и мучитъ несчастнаго Пищатовскаго.

Самые интересные изъ богадѣльщиковъ, или „богодуловъ“, какъ ихъ зовутъ на Сахалинѣ, конечно, клейменые.

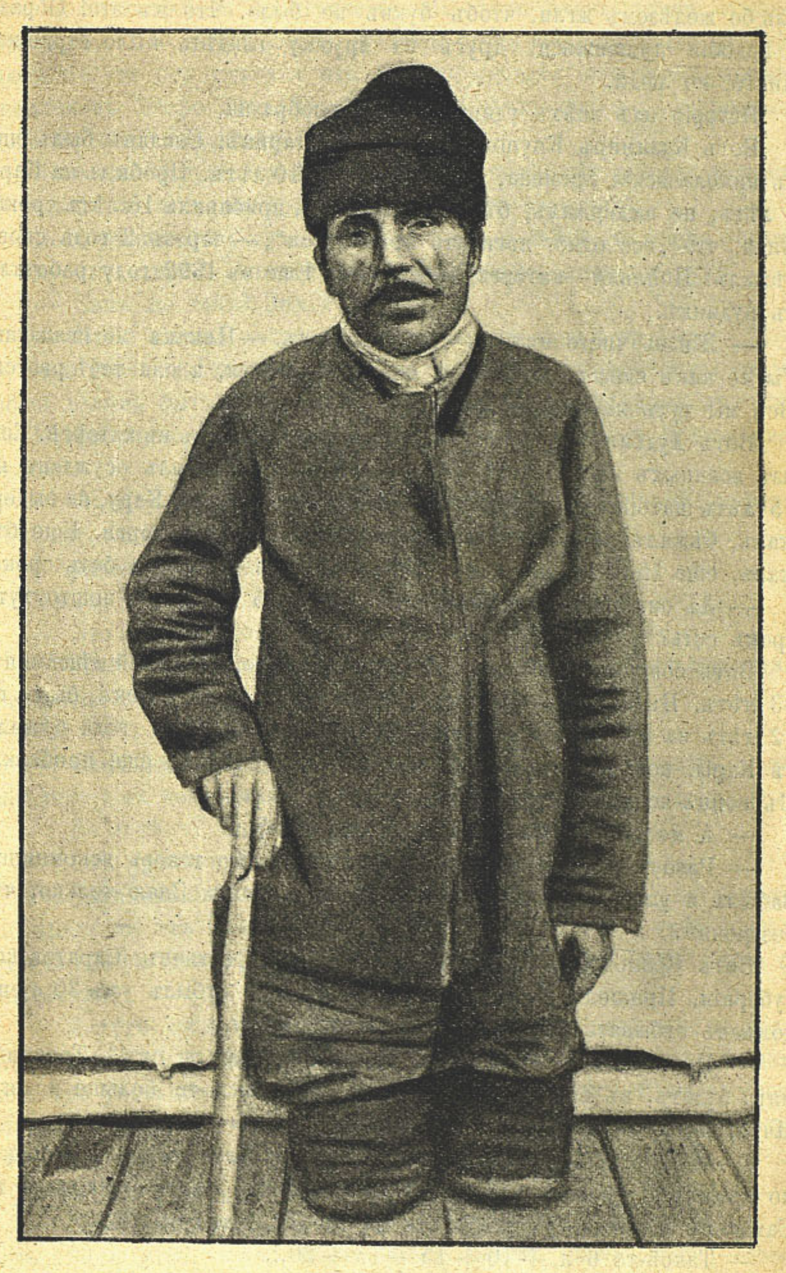
Ихъ ужъ мало. Это призракъ страшной старины. Древняя исторія каторги. Когда еще „клеймили“: палачъ дѣлалъ особымъ приборомъ на щекахъ и на лбу насѣчки: „К“, „Т“, „С“, и затиралъ насѣченныя мѣста черной краской.

— Сначала струпъ дѣлался, а потомъ, какъ струпъ отваливался, буквы черныя.

Изъ черныхъ онѣ отъ времени стали синими, и, дѣйствительно, страшно видѣть эти буквы на лицѣ человѣческомъ. У нѣкоторыхъ вмѣсто буквъ шрамы: вырѣзано или выжжено каленымъ желѣзомъ.

— Зачѣмъ же это дѣлали? Для бѣговъ?

— Нѣтъ, для какихъ бѣговъ? Все одно, увидятъ шрамъ на лбу да на щекахъ,—значитъ, клейма были, вырѣзалъ. А такъ рѣзали,



Типы сахалинскихъ каторжниковъ.

аль бо желѣзомъ жгли, чтобъ буквъ не было. Что жъ это! Образа и подобія лишаешься! Другъ на дружку глядѣть было страшно. Чисто, не люди.

Исторія ихъ всѣхъ удивительно однообразна.

Вотъ Казимиръ Круповъ, 70-лѣтній старикъ. Сосланъ былъ еще въ николаевскія времена, за убійство, на 10 лѣтъ. Пробылъ на Карѣ 9 лѣтъ, не выдержалъ, бѣжалъ. Поймали, прибавили 15 лѣтъ срока. Видя, что „все одно, погибать приходится", — черезъ 2 года снова бѣжалъ. Поймали—каторга безъ срока. Еще въ 1892 году работалъ въ рудникѣ.

— Жизнь чисто нитка! — говоритъ онъ. — Никакъ не свяжешь. Ты ее какъ связать хочешь, а она тебѣ рвется, а она тебѣ рвется. Всѣ мы тутъ на ниткѣ живемъ.

Вотъ Дудкинъ Трофимъ, 67 лѣтъ отроду, 41 годъ въ каторгѣ. Еще изъ военныхъ поселенцевъ Херсонской губерніи. Былъ осужденъ на 15 лѣтъ каторги за грабежъ и убійство. Пришелъ на Кару, не выдержалъ, бѣжалъ; поймали, прибавили еще 15 лѣтъ каторги. Еще бѣжалъ, еще 15 лѣтъ прибавили. 6 разъ бѣгалъ — каторга безъ срока.

— Да она, все одно, безсрочна была. 45 годовъ, — нешто тутъ срокъ есть?

Вотъ совсѣмъ развалина, Матвѣй Кирдейко, виленскій мѣщанинъ, 83 лѣтъ. Въ каторгу пришелъ еще въ 1858 г. Осужденъ былъ на 12 лѣтъ за убійство и грабежъ. Затѣмъ черезъ 2—3 года бѣжалъ съ Кары, получилъ „прибавку срока", еще бѣжалъ, еще прибавка. Въ концѣ-концовъ, безъ срока.

— А много ль разъ бѣгалъ-то, дѣдушка?

— Разовъ пять, а можетъ, и больше. Нешто теперь вспомнишь? Забылъ я уже все. Изъ откеда я, и изъ какехъ. Знаю только, что безсрочный.

Вотъ Вральцевъ, 70-лѣтній старикъ, изъ крестьянъ, Саратовской губерніи. Пришелъ на каторгу на 15 лѣтъ, а отбылъ ужъ 30 и еще долженъ отбывать безъ срока. Тоже за побѣги.

— Мяли больно шибко, я и бѣгалъ!—говорилъ онъ.—Теперича мять будетъ, въ богадѣльню бросили. Да и мять-то больше нечего. Мятъ, мятъ, да и брошенъ.

И такова исторія всѣхъ. Осужденъ сравнительно на недолгій срокъ, но бѣжалъ и „пошли плюсы". При входѣ въ „номеръ" тюрьмы на Сахалинѣ не рѣдкость встрѣтить на табличкѣ арестантовъ:

— Такой-то 6 л. + 10 + 15 + 15 + 20...

Есть каторжники, которымъ „сроку" болѣе 90 лѣтъ, и которые „первоначально" были осуждены на 6, на 8 лѣтъ, т.-е. за сравни-

тельно не тягчайшія преступленія. Мы тутъ очень точно отмѣриваемъ: 6, 7, 8 лѣтъ каторги. А тамъ, среди невыносимыхъ условій, люди бѣгутъ отъ ужаса и изъ краткосрочныхъ каторжанъ превращаются въ безсрочныхъ. Такова исторія всѣхъ почти долгосрочныхъ сахалинскихъ каторжанъ.

Безногіе, безрукіе, калѣки—это живая новѣйшая исторія каторги. Исторія тяжелыхъ, непосильныхъ работъ и наказаній.

Вотъ этотъ стморозилъ себѣ обѣ ноги въ тайгѣ, во время бѣговъ, и ему ихъ отняли. Этотъ такимъ же образомъ лишился рукъ.

— Какъ же такъ? Зимой въ тайгѣ?

— Ваше высокоблагородіе, въ тюрьмахъ житья не было.

Что тамъ ни говори о „страсти" каторжанъ къ побѣгамъ, но хороша должна быть жизнь, если люди бѣгутъ отъ нея зимою въ тайгу.

Масса „поморозившихся" на работахъ, на вытаскѣ бревенъ изъ тайги.

— Одежду нашу знаете. Какая это одежда? Нешто она грѣетъ? Пошлютъ изъ тайги бревна таскать, и морозишься.

А потомъ — отнятыя руки и ноги.

Много, наконецъ, нарочно себя изувѣчившихъ.

— Это у тебя что? Тоже отняли, поморозилъ ногу?

— Нѣтъ, это я самъ. Валили дерево, я ногу и подставилъ. Раздробило, и отняли.

Или:

— Самъ себѣ я руку. Положилъ праву руку на пенекъ, а лѣвой топоромъ какъ дерну — и отрубилъ.

— Да зачѣмъ? Съ чего?

— Отъ уроковъ да отъ наказаній.

Гг. сахалинскіе служащіе объясняютъ это „лѣнью" каторжанъ. Но врядъ ли отъ одной лѣни люди будутъ отрубать себѣ руки и нарочно ломать ноги. Кромѣ каторги, нигдѣ о такой лѣни никто не слыхивалъ.

— Дадутъ урокъ не по силамъ, не выполнилъ—драть и, въ наказанье, хлѣба уменьшать. Назавтра еще пуще безсилѣешь, опять драть да хлѣба уменьшать. Приходишь совсѣмъ въ слабость. Никогда урока не выполняешь. Дерутъ, дерутъ голоднаго-то. Въ отчаяніе придешь, либо ногу подъ телѣжку али подъ дерево, либо руку прочь.

Вотъ гдѣ писать исторію тѣлесныхъ наказаній въ каторгѣ.

— Меня смотритель Л. на самый Свѣтлый праздникъ дралъ, въ ночь, подъ утро, когда разговляться надоть было. „Вотъ,—говоритъ,—тебѣ и разговѣнье". Тамъ „Христосъ воскресъ" поютъ, а меня на кобылѣ порютъ.

Что жъ удивительнаго, что люди, какъ всѣ священники на Сахалинѣ жалуются, „отстаютъ отъ религіи“?

— Мнѣ 35 розогъ цѣльный день давали!

— Какъ такъ?

— А такъ. Драли въ канцеляріи. Смотритель сидитъ и дѣлами займается. А я на кобылѣ лежу и палачъ при мнѣ. Смотритель попишетъ, попишетъ, скажетъ: „Дай!“ Розга. Потомъ опять писать примется. Обѣдать домой уходилъ, а я все лежалъ. Такъ цѣльный день и прошелъ.

Смотритель К., производившій эту экзекуцію, самъ говоритъ, что это такъ:

— Это моя система. А то что: отодрался, да и къ сторонѣ. Это ихъ не беретъ. Нѣтъ, а ты цѣлый день полежи, помучайся!

Развѣ не истязаніе? Въ какомъ законѣ опредѣлено что-нибудь подобное?

— Меня такъ взодрали, два мѣсяца потомъ на карачкахъ, на колѣнкахъ, на локтяхъ, стоялъ, лечь не могъ. Цѣльный мѣсяцъ послѣ порки все изъ себя занозы вытаскивалъ. Гнилъ.

— Я и посейчасъ гнію!

И дѣйствительно гніютъ.

Такія наказанія были въ Александровской тюрьмѣ, когда въ сосѣдней камерѣ драли, одинъ арестантъ подъ нары залѣзъ и тамъ себѣ отъ страха горло перерѣзалъ. Обезумѣлъ человѣкъ. Такъ страшно было.

И это тоже фактъ.

А старики, слушая эти разсказы болѣе молодого каторжнаго поколѣнія, только усмѣхаются.

— Это еще что! Какая каторга! Вотъ на Карѣ въ разгильдѣевскія времена было, вотъ это драли. Мясо клочьями летѣло.

И они показываютъ страшные шрамы дѣйствительно отъ вырванныхъ кусковъ мяса.

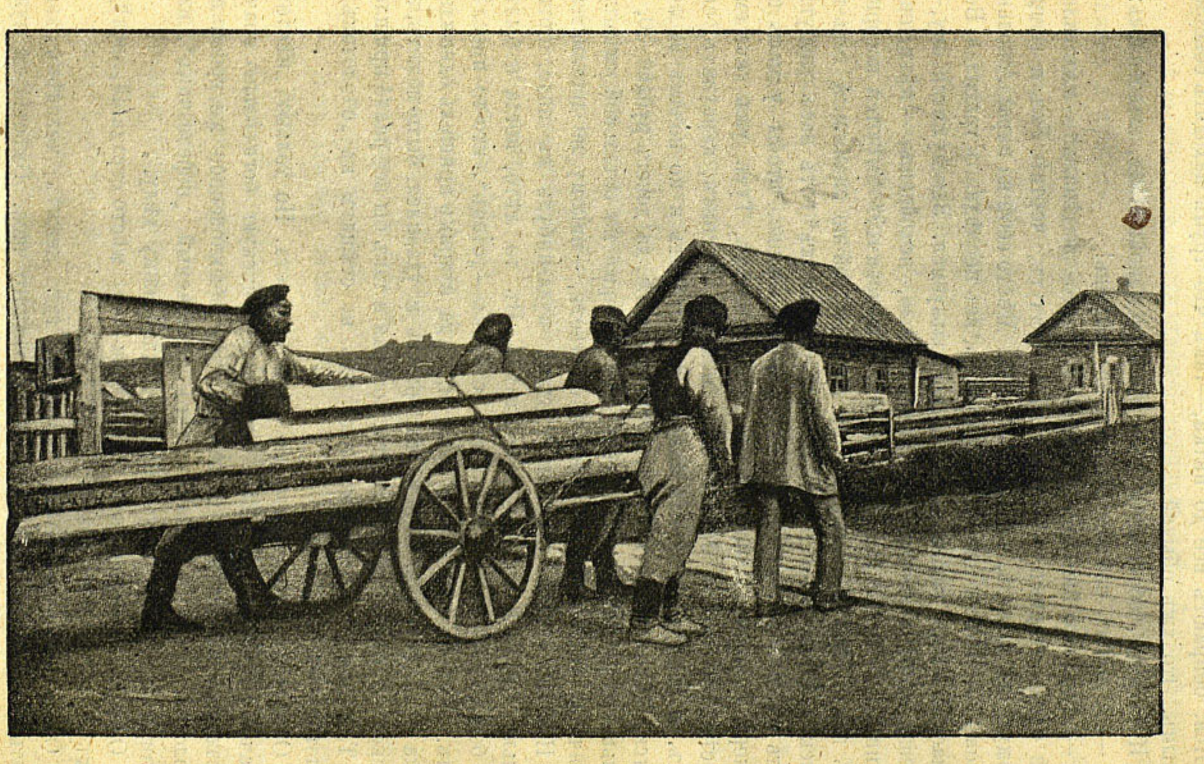
— А это что за каторга!

И древніе старики разсказываютъ о страшныхъ церемоніяхъ „посвященія въ каторжные“, практиковавшагося встарь.

Въ этой ужасной, смрадной богадѣльнѣ, гдѣ все дышитъ ужасомъ, спятъ не иначе, какъ съ ножами подъ подушкой, или подъ тряпьемъ, замѣняющимъ подушку. Боятся—обокрадутъ.

Старики у стариковъ вѣчно ночью воруютъ.

— Вѣшаютъ мало! Вѣшать ихъ надо!—жалуются ростовщики, „отцы“.—Ни одну ночь спокойно не проспишь. Все сговариваются старики, все сговариваются: „Пришьемъ его, какъ заснетъ“.



Арестантскія работы.

Если въ камерѣ умираетъ какой-нибудь старикъ, остальные кидаются, обираютъ все до нитки,—такъ что трупъ находятъ совсѣмъ голымъ. Это ужъ обычай.

И старики, обобравшіе ужъ помногу покойниковъ, жаловались:

— А денегъ помногу никакъ не найдешь!

— Ужъ покойниковъ двадцать этакъ-то раздѣвалъ! — жаловался мнѣ одинъ старикъ.—Хоть бы что! Прячутъ, черти! Ужъ я всегда держусь въ камерѣ, гдѣ „отцы“ есть. Мѣсто себѣ на нарахъ сколько разовъ въ такихъ камерахъ покупалъ, изъ послѣдняго тратился. Все думаешь,—вотъ какой помретъ, воспользуемся. Занедужится ему,— ждешь, ночи не спишь. Затихнетъ ночью, подойдешь, — нѣтъ, еще дышитъ. „Что,—говоритъ,—ждешь, Аѳанасьичъ?“ Смѣются которые изъ нихъ. Просто измаешься съ ними, ночей не спамши. А день-то денской боишься: а ну-ка его въ „околотокъ“ отъ насъ унесутъ. Хоть мы про такихъ и не сказываемъ. Лучше, чтобы у насъ въ камерѣ померли. Наконецъ кончится человѣкъ. Тутъ ужъ какъ ему совсѣмъ кончаться, почитай весь номеръ не спитъ, караулятъ, сидятъ. И день денской изъ камеры не выходятъ и по ночамъ не ложатся. Кинемся это къ нему,—такъ тряпье, да денегъ рублей 20,— больше и не находили. А вѣдь есть которые по сотельной имѣютъ. Прячутъ, хитрые черти! Такъ и околѣетъ, — никому не достанется.

Прятать деньги старики уходятъ куда-нибудь въ поле, потихоньку, чтобъ никто не подсмотрѣлъ. Въ то лѣто, когда я былъ, въ богадѣльнѣ повѣсился одинъ старикъ—„отецъ“, кто-то прослѣдилъ, куда онъ спряталъ деньги, и, когда старикъ пришелъ однажды, ямка была разрыта. Онъ не выдержалъ и удавился, быть-можетъ, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, которая и такъ бы все равно пришла.

Такъ живутъ эти люди, пока ихъ не стащатъ въ „околотокъ“, а потомъ на кладбище.

Околотокъ,—это нѣчто въ родѣ лазарета. Но только „нѣчто“. Врачей на Сахалинѣ мало, — и въ Дербинскую богадѣльню врачи заѣзжаютъ изъ сосѣдняго селенія. Въ обыкновенное же время въ околоткѣ глава и хозяинъ, такъ называемый „перевязчикъ“, изъ каторжанъ, слегка подученный фельдшерскому дѣлу.

Околотокъ Дербинской богадѣльни—это мѣсто страданій, послѣднихъ вздоховъ и разврата.

Околотокъ — небольшая комната, гдѣ лежитъ человѣкъ двадцать больныхъ и ожидающихъ послѣдняго часа. Вмѣстѣ съ мужчинами здѣсь лежатъ и двѣ старухи: Афимья и одноглазая „Анютка“.

Цѣлый день въ околоткѣ ругань между Афимьей и ея „содержателемъ“, слѣпымъ паралитикомъ.

— Спокою отъ нихъ нѣтъ!—жаловались старики, близкіе ужъ совсѣмъ къ смертному часу.

— А вы сдыхайте, черти старые!—кричалъ слѣпой паралитикъ.— Только койки зря занимаете, подлецы! Сдыхать пора. А живой о живомъ и думаетъ.

У него отнялись ноги, а руками онъ вокругъ себя такъ и шаритъ, такъ и шаритъ.

— Афимья! Афимья! Гдѣ ты?

— Здѣсь я. Чего ты? Экъ, провалъ тебя не возьметъ!

— Не смѣй уходить. Куда ты? Опять къ Левонтію пошла?—чуть не плачущимъ голосомъ блажитъ старикъ.—Ахъ, глаза мои не видятъ! Видѣлъ бы! Пришить васъ мало! Ахъ, шкура! Со всѣми-то путается!

— Изъ-за нея только и въ околоткѣ лежу!—жаловался онъ мнѣ на Афимью.—Такая подлая старуха! Ни на минуту оставить нельзя. Рупь вѣдь въ недѣлю она мнѣ стоитъ, рупь ей плачу, да чай каждый день со мной пьетъ, да булку бѣлую завсегда ѣстъ, да молоко пьетъ! А благодарности ни на эстолько! Все къ Левонтію бѣгаетъ. Вѣдь сдыхаетъ, песъ, а все на чужую бабу зарится. Афимья-я-я!..

— Да здѣсь я. Не ори, чисто зарѣзанный!

Старика перевязчикъ держитъ въ околоткѣ охотно. Старикъ,— по-каторжному, „богатый“, изъ „отцовъ“, — платитъ ему „по полтинничку“ за гофманскія капли, которыя перевязчикъ выдаетъ ему за „возбуждающее“.

А 58-лѣтняя Афимья составляетъ конкуренцію кривой 56-лѣтней „Анюткѣ“. Анютка слѣпа на одинъ глазъ. Другой у нея болитъ, и она нарочно его себѣ растравляетъ, чтобы остаться въ околоткѣ.

Перевязчикъ, который за это пользуется ея благосклонностью, держитъ ее въ околоткѣ.

— Вотъ доктору скажу, глазъ себѣ травишь!—кричитъ, ругаясь съ ней, Афимья.

— Куды жъ я, слѣпая-то, пойду?—отгрызается Анютка.—Смотри, какъ бы я не сказала, какъ ты колѣнко у себя расколупываешь, зажить не даешь!

Спеціальность Анютки, какъ и Афимьи, торговля своимъ старымъ тѣломъ.

Какая ужасная, мерзкая, гнусная старость!

Словно куча навоза догниваетъ на солнцѣ, каторжная Дербинская богадѣльня,—эти отвратительные, страшные, жалкіе, несчастные, такъ много страдавшіе люди.

Конецъ II-й части.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Часть первая.

Часть вторая.